

Февраль' 2024

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Издается с января 1958 года

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алена ШИПИЦЫНА. И отнимет твой покой... <i>Стихи</i>	3
Павел ТОКАРЕВ. Сад. <i>Повесть</i>	8
Алла БОССАРТ. Второе дыхание Чейна-Стокса. <i>Стихи</i>	25
Елена КАЗАНКИНА. Пустые страницы. <i>Рассказ</i>	30
Игорь ИРТЕНЬЕВ. Закрывать глаза нельзя... <i>Стихи</i>	41
Олег ХАФИЗОВ. Государева стража. <i>Истерн (окончание)</i>	45
Павел СИДЕЛЬНИКОВ. Ключик серебряный. <i>Стихи</i>	107
Елена КАДОМЦЕВА. Плотина. <i>Рассказ</i>	111
Клавдия ШАРЫГИНА. Звезды около моста горят... <i>Стихи</i>	129
Елена ЗАБЕЛИНА. Туннель. <i>Повесть</i>	134
Ольга ФАДЕЕВА. Дуновенье света. <i>Стихи</i>	157
Наталья ЗАКОЖУРНИКОВА. Дебют. <i>Рассказ</i>	161

ДРАМАТУРГИЯ

Ярослава ПУЛИНОВИЧ. Человек ростовский. Пьеса-монолог	166
---	-----

К 300-летию РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Валентин ЛУКЬЯНИН. «Хочется знать, что же ты в самом деле». <i>Заметки на полях дневника И.Я. Постовского военных лет</i>	175
---	-----

Екатеринбург

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Наталья РУБАНОВА.** Литджем: игра в четыре руки
с Андреем Бычковым 210

ТОЛСТЯКИ НА УРАЛЕ: ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА

- Владислав ТОЛСТОВ.** Чувство дома.
Елена Бердникова. Египетские ночи. — «Звезда», 2023, № 5-6 218
- Станислав СЕКРЕТОВ.** Хочешь, я расскажу тебе сказку?
Сергей Рязанцев. Не знали наши папы. — «Дружба народов», 2023, № 8 220
- Александр РЯЗАНЦЕВ.** Чёрные чёрточки и белая пустота.
Павел Сулов. Деревянная ворона. — «Звезда», 2023, № 9-10 221

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ

- Сергей СИРОТИН.** Два явления дьявола.
Джозеф Шеридан Ле Фаню. Недобрый гость 224

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

- С.В.С.** Бросить нельзя оставить.
Посредники. Режиссер Хирокадзу Корээда (2022) 228

СЛОВО И КУЛЬТУРА

- Андрей ПЕРШИН.** «Роман как магия». *Магия и магический реализм
в современном романе* 231

КРИТИКА ВНЕ ФОРМАТА

- Василий ШИРЯЕВ.** Обсудили на Набережной «Мой год
отдыха и релакса» Отессы Мошфег 236

Алена Шипицына

И отнимет твой покой...

Зажги свечу
на кухонном столе.
Зелёных яблоч
глянец заиграет.
И тишина
кругом
стоит такая,
как будто
смысл
жизни
в тишине.

Сон

За поворотом новый поворот.
Куда меня сегодня отвезёт
таджикский мальчик
в быстрой колеснице?
Не Гелиос, но молод и горяч.
Промчимся мимо загородных дач.
Вздремну в пути. И разное приснится.
Вот девочка спускается к реке,
оранжевый совок в её руке.
И я её не сразу узнаю,
в ней столько веры.
Она букет ромашек соберёт,
а кем могла бы стать я для неё?
Да кем угодно, только не примером.
Вот мой отец — не ведает, что дней
осталось до Покрова.
Дальше вечность.

Алена Шипицына — родилась в деревне Улзет в Иркутской области. Учитель русского языка и литературы, журналист. Стихи и проза публиковались в журналах «Сибирь», «Байкал», «Юность», альманахах «Иркутское время», «Зелёная лампа», «Образ» и др.

Там небо выше, травы зеленей,
и девочка бежит к отцу навстречу.
Но добежать нельзя. Тревожный сон.
Усилие — проснуться нужно срочно.
Дорога. День. Ровшан или Резвон.
— Простите, можно музыку погромче?

тронь варгана язычок
томной тенью тонких пальцев
над грядой прозрачных гор
разливается мотив
песня дивная течёт
пёстрый праздник диких танцев
в небо искрами костёр
колдовской речитатив
степь качнётся вовлечёт
бийелге на смену ёхор¹
а когда уснёт огонь
лимбэ голосом пронзит
в небе облако взойдёт
позолоченное охрой
и отнимет твой покой
взгляда чёрный аргиллит

Дорога в горы вдоль реки.
Поскотина. Дацан. Кафешки.
Спешат степные ручейки
К могучим водам. Бег их спешный
Сродни тому, как скор турист,
Которому два дня на отдых.
А воздух тих и серебрист.
И, как всегда, везёт с погодой.
Жужжит пчела, как патефон.
Макушки сосен багровеют.
У пастуха звонит айфон.
Похолодало. Вечереет.

Степняки

По-бурятски молится баба Сэма,
По-татарски молится деда Мэлс,
Внук их младший, Серёжка,
По-русски произносит первое слово «маа-ма».
После обеда, разливая по чашкам
Пенный кумыс, бабушка напевает «Шизгару».

¹ Бийелге, ёхор — народные бурятские танцы.

Дедушка Мэлс курит вишнёвый табак,
Привезённый отхоном² из Лондона.
Вечером гости приносят модные
Суши, капкейки, трайфлы.
Баба Сэма собирает на стол
Хушууры, арбин, тарасун,
Буузы и молочную пищу.
Деда Мэлс надевает медали,
В свой юбилей он главный
На празднике жизни.
Поздравляют на трёх языках.
По скайпу (племянники) на четвертом.
Праздник заканчивается под утро.
Родные расходятся по туману.
— Ой, хайда, управились, — говорит баба Сэма.
Деда Мэлс держит в коричневых пальцах трубку.
Потом они долго глядят друг на друга,
Словно беседуют молча.
Только лето пройдёт и печальное: «Дее-да», —
Скажет Серёжка, упрямо показывая на фотографию.
Отхон неумело закурит вишнёвый табак.

Праздник степей

У каждого степняка с рождения
В кулачке зажата кость.
Шагай наадан — игра для смекалистых.
Сээр Хухалха — для дерзких и сильных духом.

Если ты не из местных,
Если заезжий гость,
Проходи за стол, здесь
Шулэн и бухлёор наваристый.

Танцовщицы легче пуха лебяжьего,
Изящные, юные,
Исполнят танец приветственный,
Кротко взирая из-под ресниц.

Белую пищу вкушай и благодари
Дом хлебосольный, гостеприимных хозяев.
А когда зародится месяц,
Восторженный и удивлённый,
Оседлай гнедого монгольского скакуна
С мускулистой шеей
И взвейся над степью
Быстрее ветра,
Распуская небесного цвета знамя.

² Отхон — младший сын в бурятской семье.

Врезая скрипучий наст
Молодыми копытами,
Вихрь-морин вознесётся
Над дивным краем.
Не теряйся, гляди в оба.
Сагаалган пришёл —
Время чудес наступает!

Бурятская мудрость

Если стучатся в дом после заката солнца,
Не спрашивай, кто там.
Если стучатся второй раз, затаись.
Если пришёл человек, то голос подаст.
В человеку живёт голос-птица.
Голос-душа живёт.
Если стук раздаётся, а голоса нет,
Тарасуном покапай или молоком на порог.
Только выйдешь за дверь, замри.
Тень увидишь животного или
Чёрную кошку с единственным глазом,
Ругайся, словно не человек ты,
А разъярённый медведь.
Крепкое слово скажи. Кошка исчезнет.
Если в доме младенец, умой его над подпольем.
Если стучатся в дом после заката солнца,
Положи у калитки соль.
Не беда, если пришёл анахай,
Его можно отвадить без лишних усилий.
А если ухэр-эзы³, без шамана не справиться.
Если стучатся часто, нужен найжи.
Гхагюгхан⁴ будет твой дом защищать,
Пока Земля не обойдёт вокруг Солнца.
Но если стучится в твой дом человек, голос подавший,
Впусти, обогрей, ставь на стол нагоон-сай⁵
И веди с ним беседы.
Человек к человеку не может прийти без причины.
Даже если он ничего не попросит,
Ты знаешь, зачем он пришёл.

Утопить печаль в колодце.
Звякнет цепь о крепкий лёд.
В глубину колодца льётся
Солнце, сладкое как мёд.
В небе мята и левкои,
И кругом такая тишь,
Что в зелёно-голубое
Лёгким пёрышком летишь.

³ Ухэр-эзы — грешные души, привидения.

⁴ Гхагюгхан — предмет, защищающий человека (даётся шаманом).

⁵ Нагоон-сай — традиционный бурятский чай с молоком и солью.

Так плакала вода.
Так таяли закаты
В больших глазах весны,
Зелёных и родных.
Озёрная слюда
Дыханием утраты
Вздыхалась и рвалась
На музыку и стих,
На бархат и атлас.
И утекало время,
И не щадило нас
В излучине реки.
И уходили мы,
И каждому по вере
Звучали напослед
Степные родники.

Павел Токарев

Сад *Повесть*

Спустившись с холма и удивившись, что так скоро оказался на железнодорожной станции, я захотел еще раз пройтись мимо того соснового леса, где проводил много времени последние дни, но, побоявшись опоздать на поезд, остался стоять у прохладной бетонной арки, а найдя в вагоне пустую скамейку, сел у окна и всю дорогу рисовал в блокноте мифических зверей.

Только что я окончил пятый курс университета, и родители хотели устроить меня стажироваться в суд. В любом суде у меня было бы слишком много знакомых, встречаться с которыми я не хотел, и я искал место, подобное лесу, где стояла бы моя уютная хижина из глины и соломы, недалеко, но и не близко от человеческих троп. Такое место, куда никто не стремится попасть, но не тюрьма или больница, и откуда можно вернуться, не становясь при этом изгоем. Так, это могло быть подножье высокой горы, где по утрам я жарил бы на куске кремня омлет из яиц космических орлов, любуясь на расположенный на вершине готический замок. Стремление к одиночеству пересиливало любые другие чувства, и каждый разговор, даже простое приветствие словно меня истощали.

Отказаться от помощи близких совсем я не мог, да и сделав это, вероятно, жалел бы впоследствии, что оборвал связи со всем своим оставшимся крошечным окружением. Впрочем, я все же мог бы жить в городе, выгуливая собак или чистя аквариумы, что могло бы показаться странным занятием для человека, много лет готовившегося выбрать более многообещающую карьеру. Я представлял, как старушка дает мне на несколько гривен больше за то, что ее крошечная, вечно лающая такса начала лучше есть и перестала заливаться лаем, услышав на лестнице шаги. Или выращивать чеснок; или найти мертвое дерево и заселить его грибами, возможно, обучить свинью искать трюфели. Все это было возможными вариантами, которые я перебирал в уме, рисуя кентавров и единорогов ручкой с широким мягким шариком, гладящим бумагу, словно теплый уют постельное белье.

Взяв горячий стакан из кофейного автомата, я размешивал сахар деревянной палочкой. Последние полторы недели я тратил мало, но денег все равно оказалось вполтину меньше того, что взял, выходя из дому, а значит, что вообще имел.

...Трехэтажный дом П-образной формы, что в паре сотен метров от парка с вырытым в 60-х студенческими строительными отрядами прудом восьмеркой, мало чем отличался от других типичных административных советских зданий. В парке перед ним под низкими деревьями с кряжистыми плакучи-

Павел Токарев (1991) — родился в Одессе. Учился в Национальном университете «Одесская юридическая академия», публиковался в журнале «Топос». Живет в Одессе, работает в сфере маркетинга.

ми ветвями всегда пустовали скамейки, только в обед, совсем ненадолго, на них могли положить дамскую сумочку или портфель. Однако на парковке с обратной стороны здания всегда были слышны разговоры: туда выходили курить или второпях, если нет времени пойти в столовую районного суда, что в нескольких кварталах, всухомятку наскоро перекусить. Я помню, что в то время было модно сидеть на диетах, и бутылку кефира для обеда считали достаточной, некоторые же обходились парой стаканов холодной воды из кулера, стоявшего почти в каждом отделе, или чашкой кофе с сигаретой, а разговоры о скорости метаболизма, простых и сложных углеводах были не менее популярны, чем политические дискуссии.

Я пришел рано, кабинет был еще заперт. Устроившись в кресле и не снимая зимней крутки, стал читать и быстро заснул в тепле и тишине. Тогда я увидел кентавра, мчавшегося по этому обшитому рифленым пластиком коридору, сбивающего с ног моего будущего начальника, а затем вишневое пятно, медленно расширяющееся на белой рубашке под застегнутым пиджаком.

Не считая кого-то из отдела кадров, направившего меня в этот кабинет, она была первой, с кем я заговорил в этом здании. Помню коричневые сапоги и крест на глянцевої сумке, вышитый блестящими белыми нитками по мягкой коже. Возможно, так я запомнил шарф или лежащую на столе перчатку, но суть ли, где быть кресту? Она сидела за столом в лимонном комбинезоне, с прямыми рыжими волосами, острыми скулами, тонким, как молодой стручок гороха, носом, стройная, немного выше меня, с той чистой молодой красотой, которая не нуждается в чем-либо извне, чтобы стать лучше.

В первый день я сортировал папки с материалами судебных дел, скучное и монотонное занятие. Брал в шкафу полупустые, перетянутые бечевкой папки, смотрел на даты и сортировал их на закрытые и находящиеся в производстве дела. Первые следовало сдавать в архив, что я охотно делал, выбирая самый долгий маршрут, иногда через оба крыла здания и даже поднимаясь на пятый этаж вместо нужного третьего. Мне нравилось рассматривать таблички с названиями отделов, фамилиями, смотреть на растения в больших вазонах и на спешащих коридорами людей. Еще во время такой прогулки можно было спокойно зайти в интернет, потому что начальник не любил видеть кого-то без дела и после однажды замеченного скучающего взгляда, просматривающего ленту «Фейсбука», сразу же заваливал работой на целый день.

Четверо в кабинете: двое молодых мужчин, лет на 7–10 старше меня, она и моя одноклассница, с которой учился в разных университетах. Я доставал папки, одноклассница их сортировала, потом я возвращал их на нужную полку, раскладывая соответственно алфавитному порядку фамилии ответчика или уносил в архив, каждый раз следуя новым маршрутом, совершая некие экспедиции, но с праздными, туристическими целями, словом, круизы коридорами районной администрации. Вообще это была типичная студенческая практика: нам доверяли работу, которая не была нужна до появления здесь свободных рук, выполнявшуюся не из-за необходимости быть сделанной, а чтобы занять присутствующих. В других отделах студентов отпускали домой после обеда или вообще разрешали не ходить, но начальник нашего отдела, не выполнявший многих правил сам, куривший в кабинете или смотревший там ролики на «Ютьюбе», громко смеясь, требовал дисциплины хотя бы от остальных, всячески поддерживая келейную атмосферу строгости и послушания. Перед этим я практиковался в судах и в милиции, и там каждый раз был похож на предыдущий, не важно, куда меня направляли, но здесь это был единственный юридический отдел, ставший таким самобытным, каким вырастает единственный ребенок в семье с огромным количеством родственников, и, как мне потом рассказали, особенный в своем роде, — предыдущим летом начальник сделал там ремонт, купил мебель и технику за свой счет.

Поскольку кабинет был небольшим, чтобы не отвлекать остальных, говорили мало. Особенно редко говорили мы, студенты, которым в общем в отношении работы и говорить было не о чем. Мы молчали всегда уместно,

кратко, даже по существу, молчание наше так редко прерывали. И когда мне доверили ключи от освободившейся комнаты в конце коридора первого этажа, то я и там молчал, и уже не потому, что остался один. Эта тишина в пустой комнате, где все ящики заклинило, и их можно было из шкафа только выдернуть, как выдергивают морковь, с пыльными стопками судебных дел, расставленными повсюду, деревянным окном и его отслаивающейся, словно рыба чешуя, краской, казалась мне до странности ненужной, как и все остальное здесь, включая саму работу, что я выполнял.

Иногда я ходил с кем-то обедать или один читал в парке, сидя на траве у пруда. Днем его поверхность была гладкой, но к вечеру, когда я шел через парк на остановку, рыбы поднимались на поверхность и показывали большие черные спины, похожие на автомобильные покрышки.

...Зелень вокруг: раскинувшиеся здесь и там широкие приземистые ивы, свежеекрашенные зеленые скамейки, еще не выцветшая от летнего зноя южного города густая, мясистая, напитавшаяся илом и мутной прудовой водой трава, и только коричневая часовня и красный кофейный аппарат неподалеку от нее выделялись в этой цветовой гамме, словно говоря, что есть не только юная свежесть, что помимо начала вещи существуют и в продолжении, что за детством следует что-то другое, возможно даже, не менее важное и замечательное; словом, мне нравилось бывать там.

И пока я не вошел в деревянную часовню, что всего в паре метров от берега, мне казалось, что там всегда пусто. Но, увидев пожилого мужчину, держащего клетчатую кепку между рукой и грудью, словно фуражку, я подумал, что внутри он давно, ведь я прочитал главу и не заметил, как тот вошел. Каждый раз, когда я открывал легкую, податливую, словно не от слаженности механизма, а от согласия с движением руки, цвета липового меда дверь, внутри кто-то молился, и ни разу я не видел входящего в нее человека, пока был снаружи, будто исчезали эти люди не внутри ее, не в этой прохладе, почему-то всегда не имеющей запаха, а еще снаружи, когда мысли их только начинали устремляться к идеальному, не вещественному миру. Да, внутри ничем не пахло, крепкий запах ладана я ощущал, открывая двери, а внутри было настолько тихо и пусто, что словно даже запаху негде было укрыться. И священника там никогда я не видел, как если бы место это выполняло свою роль лишь потому, что оно есть, даже без подтверждающей его важность очереди снаружи; совсем не похоже оно было на кабинет, в который приходил я каждое утро. Позже я узнал, что начальник подал в суд на епархию и требует эту часовню снести.

Еще был тонкий, чарующий лик святой за стеклом, с блестящим синим платком по краю рамки, всегда без бликов, даже в середине дня, когда пространство заливал яркий, густой полуденный свет, спускающийся из окон широкими столбами и шелестящий повсюду на глянцевых поверхностях.

Судья, что обычно слушал наши дела, всегда оставлял их на вечер и, чтобы сэкономить время, никогда не соблюдал процедуру. Еще он не любил, когда упоминают Конституцию, словно к нему этот документ не относился. Стоило сослаться на Основной закон, как он откидывался на спинку тяжелого красного кожаного кресла, складывая руки на округлившемся животе.

— Начинаете с Конституции? Хорошо, что не с Библии. Переходите к делу, пожалуйста, давайте ценить время друг друга.

Однажды девушка в зале заседаний запинаясь, роняла бумаги.

— Попробуй там постой, — не дожидаясь вопроса, прошептал юрист из нашего отдела. Этот человек никогда не беспокоился, выступая перед судом; позже я узнал, что он почти десять лет проработал в этом суде, и что судья, председательствующий на наших заседаниях, его родственник.

Имея ключи от маленькой комнаты, утром мне приходилось не запирать дверь, а ждать мягких, быстрых шагов начальника, потом резкого хлопка

двери, чтобы поздороваться с ним и обозначить мое присутствие. Но если он приходил позже, к девяти, то по пути в уборную заглядывал ко мне сам. Каждое утро он набирал свежую воду, чтобы полить фикус, и раз в неделю влажной салфеткой протирал его большие, похожие на лапы морского животного, блестящие черные листья.

Всю эту скучную и в общем бессмысленную работу выполнять мне совсем не хотелось еще и потому, что следили за ней, лишь чтобы создать видимость контроля, а суть ее никого не интересовала; я лениво нумеровал карандашом страницы, иногда переделывая всю работу, если забывал вложить документы в нужном месте или ошибался в датах. Глядя в окно, я стал замечать людей, проходивших каждый день в одно и то же время. Все это были действия такие механические, такие несознательные, что я то и дело в шутку сравнивал себя с канцелярским инструментом, рассказывая о своей практике дома. Тогда я еще не читал Кафку и не знал, что все это подробно описано. Иногда просматривал судебные дела: большинство о незаконном строительстве и перепланировке, изучая статьи, упомянутые в исковых заявлениях администрации.

Я зашел в кабинет сварить кофе. Отдел состоял из основного, большего помещения и кабинета начальника. Один из юристов стоял у окна, другой сидел в кресле, повернувшись к нему лицом и положив руки на поручни. Лера, так звали девушку, работавшую здесь, искала папку в шкафу.

— А как быть с дорогой? — сказал тот, что стоял у окна.

— С какой дорогой? — спросил начальник, бесшумно появившись в дверном проеме.

— Той, что ведет к часовне.

— Не понимаю. Это ведь не торговый центр. Какие стоянки, дороги?

— Но все же она есть и не предусмотрена планом парка, — сказал тот, что был у окна. — Говорят, очень небезопасная...

— Спрошу, когда буду видеть председателя. Важно, что там собираются поставить вместо нее. — Он стряхнул пепел в чашку, которую держал в другой руке, и попросил меня купить воды и две пачки сигарет. — Вопрос в другом. Много еще собираются украсть парков? Ставят церковь без документов, потом регистрируют как памятник архитектуры, чтобы снести было нельзя. Сажать надо всех поделщиков из епархии.

— Похоже, вам не мешают только дорогие рестораны, — сказала Лера. — Кстати, я собираюсь на обед. Кто со мной?

— Скажи маме, что я буду в субботу утром возле вас и хочу поговорить.

— Мама ходит в церковь каждое воскресенье. Она перестанет с вами общаться.

— Лера, я говорю про субботу. Дай мне две сигареты, и можешь идти на обед раньше.

— Нет, я лучше вернусь позже. — Она положила найденную папку на стол, затем начала проверять отделения сумок. — Сегодня я забываю все. Хорошо хоть, что у меня нет заседаний и детей.

— В четыре часа твой суд, — сказал стоявший у окна, продолжая смотреть на улицу. — Ты ведь только что искала материалы по нему.

— Лера лучший наш юрист, — сказал начальник. — Может, ты мне купишь воду и сигарет?

— Я забуду принести их. Тогда зайду после пяти.

Мы вышли вместе, и я провел ее до стоянки; помню цитрусовый аромат духов, который почувствовал тогда впервые. В парке с упавшей ивовой ветви я срезал прутик и поставил его в забрызганную синей краской банку: теперь что-то живое ждало меня в маленькой комнате каждое утро, и когда я приходил, то отодвигал штору и ставил банку ближе к окну, двигая ее время от времени вслед за скользящим по пыльному подоконнику солнечным пятном.

Мы отвозили документы в исполнительную службу.

— Проедем через «Европу», — сказала она. Этот район я плохо знал и еще не был в только что построенном торговом центре.

Исполнитель, старше меня на несколько лет, похоже, не впервые пытался понравиться Лере. Он смотрел ей в глаза, улыбался и подходил ближе необходимого, скорее заинтересованный в знакомстве с ней, чем с материалами исполнительного производства, впрочем, несколько ее саму не смущая. Споткнувшись в узком коридоре о край сломанной плитки, я услышал запах сырого, лежалого сена, охлаждающего землю поутру; может, кто-то в тот день мыл пол? Я занес картонную коробку с папками и положил на стол в углу кабинета. Парень бесцеремонно подошел к Лере, просматривавшей документы в папке, и оперся одной рукой о стену, отгородив ее от остального пространства.

— У вас все еще нет дела Бориславского? Зайди сегодня после судов, ты должен был давно его получить, — сказала она, глядя ему в глаза. Он убрал руку и отошел в сторону.

Возле «Европы», к моему удивлению, нас ждал тот человек, что стоял у окна во время разговора о дороге. Он взял Леру за руку, и они зашли в ювелирный выбрать обручальные кольца.

Порой, когда у начальника было желание заниматься практикантами, мы самостоятельно готовили документы. Времени на это уходило много, в наших университетах готовят прекрасных ученых, умеющих писать научные работы, со ссылками на статьи, актуальностью, правильно составленным списком литературы, прекрасно знающих теорию права и многое другое, но не сухую, бытовую сторону ежедневной работы юриста. Все, кто был в кабинете, учились в одном университете, кроме моей одноклассницы, и мы, после обсуждения знакомых преподавателей, часто говорили о том, что вместо статистики было бы лучше учиться общению с клиентами, причем не у научных работников, а у практиков. Мне охотно помогали, когда я просил, а в другое время спрашивали, чем занимаюсь, называли решения судов, которые мне следовало прочитать, давали читать только что составленные документы и спрашивали мнение о них. Кроме Леры, все они говорили, что учиться начали после выпуска, поэтому спокойно относились к любым ошибкам.

В свободное время я читал с планшета, но, поскольку начальник не любил бездействие на работе, я стал читать с компьютера, делая вид, что просматриваю реестр судебных дел. Однажды, увлекшись, я не заметил, что начальник уже стоит за моей спиной, и тогда я вовсе перестал читать что-либо, не относящееся к работе.

Помню, в один из последних дней моей практики мне сказали прийти не в восемь тридцать, а ждать на стоянке в девять, и что назад мы вернемся часам к пяти. Я опоздал на маршрутку, а потом стоял в пробке, сковавшей намертво весь проспект, и, когда пришел в половине десятого, двери отдела уже были закрыты. Мне нравилось это место, но я не собирался становиться известным юристом, и еще мне говорили, что я слишком много пью.

Английский бигль замер у ворот заброшенного особняка, словно обозначив направлением тела предмет своей охоты; затем красивый трехцветный пес стал обнюхивать черные отбойники у арки, не замечая двух больших котов, внимательно следящих за ним сверху. Я переходил дорогу по зебре без светофора, почуствовав ароматы жареного и копченого мяса. Оглянувшись, увидел припаркованный фудтрук на стоянке перед парком и взял хот-дог с маленькими, как молодые огурцы, блестящими на солнце красными сосисками, ялтинским луком и горчицей. Поднявшись по лавовой лестнице и свернув на одну из дорожек, сел на скамейке у неработающего фонтана, с густой зеленой травой по краям гранитной чаши, растрескавшимися стенками и стручками акации на дне; пара голубей перелетала с одной скамейки

на другую, словно от острова к острову. Центральной аллеей парка я направился к еще холодному морю, прислушиваясь к гудящим густым раскатам волн, набегающих на гальку тонкой полосы широкого пляжа, и уже ощущая соленый, больничный запах гниющих водорослей и мидий, выброшенных на берег вчерашним штормом.

Красное такси с «шашечкой» остановилось на середине пустой стоянки, расположенной полукругом в конце улицы. Это был полдень понедельника, в это время здесь всегда было пусто, стояло только несколько машин с кофейными автоматами. Мы не виделись больше года, и я не знал, поздороваться и остановиться мне или сделать то же, пройдя дальше. Но ее улыбка вместе с тем, что после приветствия она продолжила на меня смотреть, заставили замедлить шаг.

— Ты в отпуске? — спросил я.

— Пожалуй, в нем.

— Как тебе удалось? — Начальник не любил давать всем отпуска в конце лета. Просил брать по очереди.

— Сказала, что давно купила билеты и еду во Францию к тете.

— И он поверил?

— Он уже не работает. Тот, предыдущий, никогда б не поверил.

Мы спустились к морю. Вначале шипящие, потом плоские и тонкие волны накатывали на гальку одна за одной; сквозь чистую, прозрачную воду мы смотрели, как нитки водорослей вытягиваются вслед за течением; под ногами хрустели мидии, разламывающиеся на острые осколки, и я подошел к воде ближе, чтобы опустить руку.

— Как странно, — сказал я. — Камни теплее воды.

— Они ведь на солнце. Так греют озера, оставляют большие камни на поверхности.

— Никогда не думал, что озера нужно греть.

— Только если рыбам холодно.

— Есть такие озера?

— Моя мама биолог. Она говорит, есть.

Сняв кофейный стакан, она сформировала его наподобие чаши. Мы подошли к длинной луже вдоль берега, Лера положила его на воду и подула; когда бумага намочила и утонула, она его достала и отнесла в урну для мусора. Было странно оказаться здесь с ней, да и не только с ней, а вообще с кем-то, у моря я всегда гулял один с тех пор, как окончил школу и перестал ходить плавать с отцом.

Работала она в юротделе крупной грузоперевозочной компании; ее кабинет оказался на первом этаже, а большинство сотрудников работали несколькими этажами выше, но через один этаж; на Восьмое марта ей подарили бронзовый колокольчик, и после того, как она поставила его на стол, совсем перестала опаздывать, а ее начальник никогда не улыбается, если думает о чем-то, — это все мне рассказала за прогулкой по набережной.

Глядя на противоположный берег залива, я тщетно пытался найти точное место, где кремовая полоска берега теряется в дыму горизонта. Ветер крепчал, и, когда я спросил, не холодно ли ей, она ответила, что в зеленых джинсах не замерзнешь. Пляж в том месте, где мы оказались, был узкой каменистой полоской из осколков ракушника и привезенной сюда гальки, растянутой под высокими красными глиняными обрывами, покрытыми иссушенной непрерывными солеными ветрами ароматной степной травой. Наверху располагались рестораны с видом на море, и грунт под ними укрепляли стальными балками, залитыми бетоном в основании. Мы подошли ближе к обрыву, чтобы спрятаться от ветра между желтыми скалами. Вдоль берега шла тяжелая моторная лодка, и, хотя двое сидели на корме, ее нос все равно оставался в воде. Пытаясь ступить на скользкий из-за водорослей камень, она намочила ногу и сняла носок с правой ноги, поставив ее пяткой на камень, словно раненый солдат.

— Так что думаю пойти на курсы и сменить профессию, — сказала она, глядя на уходящую вдаль лодку. — Представляешь, как интересно жить на яхте или быть стюардессой.

— Для меня подходящая работа, это когда не нужно приходиться в офис к девяти и у тебя нет начальника. В этом и заключается интерес.

— Но разве это работа, когда над тобой никто не стоит и нет графика? Кстати, нужно узнать, пустят ли меня управлять яхтой без диплома мореходного вуза. Ты что-то знаешь об этом?

— Если яхта не твоя, ты лишь поменяешь один офис на другой. Зачем ты сушишь ногу, если нужно сушить туфлю?

— Ногу я грею, а не сушу. А ты все же пошел работать к отцу?

— Только чтобы заработать на яхту.

Потом мы перекусили в новом «Макдональдсе», и Лера сказала, что если берет большую картошку фри, то заказывает колу «эконом», чтобы получилось меньше калорий.

Я ехал в поезде второй час, рассматривая в планшете старинную японскую живопись, изящную и тонкую, как деревянный лук или край губ, только что подведенных помадой. За окном мелькали бетонные столбы с черными номерами, проносились похожие на гигантских травоядных динозавров козловые краны. В планшете не было интернета, и я посмотрел время в телефоне. Вышел в тамбур, проверил расписание маршрута: поезд опаздывает. Я написал Лере, что задержусь, и она ответила, что именно этот поезд еще никогда не приходил вовремя. Возможно, его машинист делал то же, что и я: любовался окрестностями и японской графикой.

Мы встретились у синих пластиковых дверей нового вокзала, выстроенного на деньги не то Бельгии, не то Нидерландов вместе с новыми железнодорожными станциями вокруг райцентра. Вместо бетонных коробок, разрушить которые способно было разве что цунами, они установили тонкие, прозрачные конструкции, популярные в этих странах с высоким уровнем жизни, оставив новые конструкции на милость местных даже без камер наблюдения. Новый вокзал напоминал скорее супермаркет, где никогда не будет столетней бронзовой таблички с датой строительства, его стены не видели книксенов и поклонов, там все было слишком утилитарно, чтобы оставлять место для жестов, и без которых можно выйти на улицу или на перрон, сделав это без ритуалов даже скорее; наверняка именно поэтому мы поцеловались только снаружи, на стоянке с полукруглой пустой площадью, клумбой и деревянными скамейками на островке в середине.

— Здесь есть театр?

— Любительский. И кино. Это настоящий город, за углом — зоомагазин. Вечером светло, повсюду фонари. Но зимой холоднее, чем у нас. Ветер продует все вентилятором.

Две ямы объехать было особенно трудно, и одним колесом я заехал на тротуар.

— Да, и страусы. Здесь их разводят.

— Далеко отсюда?

— Нет, но это просто большие птицы. Они даже не летают, то есть вроде и не птицы. Мне нравятся голуби и канарейки.

— И не поют. Давай заедем к страусам на обратном пути.

— Моя мама по образованию и профессии орнитолог. Это не очень интересно.

— Но ты была там?

Мы остановились перед светофором у ряда цветочных киосков.

— Дурак, — сказала она, смеясь и целуя меня. — Ты приехал ради зоопарка?

Выехав из частного сектора, мы оказались на разбитой дороге посреди замершей сухой степи, — в том безграничном и пустом пространстве, кото-

рое мне в детстве казалось чем-то средним между американской прерией и африканским бушем, и я воображал тогда стремительных диких лошадей, слышал рассекающие пространство металлические крики орлов в вышине, видел изрытый тысячами копыт берег мелкой, пересыхающей реки, водопой. Но сейчас раскаленный воздух, как затвердевшее стекло, сковал здесь все, и если бы не мы, то единственным движением вокруг были бы маленькие вихри горячего воздуха, поднимающегося от асфальта дымкой здесь и там.

Проголодавшись, в дороге мы говорили о еде. Объясняя рецепт, Лера исключала технологию блюда и упоминала только ингредиенты, поэтому, не увидев его, я никогда не знал, приготовила она салат или суп. Поскольку у ее дедушки был огромный виноградник, во многих рецептах использовалось вино.

Прошипев шинами, мы остановились у абрикосового сада, и Лера сказала, что хочет побывать в саду лимонном, с его терпким, совсем не кислым, цедровым ароматом, ярко-зеленой глянцевои листвой, и что она непременно будет там обнаженной, поскольку хочет сделать фотосессию. Мы ходили между деревьев, наступая на переспевшие, лежащие в траве и пахнущие медом, лопающиеся от переполнявшего их сахара абрикосы, и я опять заговорил о страусовой ферме, где она могла бы примерить образ девушки-ковбоя, но Лера не слушала вовсе и только перечисляла страны, где лимоны растут на улицах. Когда я заговорил про места, где под открытым небом могут жить страусы, Лера ущипнула меня за руку и отскочила, смеясь, спрятавшись за дерево.

Оглядевшись, я увидел, что мы зашли в глубь сада, и понял, что он напоминает мне. Днем ранее, засыпая, я смотрел фильм про историю находки в Китае глиняной армии, похороненной вместе с императором. Да, в безветрие высаженные рядами деревья — не что иное, как выстроенное на параде войско, готовое ко всему: проливному дождю, приказам глупого генерала. Сад был прямоугольным, узкой стороной к дороге, очерченный вспаханной защитной полосой; мелкие сочные абрикосы горели на солнце так ярко, что казалось, урожай уже собран, просто хранится не в ящиках, где повыше, где сухо и где нежной оранжевой мякоти, которую можно легко разломать, раздавить двумя пальцами, ничего не угрожает. Траву между деревьями уже высушил сухой степной ветер, и только возле самих стволов, укрывшихся в спасительной тени, столь редкой посреди просторов Бессарабии, жаркой и плоской, как вылитое на сковороду блинное тесто, травинки не были совсем желтыми. За деревьями следили, здесь и там виднелись спилы после обрезки, но они не были высажены идеально ровно: внимательный взгляд легко находил изгибы в этих рядах, ставших благодаря этому более естественными, порой даже не выглядящими как прямые линии. Мы гуляли так долго, что я заметил поворот по кругу тени от стволов, а когда обернулся, то Лера уже сидела на траве, перекатывая в ладони абрикос, словно разминая перед выдавливанием лимон и вдыхая его солнечный, летний аромат.

Вспоминая этот день, я продолжаю удивляться, что не только общие воспоминания становятся бременем, тянущим двоих вниз, но что несбывшееся может стать еще более тяжелым грузом, и если от того, что случилось, избавиться можно, потому что оно реально, то расстаться с неслучившимся куда труднее. Я указал рукой на середину сада, где из-под травы выбивалась бледная желтизна, вероятно, нагромождение камней от разрушенного строения, и сказал, что для фотосессии это место было бы отличным. Мы подошли к валунам на холме, откуда открывался вид на ореховую посадку внизу, маленькое сельское кладбище и бесконечные поля с черными грунтовыми дорогами между ними. Когда мы сели на траву, Лера сказала, что забыла сигареты. Я направился к машине, и она попросила меня вернуться.

— Кстати, я могу захватить коньяк.

— Я не пью без сигарет.

— Так вот и принесу сигареты.

— Сейчас пойдем вместе, ты их не найдешь. Давай посидим еще.

Одним из качеств, которое меня всегда в ней удивляло, была способность давать безошибочно верные, казалось бы, случайные советы, однако настолько точные, что иногда они казались хорошо подготовленными, отрепетированными фокусами.

— К тому же ты много пьешь. Я не хочу, чтобы ты умер молодым.

— Когда же пить? Думаешь, в старости у меня будет для этого здоровье?

— Будешь так пить, старости не будет.

— Мне любопытны твои планы на этот мой период жизни. Когда он настанет, лет через пятьдесят? Синоним этой цифры для молодого человека — это слово «никогда».

— Британские врачи рекомендуют мужчинам до четырех доз в день.

— И хорошо, что на Украине алкоголь еще продают в бутылках. Рекомендуемое количество бутылок труднее установить.

Когда я вернулся, стало вечереть, и степь ожила: отовсюду раздавался треск сверчков. Бумажные стаканы, полные наполовину, стояли между нами; перевернув в машине все, я с трудом отыскал сигареты. Мы легли на мягкую сухую траву, покалывающую спину, как вязаный свитер, вдыхая ароматы прогретой земли и свежей соломы, Лера гладила траву обеими руками, и мы повернулись друг к другу. Она потянулась, чтобы убрать травинку с моих волос, и, когда мы обнялись, я чувствовал цитрусовый аромат ее шампуня.

— Может, купим такой сад и построим дом рядом, будем жить? Крошечный уютный дом в минималистичном стиле, эдакий контейнер с окнами, как сейчас модно.

— Я бы многое отдала, чтобы родиться героиней французской мелодрамы. И нам пора ехать.

Воздух густел, мутнел. Через опущенное стекло я увидел белую церквушку, деревянную, такую легкую, что казалось, она не сминает даже степных цветов, что они могут служить ей опорой; потеряв ее из виду после поворота, я спросил, выиграл ли наш отдел суд с епархией. Лера ответила, что тогдашний начальник постоянно переоценивал свои силы, и это несколько раз погубило его карьеру.

Весь путь среди этого чарующего своим простором степного края хотел я увидеть отару овец, — некую картину из австралийского сериала «Поющие в терновнике», который часто показывали в начале 2000-х. Садясь на поезд, думал я, что овец здесь должно быть полно, что овец здесь больше, чем ворон, однако пока встречал лишь коз и наших молочных красных коров с худыми выступающими ляжками и животами, похожими на ржавые цистерны. Время от времени можно было увидеть лошадей, пасущихся вокруг прибитого колышка: размеренно и лениво набивали они свои бочонки травой. Овцы же представлялись мне плоской, даже геометрической фигурой, то ли вылитым на поверхность расплавленным свинцом, то ли серым заливом, проминающимся от напора ветра и выплескивающимся на берег из-за своего изобилия, ничем не скрепленного, не имеющего конных пастухов и сопровождающих их собак; но в том сериале была и не степь даже, а красная глиняная каменная равнина, неживая, совсем пустая, марсианская, не то что здесь, где веками, еще в древние времена, раздавался лязг оружия, где лилась на зеленую траву и застывала кровь, где насыпали потом курганы, а теперь эти курганы затерялись, когда появилось все это созданное, освоенное, все эти села, ставки, церкви, дороги, сады, поля, пасеки... Лера сказала, что овцеводство распространено южнее, а мы еще только въехали в эту необъятную пыльную землю, раскинутую между двумя странами и напоминающую на карте небрежный отпечаток кисти художника.

Выйдя на балкон, я увидел, что над сверкающей береговой дугой тем жарким полднем не было ни единого облака, что раскаленное солнце заливает песок и подернутое легким ветром, похожее на черепицу, темное

и оставшееся мутным после ночного шторма море, такое же теплое на поверхности, как ламинат под моими босыми ногами. В комнате еще горел свет. Я откинул сырое от пота одеяло на край кровати и выключил лампу, но стены, пол, потолок продолжали гореть все так же ярко, как и песок, со всех сторон окружавший наш двухэтажный домик. След от помады на краю белой кофейной чашки, стоявшей на тумбочке, напоминал маковый цветок; из кухни донесся стук ножа, шаги, причмокнул, открываясь, холодильник, еще стук, в раковину ударила струя воды. Вспоминая это утро, я думаю прежде всего про свет: никогда я не видел, чтобы в комнате было так ярко, чтобы свет, отраженный от предметов, стекал по ним, словно талая вода с крыш, словно это выплескивалась и разливалась вокруг радость из смеющихся глаз ребенка. Тупая, липкая боль в висках и во лбу заставила меня лежать в кровати еще пару минут, прежде чем потянуться за белой кофейной чашкой.

Лера ела бутерброд. Если она завтракала одна, то никогда не сидела на стуле, а садилась на стол. Еще мокрые густые волосы пахли грейпфрутовым шампунем.

— Кофе нет, — сказала она, пожав плечами и положив одну ногу поверх другой, опираясь ногами в ручку шкафа.

— А я думал про кофе и рыбу. Рыбы ведь тоже нет?

— Рыбы? — она перевела на меня взгляд с телефона. — Что ты будешь с ней делать? С рыбой?

— Это не план, требующий объяснений, и голова болит. Кстати, мы здесь сколько дней?

— Три, но сегодня что-то с телевизором.

— Мы ведь смотрим все через ноутбук.

— С ним случилось что-то просто так. И мы смотрели вчера телевизор. Ты не помнишь?

— Слишком много подробностей мешают подвижности моего ума. Тем более в такую рань.

— Мы смотрели его перед сном. Когда чистили зубы. Сейчас двенадцать.

— Скорее это он смотрел на нас. Ты не помнишь, он говорил что-то?

— Вот дурак. — Спрыгнув со стола, она обняла меня.

Только друг с другом мы могли вести такие долгие бессмысленные разговоры, а потом спокойно молчать, каждый думая о своем, словно второго и нет рядом. После нее я не с кем не чувствовал себя так хорошо.

— Допью чай на балконе. Нужно позвонить маме.

— Ты не представляешь, как там жарко.

Взяв на рынке продуктов, я нес их в бумажном пакете с веревочными ручками, сухими и шершавыми. На углу центральной улицы курортного поселка, перед поворотом в наш спускающийся к морю переулок, девушка в шортах, похожих на обрезанные брюки, и приталенной безрукавке в яблоко раздавала полоски белой бумаги. Не сбавляя шаг, я взял протянутую мне полоску и скоро оказался на крашенной бежевой краской аварийной лестнице, поднимаясь в номер. Посмотрев на пробник духов с выведенным карандашом номером, я вдруг остановился, не решаясь войти с ним или выбросить. Что тогда со мной случилось? Окажись в кармане рекламный буклет, я бы просто выбросил его или забыл в кармане, обнаружив смятым только перед стиркой. Это было похоже на соблазнение, потому что брать пробник я не собирался, и если бы мне протянул его мужчина, я бы точно не взял, но я не только взял, но еще и сохранил. Теперь же я пошел дальше, думая об улыбке девушки, когда она протягивала бумагу, глядя мне в глаза со словами «возьмите», о ее загорелом теле, талии, заправленной в шорты рубашке, вдыхая незнакомый, чужой и такой приятный аромат, совсем не приторный и не сладкий. Отбросив подробности, можно сказать, что тем утром я встретил другую женщину и теперь вспоминал ее запах, не решаясь войти к своей женщине, запах которой я знал так хорошо, что уже потерял способность его описать; так ли это

было? или это все жара, слишком много света и жара, на небе ни облака, а на золотые плащи песка набегал раз за разом мутный прибой, и этот запах, и цифра на бумаге, и свет — вдруг все сразу начало темнеть, и каким-то чудом я сумел не упасть на лестнице и все же войти в прохладную комнату, потянув на себя ручку незапертой стальной двери.

— Ты купил вино?

— Говорят, в жару лучше кофе. Я взял свежемолотый.

— Кофе в жару, ты с ума сошел? Запах такой, что я бы и на улице почувствовала.

— Раздавали перед домом, — я протянул бумагу. — Это духи.

— Совсем не похожи на мои. Тебе нравится? Кстати, я доела сыр, и осталось только четыре сигареты.

— Давай выберем что-то одно, и я схожу после обеда опять. Так жарко, нельзя нос высунуть, обгорит.

— Под шестым номером, — вдруг заработал телевизор, — скрывалась... все это время... — Ведущий улыбнулся коротко стриженной молодой женщине в брюках и пиджаке на голое тело. — Вязаная шапочка!

— Шапочка, — сказала Лера. — Шапочка скрывалась, кто бы мог подумать? Какая глупость.

— Мы смотрели это вчера?

— Каждое утро я хочу, чтобы ты меньше пил вчера. Ты будешь пить сегодня?

— Тебе важнее вчера или сегодня? Давай наказывать меня за что-то одно, не за оба.

— Напишу в «Вайбер» список покупок, чтобы ты ничего не забыл. Почему я не догадалась об этом раньше?

Потом она ушла плавать, а когда вернулась, я уже приготовил обед. Еще на столе лежала пачка сигарет, свежая белая брынза, посыпанная мелко нарубленной зеленью, и я достал из холодильника вино. Вечером мы решили не выходить и до поздней ночи просидели на балконе.

Ступая по редкому, припудрившему распаханный чернозем молодому снегу, ее отец нес гусей, держа их за черные от успевшей застыть крови шеи. Берега черного пруда оголились, и теперь от воды до кустарника, шелестевшего на ветру летом, как новогодняя гирлянда-дождь, оставалось добрых несколько метров. Оглянувшись, вначале увидел я ее красную шапочку и уже потом белую куртку с широкой змейкой.

— Хочешь помочь мне сделать с ними что нужно? Это даже забавно первый раз, я уже не помню, когда он был.

— Думаешь, мы это успеем сделать до завтра?

— О, мы съедим этих птиц. Ты увидишь, мы съедим их.

Стоя в метре друг от друга, мы смотрели на этот огромный черный пруд восьмеркой с заиленными берегами, вытоптанными коровьим стадом, часто приходящим на водопой. Это было вступление в семью, и я понимал, что мне следовало принять участие во всех ее традициях, показать, что если я не разделяю их увлечений так же восторженно, то могу хотя бы делать то же, что они, с периодичностью несколько раз в год, и это не будет связано с великими потрясениями для них и меня самого. Лера предложила мне выбрать между совместным путешествием в Доминиканскую республику и охотой, и я сразу согласился на второе, потому что поскольку не знал об охоте ничего, то подумал, что в этом случае меньше всего внимания было бы приковано ко мне. Разумеется, я ошибся, и, как самому слабому игроку в команде, мне подробно объясняли нюансы.

— Какая необходимость именно в гусях? — сказал я. — Человечество проделало огромный путь, чтобы добывать еду менее авантюрным способом.

— Семейные традиции должны поддерживаться, но все же путем некоторых усилий. Отец говорит, что мы не ценим то, что достается совсем легко.

— Тогда почему не посадить помидоры? Они требуют усилий, и традиция готовить овощные салаты не самая абсурдная из существующих.

— Кстати, раньше он охотился с нашим начальником.

— Они оба соблюдают семейные традиции?

— Он любит нажимать на курок. Стрельба по помидорам радовала бы его так же хорошо.

В доме, что был всего в сорока минутах езды от абрикосового сада, где мы останавливались летом, жарко натопили. Мы приехали по другой, лучшей дороге, которая к тому же была короче, и, когда я спросил Леру, почему мы не ехали по ней в прошлый раз, она ответила, что не хотела встретиться с друзьями родителей, которые жили там до нас и в тот день уезжали. Лера ходила босиком, а ее отец, мать и сестра носили тапочки на босую ногу, и за привычку ходить босиком называли ее индейцем.

Отец поставил на стол запечатанный пакет вымытой крупной моркови, одна к одной, толстой и ярко-красной, словно коралл, показав, как правильно нарезать. Уже очищенные от перьев гуси лежали в плотном черном полиэтиленовом мешке, и то и дело я смотрел на их голые белые шеи, похожие на тонкие запястья балерины. Животный продукт для современного человека отделен от образа самого животного, мы не видим, откуда берется молоко и каре ягненка, они для нас то же, что и лежащий в другом отделе фрукт, а животные, что окружают нас, либо домашние, либо в зоопарках, и тех и других мы не рассматриваем как еду. Эти гуси были ничейными, без имен и номеров, неизвестно, кто и когда их видел в последний раз, а тем более в первый, и я подумал, что отсутствие личной связи, отсутствие опыта общения словно развязывает руки, словно вместо одного поведения, которого от тебя ожидают, ты каждый раз можешь действовать иначе, что тогда проще быть самим собой, и не нужно ничему соответствовать, и как прекрасно было бы жить в городе, где никто тебя не знает, или всю жизнь провести в путешествиях, что в общем одно и то же. Обо всем этом я думал, перестав замечать разговоры вокруг, и, только когда мама Леры взяла миску с морковью, чтобы ее промыть, я увидел, что пакет пуст и я почистил и нарезал все.

Гусей сложили в кастрюлю и залили холодной водой, в которой плавали крупные, разбухшие кусочки специй разных форм, от горошин до листиков и палочек. Оставшись на кухне один, я вышел в гостиную. Вдоль стен стояли кремовые шкафы, посередине комнаты, перед диваном, на журнальном столике еще оставалась после завтрака пара чашек кофе, а в окнах с тонкими деревянными перемычками краснели чудом не облетевшие листья разросшегося до огромных размеров барбариса. Чья-то незнакомая тонкая ладонь взяла меня под локоть: ее мать вошла неслышно и даже испугала меня, наверняка это заметив, хоть я и старался не подать виду. Она была в черном спортивном костюме, а на груди поверх футболки звенела тихим сухим светом икона святой с ликом, заключенным то ли в капле, то ли в крыле. Я засмотрелся на икону, и мне стало неловко, что так долго не отводил взгляд. Если бы не ее уверенность в себе, которая словно смахнула в сторону, обнулила это мгновение, я бы наверняка растерялся и начал говорить всякую чушь.

— Летом кусты закрывают нас со стороны дороги. Сосед увлекается растениями и подарил рассаду.

— Разве может куст закрыть дом? Что это за куст такой?

— А что ему делать, если не расти? Мы его поливаем.

Я задумался, пытаюсь ответить, но так и не смог предложить других вариантов существования кустов. Одевшись, мы вышли во двор.

— Здесь красивее всего зимой и ранней весной. Мы нашли это место почти случайно, благодаря тому же соседу. Нам всегда везло с друзьями. Думали про дом у моря, оказались здесь. Когда купили, он совсем не был похож на то, что сейчас. Фотографий не осталось, но я хорошо помню. Поскольку мы тут же начали ремонт, то все сразу изменилось, и, чтобы вспомнить то, каким

он был раньше, я представляю его без себя. Это такая странная медитация, возможно, приготовление к смерти.

— В старших классах я много думал о смерти. Сейчас мои увлечения менее экзотические.

— Биологу трудно смерть отнести к экзотике. Дальше ведет тропинка, но ее не очистили. Пойдем по снегу?

Неряшливо, по-домашнему одета, в длинной зеленой пуховой куртке и белых угах. Лера показывала ее старые фотографии, и сейчас она была более яркой, чем в 20–30 лет. Наверняка она нравилась своим студентам и, конечно, могла встречаться с кем-то, но если так и поступала, то с присущим ей изяществом, которое распространялось решительно на все области. Из рассказов Леры я понял, что она не считала семью главным делом своей жизни, но все же сумела сохранить ее, преодолев кризис, когда супруги жили порознь несколько лет. Мы поднялись на холм, откуда был хорошо виден пруд и соседские дома. В доме рядом я увидел сад в английском стиле, почти весь облетевший, но все еще густой из-за плотной посадки.

— Приезжай чаще. Мы здесь не каждые выходные, но любим приготовить что-то, поохотиться. Ты с утра идешь на рыбалку?

— Не думаю, что буду слишком результативен.

— Мы все дадим. Сама плохо умею, а у Леры получается лучше, чем у отца.

С каждой минутой меня тянуло к ней все сильнее.

Когда мы вернулись, Лера убирала на кухне, и я помог ей с посудой. Она смеялась, вспоминая с отцом случаи на рыбалке. По их разговору чувствовалось, что они оба любят это, и страсть объединяла их сейчас, отделяя от всех остальных, и мама Леры предложила показать мне свою коллекцию кактусов на втором этаже. Растения всю жизнь были моим увлечением.

После ужина мы рано легли спать в просторной комнате с большой кроватью на первом этаже. Проснувшись затемно, я тихо поднялся, набрал на кухне стакан теплой воды из крана и долго смотрел в окно. Оглянувшись: черные неживые глаза. Зажмурившись и проведя рукой между ними, почувствовал грубую поверхность, что-то вроде наждачной бумаги или плотных джинсов. Два загнутых клыка, широкий высокий лоб, бронзовая табличка с датой и весом. Решив, что вряд ли скоро засну, достал ноутбук, чтобы поработать и проверить почту, но, открыв пару писем, слабо понимая, о чем в них речь, закрыл его и задвинул под кровать, где было непривычно чисто, а поворачиваясь лицом к Лере, спящей на боку, думал о том, как сейчас лежит та, другая?

Утром проснулся рано. Отец только включил кофеварку, насыпав в нее зерен, и закурил, приоткрыв окно. Мы позавтракали втроем, он выпил две чашки черного кофе с коньяком и ушел в гараж заниматься снастями. Потом я услышал, как перед домом остановилась машина, и Лера, одевшись, вышла. Подойдя к окну и увидев его, я удивился так же сильно, как и тогда, когда они зашли в ювелирный выбрать кольца, не выдавая никак отношений в кабинете при других работниках. Они говорили около минуты, затем поднялись на второй этаж, не заходя к нам на кухню. Спускаясь, он нес большой черный пакет, и мы лишь кивнули друг другу.

На следующий день, воскресным вечером, не дожидаясь обещанной метели, мы все вернулись в город.

Как я увидел со временем, забирать вещи он может бесконечно долго. Это только так называлось, но на самом деле служило лишь предлогом не прервать общения с Лерой, звонить и писать ей по любому ничтожному поводу, и из-за этого у нас часто случались скандалы, а любые его вещи как минимум двоились. Лера не относилось к нему как к бывшему, связь с которым закончена, а значит, ее не имеет смысла, не стоит продолжать. Он притворялся, что ищет отношений, ходил на свидания, но делал это бессмысленно, только лишь чтобы дать Лере понять, что он ее отпустил, дать понять мне,

что беспокоиться не о чем, и убедить себя, что спустя время, лишившись рядом человека, без которого ты своей жизни представить не мог, можно жить без него так же, как и до встречи с ним, не испытывая ни отчаяния, ни сожалений. Но все эти действия давали эффект прямо противоположный, и именно поэтому, когда Лера называла его своим другом, я мигом приходил в бешенство. Тем днем мы втроем были на огромном оптовом рынке, вначале рассматривая с холма, где располагалась парковка, бесконечные ряды между контейнерами, называвшиеся здесь улицами и имевшие свои названия, затем пили в баре на рынке, почти ничего не купив, а потом пошли в гости к подруге Леры, жившей неподалеку и только заехавшей в квартиру, где продолжали пить до самого утра, и тогда мы впервые сильно поссорились. Она упрекала меня в отсутствии друзей, целей, нежелании быть более открытым, в абсурдности отказа работать у родственников или даже принимать от них помощь, потому что, как она говорила, карьера юриста сейчас не может начаться или быть успешной иначе, в неспособности бороться за свои интересы и даже за нее, на что я возражал, что вокруг и без того все победители, и, сдастся мне, что вовсе не победители плохого, и вообще что кажущееся победой одного может совсем не означать поражение другого и т.д. и т.д. Все ее возражения я хорошо знал, потому что мы начинали этот разговор много раз, и каждый раз не находили компромисса, просто оставляя его, как оставляют при переезде на прежнем месте громоздкий сломанный шкаф. Она не понимала, что стремления заработать как можно больше и любой ценой может не быть, вообще не использовала слово «достаточно» в отношении денег, отчитывала меня, когда я не ходил в бар с однокурсниками, всеми без исключения получившими хорошие должности, а я не мог объяснить, что и без того работаю много и не собираюсь тратить личное время на скучных мне людей, которые не произносили собственных мыслей с тех пор, как вместо искреннего и такого естественного после попадания в этот мир крика научились выговаривать слова. С бывшим она говорила о работе, и порой говорила много, у них были десятки общих знакомых, за карьерой которых они оба внимательно следили, которых не забывали поздравить с каждым назначением, держали в телефонной книге сотни номеров и больше тысячи друзей в социальных сетях каждый; но когда всех этих тем не существовало, нам было хорошо, Лера часто говорила, что ни с кем не чувствовала себя так свободно. Днем мы проснулись с тяжелым похмельем и смотрели на несколько банок пива в холодильнике, споря, кто сломается первым. Скоро внутреннюю белизну холодильника не нарушало ничего, как и белизну наружную, а на столе появились упаковки пива. Завтрак, который приготовила подруга Леры, никто толком не ел, а сидя в кресле на лоджии с видом на черные перепаханные поля, изрезанные прозрачными лесополосами из дубов и акаций, я смотрел, как желточный треугольник солнца, бывший вначале размером с салфетку, расплзается по мраморной плитке на стене вверх, теплый и совершенно живой, как дрожжевое тесто.

...Люди входили в этот большой дом в середине переуллка и начале другой улицы один за другим. Когда им шли навстречу, то в дверях один другого никогда не пропускал, однако все ловко крутились вокруг себя, как пластмассовые футболисты в настольной игре, и не толкали друг друга, держа портфель или папку с бумагами всегда перед собой, демонстрируя совершенно цирковой навик. Вообще в этом здании, которое однажды приснилось мне как дом с заколоченными окнами, принято было спешить, и чем быстрее ты шел, тем более ответственной казалась твоя задача: люди с наиболее быстрым шагом и серьезным выражением лица, говорящие по телефону несколько секунд обрывочными быстрыми фразами, открывали рестораны вместо санаториев и переводили обвиняемых в статус свидетелей, продавали конфискованную контрабанду, открывали подпольные казино. Начальник соседнего с нами отдела продавал наркотики, и это, вероятно, было лишено изящества хитрых и

сложных, как вензель или как генеалогическое древо, коррупционных схем, из-за такого полного отсутствия вкуса, а как следствие, чувства меры, лишился места и даже был задержан. Лера однажды рассказывала мне подробную биографию начальника отдела, где мы познакомились, и он оказался бывшим судьей, уволенным за коррупцию; через несколько месяцев после окончания моей практики его задержали опять, со следами на пальцах от меченых купюр, но вскоре он вернулся в обставленный собственной мебелью кабинет.

Когда на улице раздалась сирена, двое подбежали к окну на первом этаже и не отходили, пока машина не скрылась. Была пятница, без десяти шесть, и мы разлили виски в бумажные кофейные стаканы. Выпили залпом и потянулись за кубиками твердого сыра, пахнущего сладким грецким орехом.

— Представляете, — сказал один. — Заходил в обед судья, говорил, ему хотят отрезать водопровод.

— Если он его ни с кем не согласовывал... — сказал я. — Или согласовал, и проблема в другом?

— Проблема в том, что он судья. Мы отменим их решение.

— Как вы отмените правомерное решение? В любом случае они вынесут новое. Может, есть другие способы с этим разобраться?

— Это судья нашего района. Есть отличный способ разобраться, не трогать его.

Ему позвонили на мобильный несколько раз, он не ответил.

— Попросили устроить в школу, куда я не смог отдать собственного ребенка. Они думают, что мы здесь можем все, и, с одной стороны, это хорошо...

— Когда хорошо только с одной стороны, — сказал другой, — это не так уж и хорошо.

— Что ты имеешь в виду? — сказал первый.

— Полезно не пить и есть кашу по утрам. А у тебя с утра были зрачки, словно в машине траву покурил.

— Зрачки были с какой стороны?

Мы попрощались в вестибюле. Я не захотел выходить на оживленную улицу сразу после рабочего дня, тем более что Лера по пятницам звала домой друзей, а мне больше всего тогда хотелось помолчать и побыть одному, так что вместо парадной толкнул я тяжелую, скрипучую дверь во внутренний двор, где возле каждого деревянного дивана над урной возвышалась пепельница в форме быка. Из дверей противоположной стороны двора вышел подтянутый, крепкий мужчина лет пятидесяти, в темно-синем костюме с широким бордовым галстуком.

— Что ты ищешь?

Я проверял карманы в поисках сигарет.

— Чей кабинет? Где оставил?

Когда я назвал фамилию, отец Леры кивнул и протянул мне пачку.

— Я ничего не теряю, — сказал он. — Но если теряю, то мое ли оно было?

Мы поговорили пару минут. На выходных он летел в Москву, Киев и Донецк, назад возвращаясь в пять утра понедельника, не успевая даже зайти домой принять душ. Он расплющил сигарету о лоб бронзового быка и протянул мне пачку снова, но я отказался.

— Заходи ко мне чаще, если хочешь получать больше, чем терять. Со мной не потеряешь.

Это был конец месяца, и за четыре недели я ни разу не зашел в его огромный кабинет с двумя пальмами и балконом на улице.

— Надо стремиться, — сказал он. — Побеждают, потому что сильно этого хотят, со мной соглашаются, потому что хотят быть вместе. Соглашаются на то, на то никогда не согласились бы, не стань я таким.

— Кстати, почему вы курите здесь?

— Это ведь курилка. У любой системы есть свои правила.

Обычно он курил в кабинете, но, вероятно, заметил меня, идя по коридору.

Как метеор, быстрым, молниеносным шагом он направился к двери, распахнул ее, не останавливаясь, и скрылся в коридоре, где всегда чистые мягкие ковры сразу же заглушили стук его туфель.

...Приближался приступ, я чувствовал это в животе и солнечном сплетении. Дыхание становилось глубже и чаще, всей спиной я прислонился к скамейке, крепко уперевшись ногами в шершавую тротуарную плитку и широко раскрывая глаза при каждом вдохе, чувствовал мощные удары в груди, такие сильные, что вздрагивал не только подбородок, но весь корпус; спустя час я был в супермаркете и выбирал сыр и вино для пятничного вечера с подругами Леры. Чтобы забыть о работе совсем, я оставил ключ охраннику на входе.

Ветер, продувавший эту железнодорожную станцию перед бессарабским селом, названия которого уже не помню, был оттого таким сухим, что совершенно не знал ни зеленой волны, становящейся все более светлой, а потом и прозрачной с приближением к берегу, ни утреннего лиманского штиля, когда вода спокойная, словно растекаясь по стеклу капля, ни тумана, нависшего плотно над Днестровскими плавнями, ни даже проливного дождя, так и не случившегося за много недель. Поднявшись с синего алюминиевого сиденья, я направился к крошечной площади с памятником Ленина.

На улочке с одноэтажными домами, куда я свернул в поисках тени, отличавшейся здесь от солнечных мест разве что оттенком грунта, но никак не прохладой, яркие разноцветные колышки удерживали сетку вокруг молодого сада из мирабели, ограничивая пастбище гогочущих кур и гусей в этом странном степном оазисе.

Перейдя дорогу, лишь чтобы скрыться от жары и скоротать время в ожидании поезда, я спустился в подвальный обувной магазин. Тучный черноволосый продавец в белой майке громко разговаривал по телефону.

— Ботинки, сандалии. Туфли почти не берут. Дело не в том, когда мы работаем, а что если клиент приходит, с ним должен кто-то поговорить. Это магазин, не склад. На дверях висит мой номер, и я отвечаю всегда.

— Странное место, — сказал я. — Много магазинов вокруг и так мало людей. Улицы пусты.

Он подошел к прилавку, затем к входной двери, завешенной толстыми фиолетовыми шторами.

— И здесь именно вы продаете обувь? Или это ваш магазин?

Он задумался.

— Можно и обувь. Вы что искали? Может, не только ботинки, но и ружье? Вы не охотник?

Я задумался.

— Ружье всегда полезно. Ботинки нужны, потому что вы умеете ходить. Может, научитесь стрелять и будете пользоваться ружьем?

— Послушайте... Почему вы думаете, что именно я? — Тут я опять задумался. — Неужели я похож...

— Здесь поля вокруг. Можно стрелять, не беспокоясь.

— Можно...

— Вы искали меня?

— Искал вас? Нет, но похоже, что да. Моя жизнь абсурдна, только я не знаю, как сказать это близким людям. Мне кажется, вы меня понимаете.

— Еще могу дать вам подсолнух.

— Здесь рядом подсолнуховое поле, но сколько раз я здесь ни был, никто не продавал подсолнухи. Не думаете, что могут заподозрить в воровстве?

— Побойтесь бога, у вас будет ружье. Никто ничего не скажет.

— О да, что мы знаем о неожиданности?

— Заходите ко мне чаще. На дверях есть номер телефона, я отвечаю в любое время. Это не склад, это магазин. Я должен быть на связи.

Он сказал, что магазин сегодня закроем рано, и предложил подождать его на лавочке, что перед сельской школой, с тремя бетонными ступеньками, обсыпавшимися и оббитыми, ставшими теперь округлыми по краям, как тающее мороженое в вафлях. В его доме мы пили сладкое вино, казавшееся совсем некрепким, закусывая неизвестными мне болгарскими или бесарабскими блюдами, а потом он ушел говорить по телефону, и я слышал про туфли и сандалии, и что дело не в том, когда клиент приходит, а что человеку нужно вовремя ответить, а на дверях есть номер телефона, и я вспомнил про поезд, но не мог найти станцию и долго ходил улицами, тыча носом в одни и те же дома, колодцы, ворота, столбы, давно заброшенные киоски, слышал гоготавших гусей и мычавших коров. Земля пересохла, как корка черствого хлеба, покрылась черепицей, я выбивал ботинками пыль, стараясь идти серединой дороги, твердой, как асфальт, а не краями, где более мягкую почву, взрыхленную корнями трав, так и не смогли утрамбовать колеса, и оттого она сильнее пылила. Вдоль дороги сновали стрижи, чертя в воздухе угольные полосы, видимые только одно мгновение и оттого будто никогда не существовавшие.

Показалась новая голубая «Волга», и я свернул на обочину, а когда оглянулся и пыль осела, то увидел в прицепе овец, из тех овец, что мечтал я здесь увидеть, но мне так и не удавалось это до сих пор, и чем дальше они удалялись, тем сильнее густел воздух между крестами могил и стволами орехов; красный прицеп прыгал по буграм и ямам, как поднимающийся по руслу реки лосось. Ветра не было совсем, низкие облака тихо неслись своим ходом, исчезли бабочки-капустницы, затаили трескотню сверчки; над абрикосовым садом быстро закружили хороводы летучие мыши. Когда я видел его в тот последний раз, сумерки сгустили сад, словно приблизили друг к другу стволы и ветви абрикосов так же, как время сливает воедино воспоминания, при возвращении к ним мысленным взором создавая каждый раз новую форму, похожую на многослойное цветное стекло.

Алла Боссарт

Второе дыхание Чейна-Стокса

Итак, я родилась — давно, среди весны,
в роддоме на Арбате, самом модном,
пять лет, как папа мой вернулся с ТОЙ войны —
той, что звалась священной и народной.
Я уродилась жизнерадостным дитя.
Мне пригodiлось это жизнь спустя.

Налаживался быт, пластинки «ultra vox»
крутились с песнями на языках нарядных,
снег таял, оседал, ворвались Чейн и Стокс,
а там и телефон повесили в парадном.
Скакала звонко я, как по камням ручей,
боялась маму и зубных врачей.

Как просто было все в СССР,
кровать отгородили шифоньером,
у мамы перманент, мой папа — офицер.
Их шкаф поскрипывал, и дверцы — из фанеры.
Лифт громыхнул — двор яркий и нагой.
Там дворник с искалеченной ногой.

У снега был тогда особый блеск —
под фонарями, как павлиний веер.
Не верилось, что у родителей есть секс,
и в двадцать первый век никто не верил.
Но век пришел — и волкодав, и волк.
А в сексе предков был известный толк.

Алла Боссарт — поэт, прозаик, автор нескольких книг. Окончила факультет журналистики МГУ. Публикации в журналах «Октябрь», «Арион», «Дружба народов», «Урал», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Иерусалимском журнале» и др. литературных сборниках. Финалистка Международного Волошинского конкурса 2013 года.

Когда твой путь — так счастливо совпало — лежит вдоль моря,
кудрявою строкой бегущего за край песчаного листа,
и берег пуст, прекрасный несезон в мажоре до-бемоля,
и зимний бриз сметает сон с лица —
ты кожей ощущаешь безмерность времени
и принадлежность к божественной вселенной,
где конечность жизни — всего лишь знак, условность
вроде договора
на имя Бога (в дальнейшем именуемого Автор),
который бумажки этой и в глаза не видел, —
ты ощущаешь лбом, щеками, ладонями, и языком, и носом,
что всё бессмертно, — понимаешь вдруг,
что друг твой жив, и живо всё вокруг,
и старики, и те, кто — на войне, от рака или в драке,
и жив любимый город и собаки...
Причем собаки это знают от рожденья,
как правило, на десять умноженья.

Еще один мелькнул, как тать,
трехсот... да, девяносто третий.
В какой валюте их считать?
В лишенных крова? В мертвых детях?
В полубезумных стариках,
припавших к черным пепелищам?
В крестах, воткнутых впопыхах,
где больше никого не ищут?
В чем счесть его, тот календарь,
те день за днем весну и зиму,
дотла сожженных, без следа
домов, и школ, и магазинов,
где яблоневый пенный грех,
где мальвы ростом выше крыши,
где с корнем вырванный орех
горит среди дуплистых вишен?
Как обездоленных собак
исчислить, как зарыть все трупы?
Мой век: Тбилиси, Карабах,
Херсон, Одесса, Мариуполь...
Мой век — расстрелянный аул.
Мой век — расстрелянные толпы.
Что вы считаете, ау?
Какие, в жопу, супертопы?
От нас, возвращенных на крови,
не жди, мой Боже милосердный,
надежды, веры и любви,
понюхай этот воздух серный!
Взгляни на этот карнавал,
на эти рыла, клювы, пасти...
Как Ты вообще обосновал
создание такой напасти?

Крошится небо на куски,
а к нам летят благие вести
и самолетов косяки,
беременные грузом двести.

Как явилась Смерть в наши города,
как втянули ее перегорклый запах,
разбежались в панике кто куда,
на юго-восток, на северо-запад,
спасались, кто может, хватали стволы,
рассовав имущество по карманам,
плакали детишки, ревели волы,
расплывалось небо дымом румяным.
Сбили ноги, прели в пробках, курили махру,
в кровь нахлестывали крупы бычьей...
А Смерть, усмехаясь, вошла в Самарру
и поджидала там, как обычно.

Арабские женщины входят в море, как в воздух,
надменно не замечая кружевного прибоа,
в длинных платьях своих похожие на вуалехвосток,
стоят и колышутся, недоверчиво на море глядя рябое.
Дружные жёны доброго отца их деток любимых,
он болен, и скоро они перейдут к его младшему братцу.
Будет ли он дарить женам бирюзу и рубины?
Будет ли учить их мальчиков плавать и драться?
Арабские женщины бредут по воде к востоку,
за спиною трепещет, будто плавник, хиджаб,
дно бесконечно длится, и жены бредут к истоку,
тихо смеясь, а мальчики брызгаются и визжат.

Мне сказала старушка с собачкой хромой —
милосердная, кормит всех кошек паршивых, —
вы бы, милая, не возвращались домой,
вы бы жизнь свою прежнюю не ворошили!

Кабы жили спокойно, как я вот живу,
почитай, тридцать лет и три долгие года,
вы давно позабыли бы вашу Москву —
ну, как мать забывает мучения в родах.

Вот калеку нашла: без меня бы погиб,
и окрестные кошки меня уважают,
если дочь навещает — пеку пироги,
летом — ад... Но лимоны по два урожая!

... Тихий мой городок — рай для мудрых старух.
Как хотела бы я стать ее хромоножкой,
и не знать ничего, кроме ласковых рук,
всё забыть и легко умирать понемножку.

Есть у меня любимый сад,
там яблоки висят.
И листьев гаснущих парад
дороже всех наград.
Там дом по-стариковски спит,
и лестница скрипит.
Там мыши под полом шуршат,
боятся за мышат.
Слезятся стены там смолой,
и я машу метлой,
сметаю листья прошлых лет,
которых больше нет.

Огромный мир с пурпурными перстами,
с его материками и Тибетом,
с Элладою, кем только не воспетой,
с домами выше неба, с парусами,
с папирусами, джунглями, с ковидом,
с любовью к детям, к женщинам и кошкам,
с писателями, рынками, с окошком,
куда кричат всегда: а Саша выйдет? —
и с Силиконовой, и с Солнечной долиной,
с многоголосьем, с Иерусалимом,
с антоновкой, ромашками, малиной,
с сайгаками в степной пыли полынной, —
запекся мир под коркой белены,
в спираль свернулся маленькой улиткой,
отгородился хлипкою калиткой —
и стал вдруг сердцевиною войны.

Ева, она же Хава, шла и шла по пустыне,
в полдень искала тени — камень ли, куст, бархан,
до ночи там ховалась, покуда песок остынет,
ночью брела, и с сопки глядел на нее архар.
Звезды ей посылали лазерный свет лазурный,
встроенный в чрево компас вел ее на Дамаск,
где-то пропал мужчина — без вести и без урны,
где-то горели храмы. Зверинцы. Сады. Дома.
Ева, она же Хава, не понимала кары.
Чем она виновата? Чем виноват мужик?

Жили себе и жили, сеяли да пахали,
чужого не брали сроду, просто хотели жить.
Ева, она же Хава, Хивря, Олеся, Ганна, —
вязла в огне пустыни, подняв обожженный лик.
Желтая мгла хамсина жгучим кнутом стегала
рыжих, гнедых, бессильных загнанных кобылиц.
Ева, она же Хава, помнила каждой раной,
каждым своим ожогом помнила отчий дом,
берег песчаный левый, берег высокий правый,
золото над дубравой, затканый льном Подол,
пышную пену яблонь, розовый морок вишен,
бальную спесь каштанов, красную глину крыш...
Ева, твой муж вернется. Слышала я, он выжил.
Жди у ворот Дамаска, что по дороге в Крым.
Горят лиловые мальвы, чернеют белые хаты,
минами всходит поле, строят ковчег бобры,
я за тебя молилась, Ева, она же Хава,
чтобы ты одолела бездну твоей борьбы.

Ева, она же Хава, шла по пескам и змеям,
изгнанница, погорелец, казненная без вины.
Кровавый огонь разрухи, вода, что огня страшнее,
послушные мертвые дети, ртутный софит луны.

Елена Казанкина

Пустые страницы

Рассказ

Герман Петрович смотрел на белый лист, и сердце его болезненно стучало о ребра. Какая, в сущности, дурость, думал он. Ну, закончилась книга, ну, начни следующую.

Проблема была в том, что книга не закончилась. Сержант милиции Швах пришел на квартиру к подозреваемому по делу об ограблении музея — наготове с пистолетом в кобуре и кратким справочником по искусству в кармане, ему открыли дверь — и все, дальше пустые страницы. Сухая аннотация рассказала, что Вячеслав Волков не закончил последний роман, но при жизни высказал жене свою волю: коли умрет раньше срока, книгу должны издать в таком виде, в каком будет, пусть даже пара глав. Интуиция не подвела, он умер раньше срока. Книгу издали.

Герман Петрович прикрыл глаза. Он уставал сейчас быстро и неумолимо, будто кто-то брал и — чпок! — открывал клапан, и сила со свистом выходила из него, как воздух из воздушного шарика. Закончилась книга, подумал он. Надо попросить Надежду принести каких-нибудь еще приключений. Можно вернуться к кроссвордам. А можно и просто умереть. Как Волков, раньше срока. Впрочем, раньше ли?

Это была последняя весна его жизни, и он об этом знал. Врачи тоже знали, но молчали или вралли. Он их не винил — подобное отношение было чем-то вроде плацебо для многих больных, давало силы открывать глаза каждое утро и впихивать в себя еще один завтрак, проживать еще один день. Борцы с косой, как называла их толстая медсестра Варя.

Герман Петрович с косой не боролся, не любил себя обманывать. Последняя весна так последняя, даже лучше. Летом в городе невыносимо жарко, а на дачу его никто не отправит. Невестка бы, пожалуй, и отпустила, и Герман Петрович не знал, из доброты душевной она бы это сделала или чтобы он помер себе тихо в деревне и никому не мешал. Он иногда тешил себя мыслью, что, будь разрешена эвтаназия, именно Надежде он бы доверил шприц со спасительной смертельной водичкой. Было в ней что-то этакое от имени, поженски надежное и жестокое. Такие женщины недрогнувшей рукой убирают табурет из-под висельника, другой рукой укачивая ребенка.

Елена Казанкина — родилась в Череповце, окончила факультет иностранных языков Вологодского государственного педагогического университета. Живет в Череповце. Преподаватель, переводчик, писатель. Дважды полуфиналист «Новой детской книги», победитель литературного конкурса «Креатив» на форуме «Мир фантастики». Печаталась в «Уральском следопыте», «ФанСити», «Мире фантастики», антологии «Право на жизнь, право на смерть». Готовится книга к публикации в издательстве «Пять четвертей».

Публикация осуществляется в рамках проекта «Мастерские» Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

Именно Надежда отправила свекра в больницу полгода назад, прекрасно зная — все знали! — что ему оттуда уже не выйти. И она же притащила стопку книг, которые стали единственной отдушиной в длинных тоскливых днях. Пять страниц до утреннего обхода и таблеток, завтрак — что сегодня, каша или творог? — и еще двадцать страниц до обеда — суп рыбный или мясной? — и так далее, и все по привычной, по наклонной.

В стопке книг обнаружили Дюма, отец и сын, два зарубежных детектива и три романа Вячеслава Волкова. Имя было знакомое, Герман Петрович что-то о нем слышал, но хорошее ли, плохое ли — бог знает. Он взялся за Волкова без особых ожиданий, однако, проглотив первую книгу за три дня, а вторую за два, понял, что нужно притормозить. В больнице была небольшая библиотека, собранная в основном силами родственников пациентов и медперсонала, да и Надежда, и сын его Артем могли принести еще кучу книг, но нельзя было рисковать. О приключениях бравого сержанта милиции Осипа Шваха он читал запоем, забывая на счастливые часы о боли, о последней весне, обо всем. Такие книги попадались редко, и удовольствие нужно было растянуть. Еще на пару месяцев хотя бы, а потом и помирать можно.

— Надюш, поищи этого Волкова еще, если не трудно, — сказал он невестке в следующий ее визит. — Хорошо пишет, я зачитался. Вячеслав Волков.

— Это же приключения? — тут же встрял Артем. — Я читал. Давай еще принесу приключений, Верна или Акунина, Сабатини...

— Вячеслав Волков? — переспросила Надежда, смотря на свекра проницательно. — Хорошо, поищу.

Артем продолжал еще что-то говорить о Сабатини и Акунине, но Герман Петрович слушал вполуха. Надежда его поняла, значит, все будет в порядке.

Оказалось, что Волков писал только о приключениях Осипа Шваха, девять книг в серии, но Герман Петрович поразмыслил и решил, что ему хватит. Он все неплохо рассчитал. Никто не мог назвать дня, когда все закончится, но тело-то чувствовало, сердце чувствовало. За последнюю книгу он взялся, мысленно оставив себе месяц. Он знал — видел, — как заканчивали свои дни такие же, как он. Еще немного, и не будет у него ни сил, ни, дай-то бог, разума, чтобы осознавать близость костлявой и боль, самое главное — боль.

Герман Петрович положил полупустую книгу на тумбочку и лег спать в уверенности, что умрет буквально на следующий день. Это было бы логично: закончилась книга раньше времени, закончилась и жизнь. Все было бы понятно и ожидаемо. Но жизнь, зараза, продолжалась.

К концу второй недели пришлось признать, что рассчитал он все неверно. До конца ему оставалось по меньшей мере две книги, а скорее всего, и больше.

— Чертов Волков, — вырвалось у него, когда к нему в очередной раз пришла Надежда. — Не мог писать чуть быстрее или жить чуть дольше.

Невестка уже не первый раз слышала эту жалобу. Она могла бы закатить глаза и сказать, что принесет ему других книг, но спросила вместо этого:

— А что с ним случилось-то?

Герман Петрович вынужден был признать, что в своем эгоистичном несчастье не удосужился выяснить, отчего умер Волков. Надежда достала телефон — один из тех, которые и телефон, и фотоаппарат, и компьютер, — повозилась пару минут и выдала:

— Эпилепсия. Приступ, был один дома. Болел давно, поэтому и завещал своей жене напечатать последнюю книгу...

— Да, да, я знаю, — раздраженно сказал Герман Петрович.

Надежда порывалась еще что-то зачитать о судьбе Волкова, но Герман Петрович выгнал ее под предлогом того, что в пятницу вечером страшные пробки, а ей еще за Машкой в музыкалку. Оставшись один, он достал из тумбочки «Осипа Шваха и ограбление по-микеланджеловски», открыл пустые

страницы и какое-то время в оцепенении смотрел на белую бумагу с сероватыми краями. В том, как умер Волков, была удивительная, блистательно жестокая несправедливость: не сердце, не рак, не что-то ожидаемое и неумолимое, а эпилепсия. Эпилепсия, с которой люди живут до дряхлости! Если бы кто-то оказался рядом, если бы...

Той ночью Герман Петрович спал плохо, со снами рваными и болезненными, и проснулся до рассвета, когда небо в окне только начинало розоветь. Сосед его, легочник Митя, хрипел справа, слева пустела бывшая койка соседа Виктора. Герман Петрович лежал, смотрел на стыдливое небо, перебирая пальцами край одеяла, и отстраненно, рассеянно думал, что, на удивление, нет боли. Нет, она, конечно, была, но как за стенкой. Он знал, что умирает, но не чувствовал этого всеми клетками тела, как обычно. Если бы, думал он, будто и не засыпал вовсе, если бы кто-то оказался рядом... Ведь приступ — дело такое, там главное — язык не дать прикусить да не удариться об острый угол... Герман Петрович не упрощал и не лукавил, когда так думал. Он рос с отцом-эпилептиком — последствие контузии на войне, и отец умер от цирроза печени, отнюдь не от эпилепсии. Не счесть, при скольких приступах присутствовал маленький Герман, и не счесть, сколько раз он был один с отцом, и справлялся ведь.

Если бы, думал он, любуясь рассветом, если бы кто-то оказался рядом... Вдруг захотелось встать и посмотреть на пустой, чистый больничный двор, и он встал легко, без боли и привычной уже усталости, и подошел к окну, и распахнул обе створки. Двора не было. Перед ним простирались улицы утреннего Ленинграда. Не Петербурга, нет, именно Ленинграда. Вдалеке играл чистыми, пронзительными скрипками шестой концерт из «L'estro armonico» Вивальди, и, хотя звуки, скорее всего, слышались из чьего-то раскрытого окна, нежный апрельский ветер уносил их в раскрашенное акварелью небо и приносил, казалось, тоже оттуда.

А не прогуляться ли мне, подумал Герман Петрович и залихватски, молодецки перекинул одну ногу через подоконник, потом вторую, прыгнул вниз и нисколько не ушиб ступни, хотя первый этаж в больнице был высококоват. А ему ничего, не страшно и не больно, будто снова пятнадцать, и он не из больницы сбегает, а из дома — играть с ребятами в футбол.

Он шел по просыпающимся улицам, вертел головой и понимал, что это все ему снится. Не только потому, что боль будто спряталась за занавеской, а потому, что город вокруг был моложе лет на пятьдесят. Тротуар покрывал асфальт, а не плитка, на больничном газоне пробивалась юная, робкая трава обычного мутно-зеленого, а не изумрудного цвета, вместо отреставрированного красивого дома на углу Депутатской и Константиновского проспекта — тот же дом, но старый и потрепанный. А главное — в этот ранний час улицы были почти пусты, и, пока он шел, мимо успело проехать только два «Москвича» и одни «Жигули». Это был Ленинград. Такой, каким он иногда являлся во сне — молодым, полным сил, как и сам Герман Петрович, впрочем, какой Герман Петрович — просто Гера!

Порыв ветра кинул под ноги газетный лист, он поднял его, расправил — «Труд» от субботы двадцать шестого апреля одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года. «Идем к выборам», — было напечатано крупными черными буквами на первой и единственной странице, и ниже — «Единодушие, сплоченность». И от вида этих забытых уже слов, от чувства тонкой мятой бумаги в руке у Германа Петровича ослабли вдруг ноги. Давно ему не снилось таких ярких, всамделишных снов.

Рядом притормозил еще один «Москвич», из окна высунулся интеллигентного вида мужчина и спросил с легким акцентом:

— Товарищ, с вами все в порядке? Вас подвезти куда?

Тут до Германа Петровича дошло, что он ушел из больницы в полосатой своей пижаме, ему стало одновременно совестно и весело, и он махнул рукой:

— Все в порядке, спасибо. Дойду пешком, тут недалеко.

Он уже собрался идти обратно, но обернулся — мужчина следил за ним вежливо, встревоженно. Латыш, подумал почему-то Герман Петрович.

— Напомните, какое сегодня число? — спросил он.

— Двадцать девятое апреля, вторник, — ответил латыш. — Послушайте, может, вам все-таки помочь?

Но Герман Петрович помотал головой и почти бегом направился к больнице.

Окно на первом этаже — показалось или нет? — было подсвечено розовым, будто за ним все еще всходило солнце, будто оно вело его, чтобы не заблудился. Герман Петрович взял газету в зубы, подпрыгнул, ухватился руками за нижнюю раму, подтянулся и залез в палату. Все спали. Все так же хрипел Митя, все так же белела в полумраке пустая кровать. Силы стремительно покидали тело, и на смятое одеяло Герман Петрович не лег, а упал. Главное, не потерять газету, подумал он и провалился в глубокий сон.

На обед были рисовый суп и котлета с тушеной капустой. Он съел все быстро, без жалоб, не морщась, проглотил горсть таблеток, запил компотом.

— Вы что-то мрачный сегодня, — заметила толстая медсестра Варя, взбивая подушки. — Что с настроением, а?

Герман Петрович не удивился вопросу. Если пациенты не вели обычных разговоров, если вдруг прекращали жаловаться вполголоса или громко, если на их лице появлялось новое выражение — пусть даже решительное, а не печальное, значит, что-то было не так. Он же впервые за последние годы чувствовал себя хорошо. Физически его все так же пожирала болезнь, утренняя бодрость казалась сном, но под матрасом лежал свернутый вчетверо газетный лист от двадцать шестого апреля семьдесят пятого года, и в душе Германа Петровича пели скрипки Вивальди.

Он думал об этом все утро, весь день, поглядывая то на книгу на тумбочке, то на окно, за которым серел привычный больничный двор, а за двором серел привычный город двадцать первого, а не двадцатого века. И мысли не оставляли его. Рассветный Ленинград пятидесятилетней давности был показан ему не просто так. Почему семьдесят пятый год? Да потому, что на задней обложке «Ограбления по-микеланджеловски» стояли даты жизни Вячеслава Волкова — с тридцать третьего года по семьдесят пятый. Он был лет на двадцать старше Германа Петровича. Он мог бы еще жить. Если бы не тот приступ, за его спиной сейчас были бы восемьдесят с гаком лет жизни и не девять, а двадцать девять романов.

— Митя, — окликнул Герман Петрович соседа, когда Варя собрала подносы и ушла. — Можешь найти мне кое-что в компьютере?

Мите было лет сорок, не больше, и он если не спал, то смотрел кино на ноутбуке. Если и удивился он просьбе Германа Петровича, то не стал задавать лишних вопросов — возможно потому, что говорить ему с каждым днем было все больше.

Найдя что нужно, он молча повернул экран ноутбука к Герману Петровичу. Тот выпрямился, преодолевая слабость, наклонился к соседней койке, зашевелил губами, читая. Вячеслав Волков, годы жизни... произведения... ранняя жизнь, приход известности, смерть...

Двадцать девятого апреля одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года Волков был один у себя в квартире (улица профессора Попова, 32, сейчас дом-музей), когда с ним случился приступ эпилепсии. Когда его жена вернулась с ночной смены, писатель был уже мертв. «Вчера около девяти часов утра от нас ушел один из самых известных в Советском Союзе писателей, создатель любимого народного героя Осипа Шваха...» — так говорилось в «Литературной газете» на следующий день.

Герман Петрович записал нужную информацию на полях «Труда», поблагодарил Митю и откинулся на подушки. Дата смерти не оставляла вопро-

сов: окно в прошлое открылось не случайно. Вот только стоит ли им воспользоваться и как? Будь он лет на двадцать моложе и здоровее, утреннее происшествие показалось бы ему не просто сном, но бредом. Он бы выкинул газету, обругав заодно соседей по палате или медперсонал, что глупо шутят, и постарался бы забыть о «Москвичках» и «Жигулях», о траве на газоне, о старых фонарях, обо всем. Но когда близится конец, становится не до скепсиса. Герман Петрович дремал с улыбкой на губах. Ему снилось, что пришла Надежда и сказала, что ночью им в домофон позвонил мессия и сказал, что-бы собирали чемоданы, вся Россия переезжает на Канары.

После ужина по традиции смотрели вечерние новости и кино по СТС. Показывали «Назад в будущее», и Герман Петрович оценил иронию.казалось, что жизнь вдруг, проходя мимо, увидела некоего Калинина Гэ Пэ на больничной койке, развернулась круто, взгляделась в его умирающее тело, утасующую душу и сказала: «А давай-ка мы с тобой прокатимся напоследок». Отношение к смерти у всех в палате было разное. Митя хотел жить. Более того, Митя верил, что проживет еще долго, несмотря ни на боль, ни на что. Покойный же Виктор, наоборот, за неделю до смерти начал упрашивать ночную медсестру, чтобы она вколола ему чего-нибудь посылнее и чтобы они — о, эти вечные они, эти властители судеб! — чтобы они перестали наконец его мучить. Герман не ныл, но понимал скорее Виктора, чем Митю. В чудеса он не верил, а любому терпению есть предел. Лучше раньше, чем позже, думал Герман Петрович, пока не познакомился с Осипом Швахом и не увидел то перламутровое небо над Ленинградом.

Сегодня, когда он закрыл глаза, в голове его не мелькало привычное уже: «Заснуть бы и не проснуться». Сегодня он боялся заснуть и пропустить рассвет. Зря боялся. Едва первые розовые отблески проникли в окно, он проснулся, как от толчка. В палате, в больнице, во всем мире стояла та хрупкая и всеобъемлющая тишина, какую обычно слышит только восходящее солнце. Герман Петрович встал с кровати, достал из тумбочки принесенный недавно Надеждой серый костюм, переоделся и вылез в окно.

От больницы до улицы профессора Попова идти было полчаса, не меньше. Вернулись былые бодрость, упругость шага, ясность зрения. Он будто помолодел вместе с городом. Шел не быстро, чтобы не устать, но энергично, чувствуя пульсацию крови в отвыкших ногах. Проще всего, конечно, было бы доехать на метро, но у него не было и тех пяти копеек, которые оно стоило в те годы. В эти годы. В этот одна тысяча семьдесят пятый год. В котором он, все еще крепкий старик, нет, не старик, а мужчина в возрасте, шел по проспекту Динамо, мимо стоянки — пустая, ни одной машины! — и по аллеям, вдоль которых зеленели нежно кусты и деревья, и на Вяземскую, а потом на Петроградскую. На Петроградской ему встретились первые прохожие, и он запоздало осознал, что одет не по погоде легко. Люди, спешащие навстречу, все как один были в плащах, мужчины в шляпах. Он чувствовал себя раздетым в одном костюме и без шляпы, с лысым черепом, обдуваемым ветерком, но ему было не холодно, а... Неудобно. Неудобно, да. Забытое, как и бодрость, чувство неловкости, когда делаешь что-то не так, как ждет от тебя общество. То, что Артем называл конформизмом, а Герман Петрович — уважением к людям, то, что сгнуло в отчаянные девяностые вместе с одинодушием и сплоченностью.

Неожиданные и неприятные оттого чувства теснились в груди Германа Петровича. Он жалел прошлого, жалел жизни, жалел себя. Сила тела, мышц, которую он сейчас ощущал, была всего лишь взаймы. Стоит вернуться к охваченному рассветным сиянием окну, и он снова станет калекой, смертником. При мысли о палате Германа Петровича охватило вдруг такое сильное желание жить, что запершило в горле, зажгло глаза, и он прибавил шагу и мост через Малую Невку почти перебежал. Свербела, не давала покоя мысль: что, если не возвращаться? Почему нельзя остаться здесь? Если уж открыло не-

ведомое чудо эту дверь в прошлое, не стоит ли, не должно ли этой дверью воспользоваться? Ну и пусть где-то останутся дети и внуки, не нужен он им, плохо им с ним, от него, от его болезни, а помрет, так поплачут и дальше пойдут жить, так заведено, так все в этом мире живут, неужели нельзя спрятаться в этой затерянной во времени норке от всевидящего взгляда той, с косой? Неужели придется возвращаться и умирать?

Погруженный в мысли, он не заметил идущую навстречу девушку и во всем отчаянии, со всей дури своей столкнулся с ней и чуть не сшиб с ног.

— Да чтоб тебя! — вырвалось невольное, и он подхватил ее под руку.

— Чтоб меня? Чтоб вас, смотрите, куда идете! — звонко воскликнула она, высвобождая локоть из его хватки и поправляя сбившийся берет, и от звука голоса он в изумлении вскинул глаза и чуть не ахнул. Ленка! Первая и, наверное, единственная его любовь, та, которая сводила его с ума до тридцати лет, а потом уехала работать в Кишинёв и там же вышла замуж. Не мираж, не галлюцинация, настоящая Ленка, в том самом беретике, в котором была при их первой встрече, и волосы ее, и веснушки, и аромат любимого ею «Жемчуга»... Ленка наконец закончила с головным убором и тоже подняла на него глаза, и он поспешно scuтиллся, отвернулся и бочком, бочком, забыв про извинения, обогнул ее и зашагал дальше.

— Хам! — послышался гневный оклик, но он не оборачивался и надеялся только, что она не успела увидеть его лицо.

Наверное, не успела. Вот уже несколько месяцев, как она познакомилась с Герой Калининым, начинающим звукоинженером и заядлым меломаном, и встреча с лысым хамом, похожим на постаревшего и подурневшего Геру, просто не смела повлиять на их отношения.

Потому что их отношения были лучшим, что знал Гера Калинин в своей жизни.

Потом была жена Александра, Сашенька, милая и красивая, и жить с ней можно было дольше, чем два года, и готовила она чудесно, и детей ему родила и воспитала умных и добрых, и все равно — не Ленка.

И сейчас где-то в этом же городе молодой и влюбленный Гера искал Ленке в подарок на день рождения флакон «Жемчуга», и впереди у них было несколько лет боли и счастья, и старый и больной Герман Петрович не мог, не имел права оставаться в этом времени, которое ему не принадлежало.

Зато оно принадлежало тому, чья жизнь должна была оборваться через несколько часов, и в силах Германа Петровича было предотвратить эту смерть. Можно сказать, для потомков, а на самом деле — для себя и для Осипа Шваха с кратким справочником по искусству в кармане.

К дому 32 по улице профессора Попова Герман Петрович подошел немало уставшим. Дорога заняла больше времени и нервов, чем хотелось, и болезнь, будто спрятавшись на короткое время за занавеской, осмелела и начала выглядывать. Обезболивающее, конечно же, лежало в кармане пиджака, но, если ему станет худо, он просто ляжет и умрет там же, в квартире Волкова, и похоронят его как бомжа, без имени и дат.

Квартира Волкова располагалась в типичной ленинградской четырехэтажке, грязно-желтой, обшарпанной, но не потерявшей благородства. Когда Герман Петрович нажал на кнопку звонка, к двери долго никто не подходил, и под ложечкой засосало. Неужели не успел, как мог не успеть, на часах всего восемь... Конечно, «Литературная газета» могла приврать, но ведь раннее утро же! Советские люди не умирают по утрам, они пьют чай, или компот, или водку, они делают зарядку, слушают радио...

Волков не слушал радио. Водку он тоже не пил. Когда распахнулась дверь, Герман Петрович сразу понял, что человек перед ним трезв и зол. В свои сорок два Волков выглядел старым и усохшим. В руках он держал очки и карандаш, на гостя взирал с раздраженным недоумением, которое быстро сменилось неожиданной эмоцией — страхом.

— Вы кто? Что вам надо?

Легенда застряла у Германа Петровича в горле. Шапочный знакомый шапочного знакомого Людмилы Волковой, жены писателя, давний поклонник, оказался рядом, не мог не высказать... Все это вдруг показалось мелким и пошлым перед паникой, отразившейся на осунувшемся лице Волкова.

— Здравствуйте, Вячеслав Сергеевич, — сказал Герман Петрович, выдвигая из себя мягкую улыбку. — Меня зовут Герман. Я ваш давний поклонник, знаком с Мишей Кузьминым, а он знает вашу жену Людмилу. Я проездом в Ленинграде, вот, до поезда несколько часов, подумал, почему бы не нанести визит...

Он говорил ровно, гладко, поражаясь собственной выдержке. Ведь врал же, врал от первого до последнего слова, но Волков верил, хотя напряжение из плеч никуда не ушло.

— Вы разрешите? — спросил Герман Петрович, указывая на дверь. — Я только с вокзала, страшно устал, мне присесть хотя бы на пять минут.

Волков не хотел принимать гостей. Это было видно по его сжатым губам, по руке, крепко держащей дверь. Однако воспитание взяло верх. Не пустить на пять минут усталого пожилого человека, неважно выглядящего и только что признавшегося в горячей любви к твоим книгам, было бы нарушением всех правил приличия, которые все еще имели значение в скованном условностями и пионерским воспитанием Советском Союзе.

Он кивнул и отошел в сторону, пропуская гостя в квартиру. Прихожая была длинной, просторной, не в пример новостройкам, большая комната — действительно большой, с высокими потолками и окнами, через которые косо светило яркое утреннее солнце.

— А Людмила Петровна не дома? — осведомился Герман Петрович, прекрасно зная, что Людмила Петровна в этот час еще на посту — она работала ночной нянечкой в детском саду.

— Нет, — сухо ответил Волков.

— Жаль, — сказал Герман Петрович, и ему искренне было жаль. Если бы Людмила Петровна оказалась дома этим утром, не пришлось бы ему, как мальчишке, бегать по прошлому и спасать незадачливого писателя, лежал бы он в палате, и дочитывал приключения Осипа Шваха, и спокойно бы себе умирал. Была вся эта ситуация и грустной, и смешной, и Герман Петрович не удержался от улыбки, и, естественно, улыбка еще больше напрягла Волкова.

— Что такое? — резко спросил он.

— Я просто очень рад с вами повстречаться, — сказал Герман Петрович и снова не соврал. — Если позволите спросить, над чем вы сейчас работаете?

На мгновение показалось, что Волков не позволит, но тот пожал плечами и ответил:

— Над новыми приключениями Шваха, над чем еще.

Герман Петрович покивал, повертел головой, оглядывая комнату, посмотрел на часы на стене — восемь десять — и перевел взгляд на Волкова. Тот тоже смотрел на часы, кусая губы. Неудивительно, что с ним вот-вот случится приступ, он же как оголенный нерв. Может, поссорился с женой, ждет ее возвращения. Может, у кого-то из друзей проблемы с органами, вон как разволновался от неожиданного звонка в дверь. Все может быть.

— А пишете вы тут, значит? — спросил Герман Петрович, подходя к письменному столу, заваленному бумагами. Волков странно дернулся телом, будто собирался броситься ему наперерез, и сказал сквозь зубы:

— Я был бы очень благодарен, если бы вы не подходили к моему столу.

Герман Петрович отпрянул и забормотал:

— Простите, конечно, я не буду, я вообще зря... Я, пожалуй, пойду...

И так жалко он это бормотал, так, полусогнувшись, пяtilся к дверям, что совесть Волкова снова не выдержала, и он схватил несносного посетителя за руку и буквально силой усадил его в низкое, продавленное кресло.

— Нет, это вы меня простите, я сорвался, не люблю, когда на незаконченное смотрят... Суеверен, если хотите. Глупость, да, но что же поделаешь. Вы сидите, сидите, давайте я вам книгу подарю, с автографом.

И, не дождавшись ответа, направился к книжному шкафу искать книгу. Герману Петровичу стало стыдно, но он послушно сидел и ждал, пока Волков найдет один из своих романов, подпишет его длинным, размашистым почерком и всунет в руки.

— Спасибо огромное, — сказал он. — Вы не представляете, как мне будут завидовать дома.

Волков, видимо, понял, что беседы не избежать, и спросил:

— А вы откуда?

Герман Петрович с удовольствием соврал, что он коренной ленинградец, но вот уже двадцать лет живет в Москве и страстно ее ненавидит, и на лице Волкова мелькнуло что-то вроде понимания, и он начал оттаивать, и Герман Петрович долго, с чувством ругал Москву и ностальгировал по Ленинграду, и Волков тоже ностальгировал, потому что Ленинград стал уже не тот, а вот в шестидесятые...

Все это время Герман Петрович не прекращал следить за временем. Когда Волков закончил рассказывать про свой двор детства, часы в коридоре пробили девять, а о приступе не было ни слуху ни духу. От кукушки Волков будто очнулся, и на лице его снова появилось затравленное выражение. Он спросил:

— Вы не опаздываете на поезд?

— Нет-нет, еще пара часов точно есть, — радостно ответил Герман Петрович.

Волков нахмурился, помолчал минуту, потом сказал:

— Хотите чаю? Накормить ничем не могу, но есть сушки, варенье...

Он наверняка надеялся, что гость поимеет совесть и откажется, но гость не отказался. Гость с удовольствием принял приглашение на чай и прошел на кухню, едва не наступая на пятки хозяину. Он знал, что ведет себя нагло, некрасиво, но рисковать было нельзя — приступ мог случиться в любую минуту.

Пока Волков ставил чайник на огонь и наливал заварку в две чашки с красными маками, Герман Петрович рассматривал кухню, крохотную по контрасту с комнатой. На стене висели фотографии двух пожилых людей, видимо, родителей, и самого Волкова с красивой, хрупкой женщиной, видимо Людмилой. На столе лежала «Литературная газета», рядом с ней открытый блокнот и остро заточенный карандаш. На белом листе было написано только «Милая моя Людочка», и от этой надписи Герману Петровичу стало не по себе. Повседневные записки жене не начинают с «милая моя Людочка». Все-таки поссорились? Давняя интрижка? Пока Волков угощает неожиданного гостя чаем, в спальне прячется любовница?

Чашки со стуком опустились на стол.

— Сахара нет, — сказал Волков. — Есть малиновое варенье.

— Мне бы руки помыть, — сказал Герман Петрович извиняющимся тоном. — Сами понимаете, с поезда, с вокзала...

— Ванная прямо по коридору, вторая дверь, — сказал Волков, сел и сделал большой глоток из своей чашки.

Герман Петрович уже заметил, где ванная, когда шел на кухню. Коридор делал изгиб, и с кухни не было видно ни двери в ванную, ни двери в спальню, которую он тоже уже заметил. Нельзя было оставлять Волкова одного, но он же сидел, не стоял, и если обернуться очень быстро...

Включив воду в ванной, Герман Петрович вышел в коридор, осторожно приоткрыл дверь в спальню и обмер. В полумраке задернутых штор поблескивала на кровати снятая люстра, а с крюка, торчащего из потолка, свисала веревка с петлей на конце. Под веревкой стоял табурет.

Когда он вернулся на кухню, Волков сидел в той же позе и невидящими глазами смотрел перед собой. Вот тебе и «милая моя Людочка». Герман Петрович сел напротив и отпил чаю. Будильник на подоконнике показывал пятнадцать минут десятого, но приступа можно было не ждать. Может, и суждено было Волкову умереть от эпилепсии, но не сегодня. Почему же в той статье и наверняка во всех газетах, во всех источниках, почему же... А потому. Не мог известный во всем Союзе писатель покончить с собой. Не мог, и все тут. Идеологически незрело. Не партийно.

Герман Петрович взгляделся в сухое, несчастное лицо Волкова. Сорок два года! Ни детей, ни проблем с законом — уж об этом бы точно было написано в Интернете! — так почему? Почему он в самом расцвете своей жизни решает вдруг, что жизнь ему не хороша, а Герману Петровичу в его шестьдесят три не позволено даже последнего лета, последней осени? Волков смотрел сквозь него, он смотрел на Волкова, и такая злость брала, что хотелось взять и самому придушить идиота, и ведь нельзя душить, спасать надо!

— Я видел веревку, — сказал он без обиняков.

Волков вздрогнул, перевел на него взгляд — пустой взгляд человека отчаявшегося, решившегося, в мыслях уже дописавшего записку своей милой Людочке.

— Одумайтесь, — сказал Герман Петрович, и прозвучало это фальшиво, не в тон, но других слов он не знал. — Одумайтесь если не для себя, то для вашей жены, для друзей, для читателей, в конце концов.

Волков ответил что-то, но вышло на хрипе, и он откашлялся и повторил:

— Переживут. И друзья, и читатели переживут. И Люда переживет, ей только легче без меня будет.

— Вдовой? Вдовой никогда никому не легче.

Герман Петрович понимал, что, совершенно не зная ни быта, ни подробностей жизни этой семьи, ступает по тонкому льду, но на фотографии на стене были два счастливых, молодых человека, и дата стояла прошлогодняя, и не могли они вдруг перестать быть любящими, любимыми. Могли, конечно, но хотелось верить, что не могли.

— Да что вы меня отговариваете? — спросил вдруг Волков, будто услышав его мысли. — Вы же ничего не знаете ни обо мне, ни о Люде, ни о книгах моих.

— Я прочитал все ваши книги, — твердо сказал Герман Петрович. — И поверьте, вы тоже не представляете, как они мне помогли.

— Помогли? — Волков засмеялся скрипучим смехом, будто давно не смазанная дверь. — Осип Швах вам помог? Это же пустышка! Дешевое чтиво, которому место не в книжном шкафу, а на помойке!

— Позвольте... — начал Герман Петрович, но Волков вскочил из-за стола, чуть не опрокинув чашку, и сказал звенящим голосом:

— Не позволю! Вы судите обо мне по литературе, которая позорит меня как писателя, но вы же читали только про Шваха, у вас нет выбора, как и у меня нет выбора. Вы ничего не знаете, не понимаете...

Он бросился вон из кухни в спальню, и Герман Петрович бросился за ним, уронив стул. В голове нарисовалась дикая картинка: обезумевший писатель пытается повеситься, сует голову в петлю, затягивает потуже, а Герман Петрович мешается под ногами, не дает, подсовывает табурет, режет веревку перочинным ножиком, которого у него нет...

В спальне Волков опустился на колени, достал из-под кровати потертый саквояж, раскрыл замки и высыпал на покрывало листы, исписанные листы, покрытые росчерками красных чернил, стрелками, звездочками, знаками, понятными лишь посвященным... Это была рукопись. Именно рукопись, написанная его, Волкова, рукой.

— Вот это, — сказал он, дрожа голосом, — роман моей жизни. А Швах — да гори он огнем, этот Швах, будь он проклят!

Герман Петрович уже все понял, но Волков продолжал говорить:

— Я не могу больше быть его создателем. Я могу, хочу писать о большем, вот этот роман — он о жизни моего отца в лагере и после, не о политике или партии, не о Сталине, просто о жизни. Болел он, сапожником стал, потом лучшим сапожником, потом руку потерял... Ведь я же не Солженицын, на скандальность не претендую. Но не печатают. И не напечатывают. И я могу в любой день просто взять и умереть, и никто даже не узнает... Ко мне уже приходили, спрашивали, про Володьку Степина спрашивали, про планы мои творческие, и в «Байкале» мне сказали, чтобы даже не совался...

Он сел на пол рядом с кроватью, обхватил голову руками и съежился, словно пустой костюм. Герман Петрович молчал и смотрел то на рукопись, то на веревку. Он хотел спасти человека от эпилептического припадка, но как спасти от тупика, от пропасти? Сказать ему: «Да бросьте, вы останетесь одним из самых известных приключенческих авторов СССР!», значит, просто забить гвоздь в гроб. А что еще сказать, Герман Петрович не знал. Пожалейте жену? Поимейте совесть? Старому человеку вдруг захотелось жить, но он не может, а вы собираетесь удавить жизнь петлей? Все не то, не так, но и уйти он уже не мог.

— Знаете, — сказал он, так ничего и не придумав, — я очень болен. Я умираю. Я не знаю, насколько хорош ваш роман об отце, но знаю, что дешевые, как вы говорите, приключения Осипа Шваха на много часов спасли меня от боли и от тоски. Если вы все же решитесь покончить с жизнью, примите мою благодарность хотя бы за это.

Волков поднял голову.

— Не за что, — сказал он растерянно. — То есть это вам спасибо. Я не знал, не думал...

— Я тоже не знал, что у вас есть этот роман, — сказал Герман Петрович. — Но видите, как бывает.

Они помолчали. Часы в коридоре пробили десять.

— Куда вы дели веревку? — спросил Волков.

— Вон она, в углу.

— Хорошо. Нельзя, чтобы Люда увидела.

— Я, наверное, пойду, — сказал Герман Петрович. — Если вы захотите... ну, вы понимаете... мне вас не отговорить. Вы уж как-нибудь сам.

— Да, да, — сказал Волков. Казалось, ему было стыдно.

Уже на пороге квартиры, обернувшись, Герман Петрович пожал Волкову руку и сказал:

— Скоро все изменится. Разрешат публиковать то, что сейчас хранится в таких вот саквояжах под кроватями. Но если вы умрете раньше этого времени, то так и не дадите вашему роману ни единого шанса. Ни роману, ни читателям.

Он хотел сказать еще что-то важное про веру в себя, про дело жизни, про терпение и труд, но послышались быстрые, легкие шаги, и они увидели взбегающую по лестнице красивую светловолосую женщину, хрупкую до худобы. Она тоже их увидела, улыбнулась приветливо:

— Здравствуйте, а вы к нам?

Герману Петровичу снова стало неловко, что он без шляпы и не может снять ее перед дамой, и он просто склонил голову и сказал:

— Здравствуйте, я от вас. Давний поклонник творчества товарища Волкова. С удовольствием бы остался еще, но спешу на поезд.

— Очень жаль, — она искренне расстроилась. Подумать только, так огорчиться из-за того, что гость не может остаться! А ведь в том, уже ушедшем семьдесят пятом году она должна была увидеть своего мужа висящим в петле в их спальне, рядом с их кроватью...

Герман Петрович посмотрел на Волкова долгим, строгим взглядом, и тот вроде бы понял.

— Вы приезжайте еще, — сказал он неуверенно.

— Я постараюсь, — ответил Герман Петрович и начал спускаться, держась за перила.

Дорога обратно показалась совсем короткой. Только перешел Карповку, а впереди уже виднелась больница. Тело чувствовало, что каникулы в прошлом заканчивались. Занавеска была отодвинута, болезнь возвращалась волнами, жаром, слабостью. О том, чтобы подтянуться на окне, речи уже не шло. С огромным трудом он подтащил к стене два ящика из-под фруктов, валяющихся у калитки, взобрался на них и буквально ввалился в палату. В ней стоял полумрак, и Герману Петровичу показалось, что он ослеп после яркого, почти летнего солнца. Он не помнил, как снял с себя костюм, как улегся в кровать, в голове кружил туман, и все кости ныли от бесконечной усталости, будто, чтобы вернуться, ему пришлось пройти пешком все эти пятьдесят лет.

Когда он открыл глаза, в палате уже было светло, Варя расставляла подносы, разносила лекарство.

— Уж сильны вы сегодня спать! — сказала она добродушно. — Думала, кашу вливать в рот придется.

Едва за ней закрылась дверь, он дотянулся до книги на тумбочке, и от того, что лежала она ровно там же, где и вчера, сердце упало. Распухшими трясущимися пальцами он открыл ее на середине, пролистал до конца...

Закрыв, со вздохом откинулся на подушки.

Игорь Иртеньев

Закрывать глаза нельзя...

Был я как-то раз в Ванкувере,
В целом славный городок,
Пипл, правда, в нем обкуренный
И задумчивый чуток.
У обычного ванкуверца,
Если он не альбинос,
Раз году несется курица
И два раза утконос.
Сексуальные меньшинства там
Составляют большинство,
Но при этом не бесчинствуют
Ни с того и ни с сего.
Что еще у них особого,
Так, одышка при ходьбе.
Секс, не буду врать, не пробовал,
Говорят, что так себе.

На земле народа хренова туча, в смысле, много,
Да еще столько же примерно под ней,
Точно это можно выяснить только у Бога,
Ему там сверху видней.

Думаю, миллиардов сто, не меньше,
Если считать только мужчин и женщин,
Причем всех вместе,
А так, может, и все двести,

Короче, прилично,
Как утверждает молва.
Кого-то из живущих знаю лично,
С кем-то знаком едва.

Игорь Иртеньев (1947) — родился в Москве. Окончил Ленинградский институт киноинженеров и Высшие театральные курсы. Автор более чем 20 книг стихов. Публикации в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Урал», «Арион», «Интерпоэзия» и др.

А бывает, только кому-то представился,
А он — оп, и преставился.
У меня так случилось пару раз.
А как, интересно, у вас?

Почему мужчины, как правило, дышат носом,
А женщины в основном ртом?
Я много лет задавался этим вопросом,
А потом

Пришел к выводу, что, кому чем дышать,
Каждый сам для себя должен решать,
Причем не по кем-то составленной разрядке,
А исключительно в индивидуальном порядке.

Робин Бобин Барабек
Был обжора и кутила,
Но при том как человек
Мне милей, чем Чикатило.
Тем, что ловок был и смел,
Тем, что класть на всех хотел,
С чем согласен я всецело,
А кого и как он съел —
То не наше с вами дело.

Селёдка житель океана
И ухищрение стола,
Ее интенция туманна,
Но цель конечная светла.

Когда вокруг бушует пламя,
А мачты гнутся и скрипят,
Она одна парит над нами,
Вся в белом с головы до пят.

Зато в хорошую погоду,
Отборной покурив травы,
Она является народу
Вся в черном с ног до головы.

Под шубой ли, под маринадом,
В години ли последний час
Она всегда со мною рядом,
Покуда жив один из нас.

Когда ж и он навеки очи
На землю упадет смежив,
Другой, покуда хватит мочи,
За них обоих будет жив.

На стене висит картина,
Называется портрет,
Нарисован там мужчина,
А мужчины-то и нет.
Он, на белом этом свете
Утомившись от трудов,
Шишел-вышел, канул в нети
Без каких-либо следов.
Незаметно, по-английски,
Как вода ушел в песок,
Не оставивши записки,
Не черкнувши адресок.
Это ж надо, был — и нету,
Что ж ты, дядя, натворил,
Даже толком сигарету
До конца не докурил.
Объяснил бы нам хотя бы
Ненавязчиво, впроброс,
Виноваты ль деньги, бабы,
Преждевременный износ.
Извела ль тебя кручина,
Подколотная змея,
Или чем иным причина
Продиктована твоя.
Хоть бы знак подал какой нам,
Хоть какой пролил бы свет...
Ладно, хватит о покойном,
Тут живым-то жизни нет.

Раньше криминала было мало,
Раньше с этим делом было строго,
А теперь его вдруг много стало,
Даже, я сказал бы, слишком много.

Видимо, тенденция такая
Или тренд — я в терминах не шибко,
Только, криминалу потакая,
Мы большую делаем ошибку.

Закрывать глаза нельзя на эту
Тему, скажем прямо, основную.
Надо б написать письмо в газету
Нашу, всероссийскую, стенную.

То лето так или иначе
Мы провели с тобой на даче,
Сдается, вроде бы под Лобнею,
Едва ли вспомню я подробнее,

Но набирал свой ход июнь
Мало-помалу,
Цвела сирень, куда ни плюнь
И как попало,

И сердце, помнится, в груди
Так сладко ныло,
И жизнь, казалось, впереди.
Да так и было.

Какая музыка звучала,
Как нам рвала она сердца,
Хотя в ней не было начала,
И середины, и конца.

Того, что в музыке должно быть,
Ну, некая, короче, нить,
Которую нельзя потрогать,
А можно только ощутить

Одним наитием особым,
Не оставляющим следа,
Что часто свойственно микробам,
А паразитам — никогда.

Олег Хафизов

Государева стража*

Истерн

Русский Улисс

Если бы Софья заплатила за Ермолку полную сумму выкупа и даже сама отправилась за него заложницей в Крым, это бы нисколько не помогло ее мужу. Потому что в то время, когда Мустафа-Истома вел притворные переговоры о выкупе Ермолки, тот уже находился в Турции.

Казалось бы, с Ермолкой произошло самое страшное после смерти. Но самые страшные происшествия случаются с людьми, когда их не предвидят. Когда же вас заранее и задолго готовят к чему-то пугающими слухами, то реальность, как бы ни была она тягостна сама по себе, может показаться даже несколько лучше предполагаемой.

Примерно так произошло и с Ермолкой, человеком вообще терпеливым и склонным находить хорошую сторону в любых самых неприятных обстоятельствах.

Из Крыма Ермолку, Костю и других военнопленных на греческой барже перевезли в Стамбул, где передали покупателю — очевидно, какому-то турецкому чиновнику, который занимался комплектацией морских экипажей. После оформления сделки казаков распределили на разные галеры, чтобы они, как земляки, не стоворились и не затеяли бунт. Со слезами Ермолка обнял своего юного друга Костю и попрощался с ним, как ему казалось, навеки. И тут же его вместе с десятками других невольников загнали по трапу на ближайший корабль, который покачивался и поскрипывал на волнах у стенки причала.

Этот корабль, называемый кадыргой или каторгой, только что прошел капитальный ремонт после сражения. Он был довольно большим узким судном с длинным комариным носом, предназначенным для того, чтобы клевать бока вражеских кораблей и перебегать по нему на вражескую палубу, с единственной мачтой и косым парусом, который поднимали при попутном ветре, а также широкой, нависающей над корпусом платформой, на которой сидели гребцы.

С каждого борта каторги торчали по двадцать четыре пятнадцатиметровых весла весом килограммов по сто тридцать, которые несли это плавучее насекомое по водному зеркалу, как лапки паука-водомерки. На носовой площадке корабля была установлена артиллерия — одна тяжелая бронзовая бомбарда и две железные пушки поменьше. Маленькие вертлюжные пушечки с рукоятками на подвижных вилках (вертлюгах), наподобие тех, что иноземцы называют фальконетами, а русские — соколками, были привинчены в промежутках между веслами.

* Окончание. Начало см. «Урал», 2024, № 1.

Между рядами скамеек, называемых банками, от кормы к носу шел помост, по которому разгуливали надсмотрщики с хлыстами и серебряными свистками, регулирующие скорость корабля и дисциплину.

В последнем сражении с венецианским флотом каторга была вся продырявлена ядрами и потеряла большую часть экипажа. На каждого «старослужащего» гребца теперь приходилось по двое новичков, так что все ветераны, освоившие технику гребли, получили повышение, передвинувшись к рукоятке весла, на ближний к помосту край скамейки.

После тщательного «медосмотра» Ермолку зачислили вторым номером в тройку на первой правой скамье от кормы — ближайшую к капитанскому мостику, самую важную для хода корабля, но и самую физически тяжелую.

Ермолке, как другим невольникам, был выдан комплект одежды на два года из белых коротких штанов наподобие кальсон, длинной рубахи, косынки на голову и плаща, одновременно служившего зимней одеждой и одеялом, а также что-то вроде подушки из конского волоса с кожаной полостью, которую при гребле подкладывали под зад, а ночью — под голову.

Перед тем как гребцы облачились в свое новое одеяние, неприятно напоминающее мертвецкий саван, их расковали, раздели донага и с ног до головы окатили морской водой. Надсмотрщики, которые выполняли на корабле роль цирюльников, санитаров, сторожей, палачей и много кого еще, сбрили с них (а вернее — содрали тупой бритвой) все волосы, а затем сожгли в печи на камбузе их прежнюю одежду во избежание заразы.

Вместо старых громоздких кандалов, в которых Ермолку везли из Крыма, кузнец наложил на его левую ногу новую цепь — несколько более длинную и легкую. За эту привязь Ермолку нанизали на перекладину для ног, служившую упором при гребле, — после того, как был нанизан третий номер, но до того, как нанизан первый.

Ермолка был приятно удивлен тем, что новая цепь не терла ему ногу и давала довольно большой простор для передвижений от фальшборта до палубы — примерно как у собаки, которая бежит по скользящей цепи во дворе.

В последнюю очередь гребцам, уже освеженным, переодетым и прицепленным к их вечным насестам, раздали деревянные миски для приема всех видов пищи, а вернее — той пищи, из которой теперь состоял их ежедневный рацион, — бобовой похлебки.

Для начала все шло не так уж и плохо. Единственное, что опечалило Ермолку в этот первый день морской службы, так это то, что оба его собрата по несчастью оказались нерусскими, то есть фактически немymi с его точки зрения, и поговорить было не с кем.

Пожилого гребца с правой стороны, сидевшего у рукоятки весла первым номером, звали Абдул. Как ни странно, он был настоящий турок, и, так сказать, гораздо более турок, чем большая часть матросов и солдат на корабле, даже более турок, чем их непосредственный надсмотрщик, венгр по имени Ласло.

Коллегу слева звали Хосе-Мария. Постепенно Ермолке удалось выяснить, что этот темпераментный юноша принадлежит к ранее ему не известному племени гишпанов и латинскому вероисповеданию, очевидно, допускающему такие бабьи имена у мужчин.

Имя турецкого гребца было достаточно простым для того, чтобы Ермолка его тотчас освоил, называя нового товарища Адбулкой. Что же касается испанца, то с его заковыристым наименованием казак поступил так, как и обычно поступают русские люди в подобных случаях. Он переименовал этого красивого, жгучего молодого парня в Машку.

Скоро выяснилось, что команда каторги — и не только ее гребцы, но и вольные моряки, и солдаты — интернациональна настолько, насколько это только возможно, и к тому же намеренно перемешана.

Большую часть команды составляли славяне всех возможных пород, от московитов до сербов и от поляков до какого-то редкого славянского пле-

мени, называемого вендами, причем внутри этого славянского большинства главным большинством были всевозможные русские, от калужских стрельцов до запорожских черкас и от вольных донских казаков до тугодумов из Вологды.

Если половину экипажа составляли славяне, то другую, разношерстную половину было вообще сложно определить по национальным признакам. В основном это были военнопленные тех государств, с которыми Порты постоянно вела войны в Средиземном море: испанцы, итальянцы Венеции, Генуи и Папской области, французы, немцы и венгры, даже арабы, даже персы, даже негры.

Помимо официального турецкого все эти люди выработали для общения некое эсперанто на основе южнорусского диалекта с вкраплениями тюркских, латинских и греческих слов в сопровождении выразительной жестикуляции.

В первый день Ермолке показалось, что на таком тарабарском наречии, наверное, общаются черти в аду. Но после нескольких пинков и ударов плетью он стал кое-что понимать и даже отвечать на вопросы.

Первые дни штормило, и низкая каторга, непригодная для плавания при сильном волнении, не выходила в море. Для того чтобы рабы не захворали и не испортились от праздности, их водили в порт на подсобные работы: что-нибудь куда-нибудь перенести, выкопать, вычистить, сломать... Для здорового мужика это было не обременительно, и Ермолка даже томился оттого, что им подолгу приходилось слоняться без дела, прежде чем выдумают очередное задание.

В порту он наконец получил возможность познакомиться и переговорить с русским гребцом Петрушей с противоположной банки, сыном боярским из Рязани, попавшим в плен три года назад, прошедшим десяток сражений и сменившим несколько экипажей, но не получившим ни одного ранения.

— В учебе па-а-терпи, а там па-а-легчает, — уверял его Петруша, страдавший заиканием, а потому весь как-то выпучивающийся, подмигивающий и посмеивающийся при разговоре, словно ему ужасно весело.

Если верить Петруше, то служить на каторге было ненамного хуже, а чем-то и получше, чем в русской «плавной рати» — на боевых насадах, курсирующих по Оке и Волге. Если хватило сил грести на реке, — сможешь грести и на море. Здесь, правда, жара, но в открытом море, при свежем ветерке, она переносится легче, чем в июле на Руси. Когда же становится совсем невмоготу, то турки натягивают над палубой навес — и для себя, и для рабов, которых они берегут ровно настолько, насколько хозяин бережет собственную лошадь.

Зато и холодов здесь не бывает до самого октября, а к ноябрю навигация кончается.

— Ты н-на веслах хаживал? — интересовался Петруша, наполняя тачку товарища битым камнем полно, но без горки.

— Хаживал, от Калуги до Нижнего.

— Вытерпел?

— Вытерпел.

— И туто в-вытерпишь.

Сравнивая особенности речного и морского флота, Петруша отмечал, что русский гребец на лодке не прикован, и это, конечно, хорошо. Зато после изнурительной гонки на веслах он еще должен перескочить на вражеский корабль или на берег, чтобы вступить в «ручной бой». Здесь же ты прикован к своему насесту с утра до ночи, зато во время боя ты отдыхаешь, а всю неприятную работу за тебя делают другие.

— С-сидишь себе и ждешь пули али ядра, — обнадежил товарища Петруша.

— От христиан не так страшно и смерть принять, — заметил Ермолка.

— С-сплошное веселие, — радостно согласился Петруша.

На подсобных работах Ермолке удалось кое-что разузнать и о своих соседях по скамье.

Отец Машки был богатый испанский барин с именем в версту: дон Альфонсо да то, да се, да третье-десятое. Он прочил сына в священники, чтобы устроить ему выгодную церковную карьеру, а заодно уберечь от опасных шалостей — девок, вина и драк на шпагах, коим испанская золотая молодежь подвержена не менее любой другой. Однако Хосе-Мария бредил рыцарскими подвигами и, скрывая благородное происхождение, завербовался простым моряком, чтобы попасть в Америку. Он попал не в Америку, а в плен к алжирским пиратам, а затем на турецкую галеру.

Машка оказался добрейшим созданием, преданным, привязчивым и услужливым как собака, и это сходство с четвероногим другом человека усугублялось невероятной проникновенностью его выразительного взгляда, как бы говорящего без слов, при полной неспособности выразиться словами.

Абдулка был для Ермолки загадкой. По всему, он был свой человек — гребец, невольник, страдалец. Так же, как все, он дневал и ночевал на собачьей цепи, так же, как все, надрывался на веслах, пекся на солнце и мок под дождем. Правда, он был магометанин, но вероисповедание не давало каторжнику никакого преимущества, и это Ермолка видел на примере другого гребца — арапского сектанта по имени Али.

Однако Абдулка был как бы частичным рабом, пользующимся некоторыми правами и свободами вольного моряка, а иногда и несущим бремя свободного человека.

Во время стоянок и ночевок Абдулку приковывали к скамье. Но в походе, как выяснилось, он перемещался по кораблю совершенно свободно, обедал с матросами и даже посещал галюн, вместо того чтобы облегчаться за борт, как другие.

Спал он не на полу и не на лавке, как все, а по-матросски, на помосте, подстелив под себя волосяной тюфяк.

Работал Абдулка, как все, полуголым или в казенной рубашке, когда холодно. Но в его личном рундуке у фальшборта также хранилась цивильная одежда — турецкие шаровары, халат и туфли с загнутыми носами, которые он надевал на увольнениях.

Тем не менее его не пускали ночевать на берег, как других вольных моряков, а напротив, приковывали на цепь именно ночью, словно вампира, с которым можно поддерживать нормальные отношения только днем.

Ермолка, человек общительный, несколько раз пытался завести разговор со своим новым начальником, но тот лишь отмахивался, как от назойливой мухи, да показывал пальцем на ухо, имея в виду, что его голова не понимает попадающих в нее слов. Загадка Абдулки раскрылась сама собой, после рабочего дня в порту.

Абдулка, отсоединенный от цепи и нарядившийся в свой праздничный халат, сошел с корабля в порт вместе с другими гребцами, но не пошел со всеми на работу, а пошептался с надсмотрщиком и куда-то исчез.

После захода солнца, когда работа прекратилась из-за темноты и на минарете заголосил муэдзин, Ермолка напился воды, обмылся в фонтане и сел отдохнуть под деревом, как вдруг рядом с ним на траву, как на диван, плюхнулся Абдулка. Не могло быть ни малейшего сомнения — от этого магометанина разлило вино.

И вдруг Абдулка заговорил более-менее понятным русским языком, что было, пожалуй, не менее удивительно, как тот случай из Библии, когда человеческим голосом заговорила Валаамова ослица.

— Выпить хочешь? — спросил Абдулка с мягким акцентом.

— Да, — мгновенно ответил Ермолка.

Абдулка достал из-за пазухи плоскую медную фляжку и, осмотревшись, отхлебнул из нее сам, а затем дал Ермолке.

Ермолка последний раз пробовал вино более месяца назад, перед отправлением на сторо́жу, где соблюдался сухой закон, да и в плену кабаков не было. К тому же пряное итальянское вино, которым угостил его Абдулка, было совсем не то, что продается под названием вина в русских корчмах. Ермолку развезло от одного глотка.

— Спаси бог... — только и смог он вымолвить.

— Пророк говорит, первый капля душу губит, а про другие капли ничего не говорит, так я первую каплю проливал, а другие выпивал, — признался Абдулка, подмигнув, пригубил еще и передал фляжку коллеге по рабству.

— Из-за первая капля я на каторгу попал, хвала Аллаху, да ты пей вся, мне на корабле пить не мочно.

Надсмотрщик, который должен был загнать рабов обратно на корабль, отчего-то задерживался, так что до его прихода Абдулка, постоянно жующий листочки мяты, чтобы отбить винный запах, успел поведать историю своих злоключений до того, как попал в неволю.

А попал он очень просто — по пьянке.

Мусульмане бывают разные, и история знает имена восточных владык, которые любили выпить и даже были конченными алкоголиками. Но если ты не султан или хан, то выпивать следует тайком, в специально предназначенных для этого притонах. У Абдулки умерла жена, и он с горя отправился в такой питейный дом, чтобы только приглушить нестерпимую душевную боль, а затем потихоньку вернуться домой.

Абдулка выливал на боль одну чашу за другой, но она не утихала, а, напротив, вырывалась из тисков тоски на волю буйной яростью. Абдулка стал цепляться к клиентам заведения, затеял ссору с иноземным моряком и ударил его кружкой по голове. Моряк при помощи своих товарищей отколошматил Абдулку ногами и выкинул его, еле живого, на улицу. И здесь-то несчастного турка угораздило буквально попасть под ноги бостанджи-паше — начальнику султанской стражи, совершавшему обход города.

Абдулка очнулся связанным по рукам и ногам на дне земляной ямы, в обществе таких же нарушителей общественного порядка. Сквозь решетку лаза над его головой едва пробивался серый свет, голову и бока пронзала боль, и первое, о чем он вспомнил в этой преисподней, это то, что его Лейлы больше нет.

Через несколько часов решетка над ямой отодвинулась, и в нее опустили лестницу. Стражник развязал Абдулку, чтобы он мог выбраться из ямы, и отвел на суд. Судья выслушал показания франкского моряка с перевязанной головой, на которые обвиняемому было нечего возразить, и, недолго думая, приговорил Абдулку к двум годам галер.

— Два года я плыл каторга, а потом свободный — иди, Абдулка, домой! — рассказывал Абдулка, угощая слушателя орешками. — А я говорю аге: не пойду домой, каторга мой дом.

— Остался своей волей? — удивился Ермолка.

Он не мог себе вообразить человека, который по собственному желанию выполняет рабские обязанности, имея возможность пойти на все четыре стороны, хотя сам на царской службе выполнял и не менее тяжелые обязанности, не с большей для себя выгодой, и не помышлял о бегстве.

— А на что мне воля? — удивился в свою очередь Абдулка.

Действительно, в Стамбуле у него не осталось ни близких, ни жилья, ни работы. А вместо того чтобы нищенствовать на берегу, ему предлагали приличное платье, питание и даже матросское жалованье. Были, правда, и некоторые ограничения, в которых был повинен скорее сам Абдулка, но они были вполне терпимыми и даже разумными.

Как только Абдулка получил первое жалованье, он тут же отправился на берег и пропил все до последнего пула, после чего его с трудом отыскивали в трущобах и водворили на корабль. Абдулка поклялся бородой пророка, что исправится, но снова запил после получения следующего жалованья. По его

собственной просьбе его стали сажать на цепь по ночам, когда каторга стояла у берега, и все же Абдулка, как истинный пьяница, иногда находил способы удовлетворения своей пагубной страсти при помощи поистине сатанинской хитрости, свойственной этим несчастным.

— Жил бы на Руси, пил бы вволю! — сказал Ермолка, заронив в душу этого невольника Бахуса зерно, которому суждено было дать самые неожиданные всходы.

Наутро волнение улеглось. Гребцов накормили, приковали к банкам в установленном порядке, и начались самые трудные дни за все время каторги — время морской учебы.

С утра Абдулка, занявший свое место на краю скамьи, выглядел таким же хмурым, как обычно.

— Салям, Абдулка! — заговорщицки обратился к нему Ермолка, чтобы закрепить вчерашнюю дружбу, но перед ним, казалось, опять был прежний турок, не способный к человеческой речи.

Вместо ответа Абдулка показал пальцем на свое ухо, как бы сообщая, что это обращение не достигает его сознания.

Нарядный капудан (капитан) занял свое место под навесом и отдал команду начальнику гребцов, тот засвистал в свой свисток, которому тут же ответили свистки его помощников на палубе, — и пошло-поехало. Вначале гребцов приучали к командам, которые им растолковывали старшие по тройкам. Команд было много, повторяли их быстро и неразборчиво, даже самые сообразительные гребцы путались и получали удары хлыстом, а ведь были среди гребцов и бестолковые, настолько запуганные и запутанные, что уже буквально не отличали сена от соломы.

Наконец «теоретический» час занятий подошел к концу. И, хотя половина гребцов по-прежнему путалась в командах и мало что соображала, его главная задача, пожалуй, была выполнена — воля этого живого двигателя была подавлена и полностью направлена на мускульный труд.

Начали отрабатывать разные виды гребли в разных темпах: сменный и одновременный, походный, средний и максимальный, применяемый на коротких дистанциях в бою. После «теории» эта часть учений показалась Ермолке почти приятной. Надо было только уловить движение Абдулки, а ритм гребли задавали удары басового барабана на помосте. Окрики и удары раздавались все реже, ветерок приятно обдувал лицо, и Ермолка подумал, глядя на гладкую веселую рыбу, которая увязалась за кораблем и высоко выпрыгивала из воды, с брызгами хлопаясь на волны и фыркая, как корова: «Как Господь все дивно устроил — только живи да радуйся».

После полудня мусульмане сотворили свой намаз, и начался обед. Длинные бревна весел торчком закрепили в пазах. Надсмотрщики из палачей преобразились в официантов и стали разносить похлебку в больших медных котлах.

Непривычный к труду барчонок Машка даже побледнел от усталости. Пот лился по его лицу ручьями, он пытался улыбнуться на испытующий взгляд Ермолки, но было заметно, что он близок к обмороку.

— Дыши, дыши глубже, — посоветовал Ермолка, похлопывая его по щеке.

— *Glup ze, glup ze, el senor Ermolino,* — пролепетал Машка.

Еду раздавали от камбуза, расположенного со стороны носа, и первой банке от кормы, на которой сидел Ермолка, пришлось ждать дольше всех. Ермолка хотел было поболтать с Абдулкой, но тот, как ни в чем не бывало, поднялся со своего места и вперевалочку пошел к матросскому котлу, где обедал тот самый Ласло, который только что стегал гребцов и разок врезал самому Абдулке. По нему не было заметно и намека на усталость, хотя он не отличался мощным сложением и мускулатурой, а у сильного Ермолки, признаться, темнело в глазах.

«Он притерпелся, и я притерплюсь», — подумал Ермолка.

В это время где-то на средних скамьях, куда сажали гребцов послабее, началась суматоха. Загалдели рабы, забегали надсмотрщики, из капитанской каюты принесли ключи и отомкнули от скамьи одного из гребцов, которому стало дурно.

Этого молодого стрельца било конвульсиями, коржило и ломало, как бывает во время падучей. Моряки кое-как вчетвером подтащили его к капитанскому мостику, где он продолжал биться и изгибаться совсем близко от Ермолки. Больного окатили морской водой, и он стал дергаться пореже, впадая в оцепенение.

Капудан, его помощники и главный надсмотрщик прервали трапезу, склонились над несчастным малым и начали бурный консилиум, сопровождаемый криками и выразительной жестикуляцией. Говорили они по-турецки, но смысл этой дискуссии было немудрено угадать.

Очевидно, капудан укорял старпома за то, что тот выбрал на рынке бракованный человеческий товар, который теперь придется менять на новый, требующий дополнительных расходов. Оправдываясь, помощник уверял начальника, что гребцу просто стало дурно с непривычки, и этого легко было избежать, снизив нагрузку гребцов для первого раза.

Надзиратель, похоже, предлагал пустить больного в расход, чтобы подобный казус, помилуй Аллах, не повторился в бою. Второй помощник, напротив, считал, что после кратковременного отдыха и лечения этот человек придет в себя и сможет вернуться к своим обязанностям.

Не участвуя в перебранке, капудан лишь молча перебирал свои четки и недовольно поглядывал то на одного, то на другого собеседника. Наконец он буркнул что-то старшему надзирателю и вернулся за свой раскладной столик. Старший помощник, разведя руками, возвел глаза к небу, как бы призывая в свидетели Аллаха, и также вернулся к столу.

Ласло снял с большого оковы и вместо них привязал к ногам небольшое, но увесистое чугунное ядро. Двое надзирателей подхватили больного под ноги и под мышки, подтащили и перевалили через фальшборт в море, даже не удосужившись оглушить несчастного. Перед глазами Ермолки только успела мелькнуть босая черная пятка этого парня, которого звали, кажется, Ивашкой. Вода за бортом забурлила и стихла.

Закончив дело, надсмотрщики принесли почти пустой котел с похлебкой, которая на дне была густой, как хорошая каша, и всегда доставалась самым сильным гребцам. Слюни ручьями потекли у Ермолки от аппетитного запаха, казак набросился на еду, хлебая ее через край и помогая пальцами. Но его испанский товарищ не притрагивался к пище, глядя в пустоту перед собой таким взглядом, от которого, казалось, сам Господь должен был разрыдаться.

— Кушай, надо! — тормошил его Ермолка.

— Nada, nada, — повторял за ним Машка.

Ночью Ермолка ворочался на своей узкой лавке и все не мог уснуть из-за боли в мышцах. У него перед глазами стоял удивленный взгляд Ивашки, который осматривался после приступа и не понимал, что с ним происходит, и эта черная пятка, мелькнувшая над фальшбортом.

В эту ночь он начал обдумывать план побега.

В то время когда пушкари и затинщики епифанской крепости вели огонь из всех стволов по татарским позициям, контуженный Мустафа-Истома валялся вверх ногами на береговом склоне реки Дон. Он очнулся от боли и холода, когда «дело» уже было закончено, татарское войско отошло, а «зажигальники», посланные для поджога слободы, отбиты казаками.

Мустафа-Истома застонал, пошевелился, перекувырнулся в воду и пришел в себя.

Его последнее воспоминание относилось к тому моменту, когда они ссорятся с Федором-Хафизом, но самого поединка он не помнил. Разумеется, он

не мог знать и того, что по ним выстрелила русская пушка. Он только помнил, что они собираются драться с татаринном, и вот уже ночь прошла, и он сидит в реке с отбитой головой.

Выбравшись на четвереньках из воды, Мустафа-Истома стал осматривать и ощупывать свое тело. Руки и ноги были на месте, на нем не было никаких ран, если не считать царапин на лице от падения. Правое плечо болело, очевидно, из-за того, что он его отлежал, а голова гудела, как будто кто-то ударил по ней чем-то тяжелым.

Мустафа-Истома решил, что Айдарка предал его, заступившись за своего, и оглушил сзади дубиной.

«Довести до мурзы ай самому разделаться?» — с трудом соображал бывший казак.

Несмотря на контузию, он уже прикинул, что, вместо того чтобы привлекать Айдарку к суду, с него можно будет взять денег за моральный ущерб. Шатаясь, Мустафа-Истома побрел к лагерю и запнулся о какой-то окровавленный ошметок, не подозревая, что это и есть все, что осталось от Айдарки.

Перейдя пешком мелкий Дон, Мустафа-Истома с изумлением обнаружил, что стоянка татарского войска пуста, притом вытопанная пойма реки, которую занимал военный лагерь, местами изрыта ядрами и покрыта разбросанными обломками шатров, как будто отступление происходило в величайшей суматохе. С сердцем, гулко провалившимся куда-то в желудок, Мустафа-Истома бросился к рощице, где стояла его персональная кибитка, битком набитая награбленным добром. Его добычи, с которой он связывал все свое блестящее будущее на новой родине, и след простыл.

Затем шевельнулась надежда. Он увидел на краю поля человека, который что-то собирал с земли и относил в воз, и другого поодаль, что-то выковыривавшего из земли.

«Хвала Аллаху! Еще не все уехали», — подумал Мустафа-Истома и закричал тому человеку, который был поближе:

— Кешелэр кая киткэн (куда ушли люди)?

Человек, который что-то копал, оторвался от своего занятия и молча уставился на Мустафу-Истому. Мустафа-Истома так же молча уставился на него, и до его отбитой головы дошло, что он неудачно выбрал язык для общения. Он нарвался на русских пушкарей, которые собирали на поле ядра и стрелы для повторного применения.

— Вань, а Вань! Туто татарин! — закричал ближний русский дальнему.

— Оружный?

— Безоружный, один!

— Имай его, а я подоспею!

Доставая из-за пояса топор, первый русский быстрым шагом направился в сторону Мустафы-Истомы. Другой русский бежал ему наперерез, размахивая дубиной.

«Господи, помилуй!» — подумал Мустафа-Истома на чистом русском языке и бросился прочь, забыв и о своей контузии, и о своих утраченных сокровищах.

Его «золотный» халат развевался и хлопал полами, как флаг, он мчался так быстро, что туловище не успевало за ногами. Ветер свистал в ушах. Позолоченный кинжал колотился по бедрам, но ему и в голову не приходило извлечь его из ножен и вступить в бой.

Он остановился лишь после того, как в его легких не осталось ни одного атома воздуха, погоня отстала, а впереди показалось сакма — широкий топтанный путь среди жемчужных волн ковыля.

Если бы Мустафе-Истоме было знакомо слово «дежавю», то он бы решил, что с ним происходит именно это психическое явление. Опять он шел из Епифани на юг, опять был изгоем, и опять его ловили, чтобы прикончить.

Судя по следам и свежим горкам навоза, орда прошла здесь недавно, и он еще мог ее нагнать во время стоянки. Но у него не было уверенности, что

перед ним следы татарского войска. Если его отряд бежал ночью от стен Епифани, значит, на него неожиданно напали. И если татар преследует какой-то новый Евпатий Коловрат, то он сейчас спешит напрямик в объятия своих бывших товарищей.

Из травы на обочине дороги торчали босые ноги человека. Дежавю превращалось в навязчивый кошмар: в ковыле лежало разутое тело человека без головы в русском платье. Не вполне соображая, что он делает, Мустафа-Истома сбросил свой дорогой халат, стащил с мертвеца его дырявую сермягу и надел ее поверх шелковой рубахи. Подумав, он снял с пояса и зашвырнул в траву золотой кинжал, стоивший хорошей лошади.

Голова снова разболелась из-за сотрясения мозга, усиленного переживанием и похмельем. Разглядев вдали какие-то деревца, Мустафа-Истома побрел через поле в ту сторону, чтобы отлежаться в тени или попить, если найдется вода.

Этот маленький оазис находился дальше, чем он предполагал. Едва переставляя ноги, Мустафа-Истома перелез какой-то заболоченный овражек, взобрался на бугор, который показался почти неприступным, и вышел прямо на полянку между трех берез. На полянке два татарина жарили мясо.

— Спаси Христос, уважаемые! — сказал Мустафа-Истома, снова путая все на свете из-за своей злосчастной контузии. — Я переводчик Мустафа. Отведите меня к Дивей-Мурзе, во имя Аллаха.

— Салам, дорогой! — отвечал ему один из татар с низким поклоном. — Мы тебя как раз ждем, чтобы отвезти куда следует. Куда желаешь?

— К Дивей-мурзе, да продлит Аллах его годы.

— Зачем тебе какой-то Дивей-мурза? Мы отведем тебя сразу к падишаху!

Татарин под локоть подвел Мустафу-Истому к березе на краю холма, под которой раскинулась широкая лощина. Все это углубление, напоминающее огромную чашу, кишело лежащими и сидящими людьми. Это были русские пленники всех возрастов, мужчины, женщины и дети, отдыхающие после дневного перехода по жаре. Их были тысячи.

— Айда! — сказал татарин и пинком столкнул нового раба в общий человеческий муравейник.

Поднявшись с колен и оглядевшись, Мустафа-Истома обнаружил, что ему опять повезло — он попал в полон как раз к обеду. Бывший переводчик занял длинную очередь, и ему выдали дневную норму питания: кружку воды и горсть сухарей, сколько помещается в ладонях.

В то время когда контуженный Мустафа-Истома валялся без чувств на речном берегу, зубчатый негатив крепости вспышками отпечатывался на чернильном небе, а земля содрогалась от утробного грохота, Федор-Хафиз и Софья сидели в подземном ходе, тесно прижавшись друг к другу и вздрагивая после каждого залпа.

Ударная волна сбила их с ног, но не причинила им ни малейшего вреда, так что они, мгновенно сообразив суть происходящего, откатали валун от лаза и спрятались под землю прежде, чем раздался следующий выстрел, а затем и пошло все это «веселие».

Предполагая, что татары пошли на ночной приступ, Федор-Хафиз порывался выйти на поверхность и принять участие в «деле», хотя и не вполне был уверен, на чью сторону повелевает ему встать его честь воина, Аллах и присяга. Однако Софья, несмотря ни на какие доводы, не выпускала его из своих цепких ручек и горячо убеждала в том, что его помощь сейчас не понадобится ни русским, ни татарам, зато в потемках и суматохе в него могут пустить пулю или стрелу — как те, так и другие.

— Ш-ш-ш! — успокаивала она его материнским шипением, каким женщины усмиряют по ночам капризных младенцев. — Развиднеется, тогда вылезешь.

Когда канонада грохотала уж слишком близко, а потолок подземного хода осыпался слишком сильно, у нее мелькала предательская мысль: «Хоть бы они тамо быстрее друг друга поубивали».

В конце концов то ли доводы возлюбленной оказались сильнее воинской доблести, то ли воинственные порывы были недостаточно сильны, но Федор-Хафиз унялся, утrelся под женским бочком и даже привык к обстрелу, насколько к нему вообще можно привыкнуть.

«Кто победит, к тому и выйду», — решил за него внутренний голос, который так трудно поддается на идейные доводы, но так услужливо подсказывает способы спасения собственной шкуры.

В это трудно поверить, но под утро, когда стрельба начинала утихать, они даже заснули, а проснулись от шипучей тишины в абсолютной темноте, еще несколько минут соображая, где они находятся: в гробу или в утробе матери.

На ощупь они полезли по ступеням подземного хода наверх, в крепость, где, по мнению Федора-Хафиза, должны были к этому времени хозяйничать татары.

— Не убили бы, — хныкала сзади Софья, держась за полу халата мужчины, как детеныши слона держатся хоботом за материнский хвост.

— Меня не убьют отца ради, а тебя я им не дам, — отвечал Федор-Хафиз, нащупывая кованую дверь Тайницкой башни и колотя в нее условным стуком.

Колотить пришлось долго — и условным стуком, и безусловным, и руками, и ногами, так что проще, кажется, было полезть на ощупь обратно и вернуться к «колодезю». Наконец за дверью послышались шаги кованых сапог по деревянному настилу и игривое насвистывание.

— Кто? — спросил из-за двери голос — русский и пьяный.

— Яз. Ордынский Федор! — отвечал Федор-Хафиз с напускной бодростью.

— Федька-татарин?

— Он самый.

Человек с той стороны загромычал засовом, ржавые петли завизжали, и низкая дверца отворилась.

— О! Федька, мил человек! Ты откуда? — развел руками пьяненький стрелец.

— С того со свету, — отвечал Федор-Хафиз шуткой, которую, кажется, уже использовал накануне.

Щурясь от яркого света, они вышли из Тайницкой башни на крепостной двор. Никаких татар здесь не было, да и обстановка была не боевая, а скорее праздничная. «Воинские люди», которым по случаю победы выдали их винную порцию, пировали вокруг своих котлов на бревнах, лестницах и стенах. Они весело обсуждали подробности минувшего «дела», перекрикивая друг друга, как делают глуховатые и пьяные, и покрывая разговор грубым хохотом.

Казачи помоложе уже плясали, собравшись кружком, притопывая, насвистывая и хлопая в ладоши солистам, выкаблучивающимся в центре с саблями. Такие народные инструменты, как балалайка и гармошка, еще не были изобретены, так что аккомпанемент состоял из бубна и дудки-сопелки, но все припрыжки и присядки танцоров были точно такие, как за сотни лет до и после Ивана Грозного.

В центре площади на колях были воткнуты головы убитых татар — сизые и страшные. Вокруг них старенький воробник (сторож) катал детишек на верблюде. Рядом стояла арба на двух высоких, в человеческий рост, колесах с отбитым у татар добром, и женщины копались в ней, выискивая свои вещи.

— А где татары? — справился Федор-Хафиз.

— Бежали никем же гонимые, — отвечал стрелец, не утерпел и, ударив шапкой о землю, пустился в пляс.

В тот момент, когда Федора-Хафиза привели на крыльцо приказной избы, два казака под мышки вытаскивали оттуда окровавленного татарина, как мясники вытаскивают с бойни тушу. Жена Лихарева Маврица протирала мокрой тряпкой пол, а подъячий, по совместительству исполнявший при допросах роль ассистента, раскладывал на лавке инструменты, уже знакомые Федору-Хафизу, но от этого не более приятные.

Лихарев подробно допросил Федора-Хафиза обо всем, что происходило от его отправки на обмен пленными и до возвращения в крепость. Подъячий занес его «роспросные речи» в книгу. Затем Лихарев отдельно допросил Софью, вызвал пушкаря Ефимку, сделавшего ночью первый выстрел из пушки «Барс», и допросил всех еще раз «очи в очи».

Все допрошенные говорили примерно одно и то же, и, очевидно, говорили правду, и все же Лихареву было не все понятно.

— Чего же для ты не уехал в татары? — спрашивал он Федора-Хафиза.

— Того для, что не успел, — честно отвечал тот.

— А зачем полез обратно в Епифань?

— За пожитки.

Не зная еще, как ему распорядиться со служилым татаринном — как с повторно захваченным военнопленным, своим дезертиром или воинским человеком, вернувшимся к месту службы с задания, Лихарев пока отправил Федора-Хафиза в земляную тюрьму — глубокую зарешеченную яму, выкопанную в одной из башен.

Затем он стал диктовать писарю отписку в Москву.

После осмотра поля боя у Лихарева складывалось впечатление, что никакого ночного штурма, собственно, и не было. На лугу перед крепостью не было обнаружено ни одного мертвого тела, если не считать того, что осталось от несчастного Айдарки, не было и следов по «русскую» сторону реки, какие не могла не оставить на топком берегу толпа людей, лезущих на приступ.

Пушка «Барс» открыла огонь без его приказа — что было категорически запрещено. Получалось, что пушкари начали пальбу по ошибке — сдуру или с перепугу, и их за это следует наказать. Но результат их ошибки оказался самым удачным — гораздо более удачным, чем можно было ожидать от правильно организованного боя, и, следовательно, виновные заслуживали награды. Кроме того, в своей отписке Лихарев должен был представить эту победу как результат умелого руководства, а случайная, дурная удача лишала его лавров искусного полководца и царской награды.

Эту непростую задачу, требующую определенных бюрократических навыков, и решал Лихарев при помощи своего ушлого писаря, отказывая себе в более чем заслуженной чарке.

«Июня в двенадцатый день, как рассвело, государь мой, пришли татарове Дивей-мурзы в тяжкой силе — тысячи с три».

— С четыре, — подсказал писарь, который, как и Лихарев, не мог знать даже приблизительного числа татарского отряда и преувеличивал его численность для более эффектного описания, а на самом деле еще и преуменьшил ее и подвиг защитников крепости, не подозревавших, что они отбились от доброй трети татарской армии — семи тысяч человек.

«Тысячи с четыре и больше, — поправился Лихарев. — У меня же, государь мой, сидели в остроге казаков сотни с три, да пеших стрельцов сотня, да конных стрельцов с полсотни, да пушкарей, да затинщиков, да воротников четыре на десять человек, с жены и с дети, и с бессильные старцы. И, пришед под градские ворота, приказал тот окаянный мурза город ему отдавати со всеми животы, и с запасы, и с зелием, и с нарядом и со знамены, а самим невредимо уходити на Тулу. А буде города не отдадим, то дети и жены наши пополонит, а ратных людей предаст смерти без милосердия. Яз же, холопишко твой государев, сей лести не поддавшись, града ему не отдаывал, но рек ему сице: «Бери, вот мы перед тобой».

И освирепишася, и исполняшася яростию и гневом, сей безбожный мурза напустил на город свои полки нещетные, и татарове приступаша, и травились крепко, и пускали стрелы яко тучи, от света и до темна, и с Божией помощью, стреляли мы на них лучным и вогненным боем, стрелами и пищальми, и метали камением, и кольями, и побивали многих и предавали вечному сну, сами же, Божиим соизволением, оставались все невредимы, а токмо человека с три агарянскими стрелами уязвлены легко.

Видя же, что людишки мои соделались томны и изнемогают, повелеша яз, государь, зарядить великую пушку Барс каменным ядром и палить на басурманы, и палил той великой пушкой Барсом, и побил многих, а ыные утекли за Дон в велицем страхе и ужасе.

И, отступив, посылаша мурза гонцов с уговоры, и с лстивыми речами и с грамоты, и со змеиными хитрости, яз же, государь, тех лстивых речей не слушал, а гонцов прогонял, поносно ругая».

— Передать ли государю, какими словесы я их бранил? — справился Лихарев у многоопытного секретаря.

— Соромно и не по чину, Федор Степанович, — поморщился писарь. — А напишем лучше: «...и, прогнав гонцов, смерть решиша приять за веру Христову».

— ...смерть решиша приять за веру Христову... — благоговейно повторил Лихарев, изумляясь силе художественного слова, которое, не меняя сути происходящего, может представить обыкновенную матерщину благочестивым изречением.

«Ночью же, отступив, устроиша татарове свой стан за рекой за Доном, мы же, государь, изготовясь стояли без сна на стенах со всеми оружиями и с горящими фитили и уповали на Бога и Пресвятую Богородицу».

В этом батальном полотне, таком выразительном и цельном, не хватало какого-то финального мазка, называемого французами *dénoûement*, без которого и вся картина распадалась. Он должен был объяснить начальству, зачем одни его люди развели на берегу костер, другие его люди начали по ним стрелять и в результате победили татарское войско. Казалось бы, можно было просто солгать, что татары ночью бросились на приступ, а мы открыли по ним ураганный огонь, но честный солдат Лихарев, который мог иногда преувеличить свои заслуги и немного сместить акценты в выгодную сторону, просто физиологически не мог говорить неправду.

«Ой, докука, — думал он. — Легче головы рубити, чем сказку сочинити».

Он махнул рукой, подошел к поставцу и налил себе запретную чарку вина. Однако вино, вместо того чтобы оживить его мысли, совсем их расстроило. Ему вдруг захотелось все бросить и доделывать завтра.

— Ай на завтра отложить? — неуверенно обратился он к писарю, который обращался с пером так же лихо, как казак с саблей, но был такой один на триста лихих казаков и ценился в триста раз больше.

— С тебя чара, Федор Степанович, — лаконично отвечал писарь.

Лихарев наполнил чарку вином, нацепил на край дольку соленого огурца и поднес писарю, а через несколько минут отписка завершилась следующим триумфальным аккордом:

«И посыльвал яз, государь, казака Федьку Ибрагимова сына Ордынского тайническим ходом к берегу на разведки. И увидев на берегу нещетных татар перелезающа Дон, тот казак Федька Ибрагимов сын Ордынский разводил на берегу у татарского перелазу полошный огонь. И узреша от света того огня татары лезуще через Дон в несметной силе, русские пушкари и пищальники стреляша на них из всей стрельбы и ядрами, и дробом, и пулями и побиша татарове без числа. Многие же истопли в Дону...»

— Тама Дон по пояс, — напомнил честный Лихарев.

— Тогда не надо «истопли», — согласился писарь. — «Ыные же побегоша в татарский стан вопиюща: русский воевода с великим полком ударил на ны, а ыные вопиша: сам русский царь пришел со всем воинством. Ядра же

русские, летяша на полошный огонь, гору перелеташа и в татарский стан попадаша, делаяще много вреда и сокрушая многие шатры, и обозы, и люди. А татарове стреляша друг на друга из луков и рубиша саблями, и бегающе, и вопиюща яко безумные, и много своих изгубиша во мраке, и отошли в велицем беспорядке».

— Про вылазку не забудь, — напомнил Лихарев.

— Да, и про вылазку, — согласился писарь. — «Заутра же посылаша оканый мурза свои зажигальники зажигать посады. Яз же, государь, сделал вылазку, посады зажигать не давал, зажигальников прогонял и двоих от моей руки срубил».

— Троих, — уточнил Лихарев.

— Как троих?

— Третий татарин помре на дыбе, так впиши и его в сеунч.

Бумагу переписали набело красивым каллиграфическим почерком, Лихарев поставил на ней подпись и печать, и как раз вовремя — его жена Маврица была поварешкой по оловянной посудине, созывая гостей на пир.

В то время когда «лутчие люди» Епифани, переодевшись в праздничное платье, собирались на пир, неловко толклись в сенях и занимали за длинным столом места согласно своему значению, Федор-Хафиз сидел на сырой соломе земляной тюрьмы, куда сверху едва пробивался свет через решетчатый люк, словно и не вылезал из-под земли.

Его мысли толклись и мешали друг другу, как пьяные гости на пиру, но в основном сводились к трем навязчивым предположениям: «Неужели будут пытать? Не может быть. А почему бы и нет?»

Как и каждый молодой мужчина, воинский человек по обе стороны Дикого поля, Федор-Хафиз практически не мог избежать двух вещей. Он должен был научиться убивать или быть убитым. И он должен был выносить нестерпимую боль при ранах и пытках.

Что касается первого, то его воинская инициация прошла более-менее успешно, хотя и не так, как он мечтал. Результатом этой инициации было то, что ему удалось убить по крайней мере одного человека, а его самого не убили.

Что касается второго, то с ним уже случилось самое ужасное после смерти — он попал в плен. В плену с его товарищами началось худшее из того, что может произойти, — их били кнутом на дыбе и жгли огнем. Он видел, слышал и, что самое неприятное, обонял все это перед собой. Но ему чудом удалось избежать пытки из-за того, что русским сначала понадобился переводчик, а затем — воин.

И надо же было случиться, что все это обошлось, его отпустили из плена домой, и ему оставалось только вскочить в седло и скакать без остановки до самого Крыма, чтобы забыть об этой неприятной странице своей биографии как о страшном сне, а он вместо этого вернулся обратно в плен, чтобы его наконец вздернули туда, где недавно корчились его товарищи!

«Я же служилый человек, казак Федор Ордынский», — напоминал ему неуверенный голос оптимиста.

«Для чего же тогда ты не бился против татар, а отсиживался в тайнике?» — напоминал другой голос, который мог принадлежать следователю.

«Но я же вернулся своей волей, а не уехал в татары», — возражал на это мысленный адвокат Федора-Хафиза.

«Вернулся из-за бабы, когда ваших погромили», — отвечал мысленный прокурор.

С одной стороны, Федор-Хафиз никого не выдавал и не поднимал оружия против русских, так что казнить его было вроде и не за что. Но, с другой стороны, после обмена на русского пленного он уже превращался в крымского подданного, который второй раз попался в плен и, таким образом, вполне заслуживает казни.

«Так пусть запишут тебя в русские другой раз», — предложил не адвокат, не прокурор, а какой-то третий, посторонний голос человека, который как бы наблюдал за событиями со стороны и немало потешался над всем этим.

«Да не убьют тебя, у них людей добрых мало, — добавил тот же циничный голос, чуждый как сочувствия, так и злорадства. — Только накажут ба-тоги».

Так оно, наверное, и произошло бы в другом, более привычном татарскому юноше обществе, лишенном алкогольных традиций и сопутствующих неожиданностей. Однако Федор Лихарев уже успел выпить во время составления отписки в Москву и еще добавить втихомолку, за занавесочкой, пока его жена накрывала праздничный стол и потеряла бдительность.

Его опьянение вступило в благодушную фазу, и он вспомнил про татарина Федьку.

Сначала в земляную тюрьму пробился оранжевый отблеск свечи. Потом воротник поднял решетку, закрывающую вход, и опустил в яму длинную лестницу.

— Живой? — справился воротник.

— Мертвый, — огрызнулся Федор-Хафиз, который ужасно хотел облегчиться, но терпел, чтобы не гадить на пол, как, видимо, и предусматривалось тюремным режимом.

— Вылазь, — приказал воротник, приседая на корточки и поднося свечу к яме.

Федор-Хафиз на дрожащих ногах полез наверх, воротник связал ему руки, прикрыл яму решеткой, чтобы в нее ненароком не свалился кто-нибудь свой, запер дверь башни на замок и, погасив свечу, спрятал огарок над притолокой. Они пошли через площадь, где уже пели песни и гулянка переходила в лирический фазис душевных разговоров, братских поцелуев и признаний во взаимной приязни.

Федор-Хафиз, как поэт и мыслитель, не мог не обратить внимания на то, что в течение каких-нибудь суток он уже трижды побывал в подземелье, символизирующем преисподнюю, и третий раз выходил оттуда на божий свет, как бы рождаясь заново. По этому поводу у него родились следующие строки:

Я трижды спускался до адских глубин,
И трижды меня избавлял господин.

— Куды мене? — обратился он к воротнику, единственному во всей Епифани человеку, вынужденному соблюдать трезвость и оттого особенно мрачному.

— Туды, — был ответ этого служителя Аида.

Они вошли во двор, где шел пир. Гости, приняв по первой, начинали оттаивать и вести себя непринужденнее, еще не впадая в бесчинство. Сотник Кудеяр, сидевший справа от Лихарева, узнал Федора-Хафиза и дружелюбно помахал ему рукой. Было что-то не похожее, что его будут казнить прямо за столом, если только русский начальник не придумал что-нибудь из ряда вон изуверское, подражая своему безумному царю. Ровный шумок застолья прервался появлением нового лица.

— Здравствуй, Феденька, — обратился Лихарев к Федору-Хафизу таким ласковым тоном, каким не обращаются к злодеям, обреченным на смерть.

Наверное, он забыл, что они уже здоровались на допросе.

— Хлеб да соль, — отвечал Федор-Хафиз с глубоким поклоном, хотя и не мог, по татарскому обычаю, приложить к сердцу связанную руку.

— Ты для чего его связал? — строго обратился Лихарев к воротнику.

— Не убежал бы, — отвечал воротник, на всякий случай снимая шапку.

— Тебя самого надо вязати да в яму сажати! А Федор — прямой человек, — прикрикнул Лихарев.

Федора-Хафиза тут же развязали, и Лихарев, пересадив одного из полусотников, освободил место за столом слева от себя — что было замечено всеми как большая честь. Приглашение за стол пришлось повторять, потому что Федор-Хафиз никак не мог уразуметь, что оно относится именно к нему. Его тут же заставили выпить большую чашу «с верхом». Лихарев отрезал кусок мяса от бараньей ноги, лежавшей перед ним на блюде, и оказал юноше еще одну честь — передал ему угощение на ноже из своих рук.

Федор-Хафиз сидел рядом с начальником как пришибленный неожиданной милостью и вином, которое ядром опустилось ему в живот и не спешило рассасываться. Лихарев наклонился через стол к подьячему и что-то ему шепнул, тот, казалось, был немало удивлен услышанным и даже пытался возражать, но наконец поклонился и вышел из-за стола.

Вдруг за столом пошел оживленный шумок, гости стали двусмысленно перемигиваться и поглядывать на хозяина. Лихарев опускал глаза и загадочно улыбался. Начинаясь тот странный ритуал, о котором Федор-Хафиз слышал от своих русских друзей, но в который до сих пор не мог поверить, как и в то, что русские мужчины моются в бане вместе с незнакомыми голыми женщинами и умудряются при этом сохранять спокойствие.

Жена Лихарева Маврица и ее подруга Софья вышли с подносом, на котором стоял кувшин с медом, хлеб с солью и пустые чарки, и начали обходить гостей. Они подошли к хозяину, Маврица наполнила чарку медом, отломив кусок хлеба и, обмакнув его в соль, поднесла мужу. Муж поклонился, показал жестом, что отказывается от угощения, и указал на свою «правую руку» — Кудеяра. Кудеяр выпил, закусил, расправил пальцами мокрые усы и... смачно поцеловал Маврицу при муже в самые губки.

Трудно описать тот взрыв чувств, близких к помешательству, которые при этом испытал целомудренный мусульманин Федор-Хафиз. Маврица, как и Софья, была еще довольно молодая и красивая бабенка, вторая по красоте во всей Елифани, а на вкус любителя пышных форм, пожалуй, и первая. Конечно, Федор-Хафиз был безумно влюблен в Софью и не променял бы ее ни на какую другую, но если бы он был влюблен чуть меньше, а Софьи рядом не случилось, то второй кандидатурой на большую страсть, несомненно, была бы Маврица.

И вот, что же он видел? Грубый мужлан Кудеяр присасывается к Маврице самым что ни на есть плотоядным образом, а грозный Лихарев, вместо того чтобы всадить в наглеца кинжал, знай себе посмеивается, словно получая какое-то странное удовольствие. И все это происходит на глазах его возлюбленной, которая стоит рядом с загадочной улыбкой и также не возмущается этим варварским ритуалом.

Подношения и поцелуи повторялись со следующим гостем, и со следующим, и так далее, пока не была перецелована вся правая половина стола и не началась левая. Очередь дошла до Федора-Хафиза.

— Угощайтесь, Федор Ибрагимович, — сказала Маврица, поднося полную чарку Федору-Хафизу с таким бесстыдным взглядом, значение которого, пожалуй, выходило за рамки ролевой игры.

Федор-Хафиз вопросительно взглянул сначала на начальника, а затем на Софью. Федор Степанович подмигнул молодому тезке, Софья показала из-под подноса кулачок.

И здесь, кажется, вмешался сам Аллах, который так же часто ставил юношу в затруднительные положения, как и спасал его из них. Потому что от всех треволнений последних дней у Федора-Хафиза пошла носом кровь, и ему, конечно, стало не до поцелуев.

Игра была прервана, вокруг Федора-Хафиза захопотали, и Софья увела его в хозяйские покои. Здесь она уложила сомлевшего парнишку на лавку, поставила ему холодный компресс и осыпала целым градом поцелуев — горячих и отнюдь не символических, так что неизвестно, куда бы завели эти лечебные процедуры, если бы Маврица не прибежала звать пропащую парочку к столу.

Федор-Хафиз и Софья испуганно отпрянули друг от друга и сталиправлять растрепанную одежду. Маврица захихикала.

— А мочно не ходить? Ослаб я, — спросил Федор-Хафиз голосом немощного человека.

Он уже распалился, потерял голову и готов был отдать руку на отсечение ради желанной цели.

— Не мочно. Федор Степанович осерчает, — непреклонно отвечала Маврица этому чересчур прыткому юнцу.

Они спустились в сени, представлявшие собой что-то вроде крытого двора, соединявшего постройки усадьбы. При их появлении вдруг смолкла музыка, которая так приятно сопровождала лечение, доносясь в горницу, и гости, как по команде, поднялись из-за стола.

— Явился? — произнес Лихарев тоном, который показался Федору-Хафизу угрожающим, и вышел в центр двора с какой-то шкатулкой в руках.

Все это весьма напоминало торжественное собрание или судебное заседание и, во всяком случае, ничего хорошего не сулило Федору-Хафизу, уже привыкшему к перепадам судьбы. Подьячий подтолкнул Федора-Хафиза вперед и поставил его на колени, пригнув рукой шею, как делали татары иноземным посланцам.

«Сейчас и сказнят», — подсказал ему тот самый услужливый голос, который давеча уверял его, что ничего страшного не произойдет.

— Именем царя, великого князя и государя всеа Руси Иоанна Васильевича! — объявил Лихарев. — За дела и поступки при татарском приступе, когда приступали ко граду Епифани воинские люди безбожного мурзы Дивея и отбиты быша с великим уроном, ничесоже сотворив, объявляю отрока сего, казака Феодора сына Ибрагимова Ордынского, достойным...

«Смерти», — мысленно подсказал начальнику Федор-Хафиз.

Лихарев очистил голос покашливанием для пушей важности.

— Объявляю достойным великой государевой милости и награды. Федор, приближься!

Подьячий, который ассистировал Лихареву при торжественных мероприятиях, так же как при составлении документов и пытках, деликатно потянул Федора-Хафиза за одежду, чтобы тот вставал.

Федор-Хафиз подошел к казачьему голове. Подьячий раскрыл шкатулку, Лихарев достал из шкатулки «португал» — большую и тяжелую золотую монету достоинством в десять дукатов — и вручил ее юноше. Такая монета, стоившая целого состояния служилого человека, не использовалась для денежных расчетов, а служила чем-то вроде медали за боевые заслуги.

Не зная, что делается в подобных случаях, Федор-Хафиз глубоко поклонился и поцеловал награду.

— Кабы не Федькина хитрость, жрати бы нам всем крыс от голода, а то и греметь железами в плену! Причепи сей португал себе на шапку али на рукав и носи его явно, да видят православные твою хоробрость, и прямоту, и разум, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, — добавил Лихарев, крепко обнял и расцеловал юного героя, которого мог бы случайно повесить, если бы тот попался ему под руку часом позже, когда от вина его контуженая голова помутилась и он стал впадать в ярость.

— Любо! Любо! — закричали гости, поднимая чарки и чокаясь.

Все рассаживались по местам и галдели, уже безо всякого порядка, домрачеи, смычники и гудошники грянули музыку, выскочил на танцевальную площадку кривляться «глумец» — шут со своей акробатикой, а затем и женщины стали выплывать из закутка, где для них был накрыт особый стол, и присоединились к танцам.

Федор Степанович, который пьянел довольно быстро из-за многочисленных травм головы, обнял Федора-Хафиза за плечи и, навалившись, проявлял к юноше свою медвежью симпатию, искреннюю, трогательную, но довольно обременительную.

— Знаешь ли, Федя, за что я тебя люблю?

— За что? — справился Федор-Хафиз в надежде, что любовь начальника по крайней мере не носит неестественного характера.

— За ум, — сказал Лихарев веско в прямом и переносном смысле. — Мне бог не дал разумения, яз и воинские росписи составляю натужно, а ты хоть и татарин, а всеми человеческими языки владеешь, и говоришь, и пишешь, и стихи слагаешь добре.

— Не всеми, но тремя: русским, татарским и арапским, — заскромничал Федор-Хафиз, но, не утерпев, похвастался: — И паки — кызылбашским.

— Итого: четыремя языки! А мой-то Левка туебень и русским писать не умеет: все гы-гы, да га-га, хуже мартышки. А кстати, как по-вашему «мартышка»?

— Маймыл.

— Маймыл и есть!

— Лёвка — добрый отрок, — заступился Федор-Хафиз за своего младшего приятеля.

— Добрый малый — не титло. Учиться надо, верно я говорю, Федор Ибрагимович? — возразил Лихарев, зачем-то придавливая шею собеседника вниз.

Назвать человека по отчеству в то время было равносильно тому, что позднее означало «ваше превосходительство» или «ваше сиятельство». Федор-Хафиз вспыхнул от удовольствия.

— А что? Твой отец мурза? Бей? Это по-нашему будет лутчий человек, тысяцкий?

— Воевода, темник.

— То-то: темник! Выходит, он ровня нашему князю Мстиславскому. Царь таких прибирает на службу и города дает в кормление.

И Лихарев стал рисовать перед Федором-Хафизом радужные перспективы карьеры, богатства и могущества, которые открывались в современной Руси перед знатными татарами при их поступлении на русскую службу. Выходило, что царь ценит своих новых подданных чуть ли не больше, чем собственных бояр, и Лихарев даже отчасти сожалеет, что родился не татарин, а обычным сыном боярским.

Распаяясь все больше и крича все громче, Лихарев то и дело подливал меда в чаши себе и Федору-Хафизу, которому угощение уже не лезло, и буквально принуждал юношу глотать эту тошнотворную жидкость, как русские обычно принуждают гостей пить на пиру.

Наконец он заврался до того, что пообещал на ближайшем смотре воинских людей поверстать Федора-Хафиза «на Ермолки место» сотенным головой, передать ему Ермолкину сотню, Ермолкино поместье и Ермолкину... жену.

У Федора-Хафиза голова шла кругом от такого шквала благодетельств, он хотел было вырваться из цепких рук пьяного благодетеля, но это было не просто.

— Как же такое мочно при живом-то муже? — пытался он возражать.

— Из турецкой каторги живыми не выходят, — уверял его Лихарев, забывшая по пьянке, что речь идет о его друге.

— Я в Крыму видывал, что и выходили, после семи лет и больше, — возражал Федор-Хафиз, который действительно не раз встречал русских полоняников, получавших свободу лет через пять-семь рабства, но не уходивших домой из Крыма.

— По нашему закону, от мертвого мужа дозволено выходить замуж через год, а от пленного — через пять лет. Через год я вас с Сонькой повенчаю, — обещал Лихарев, словно он был не только казачий голова, но и митрополит всея Руси.

— Как же ты нас повенчаешь, когда Софья христианка, а я — нет? — заметил Федор-Хафиз.

— Крестись, — был ответ.

Их беседа была прервана дракой между казаком и стрельцом, завязавшейся на другом конце стола из-за разногласий в военной теории. Федор Степанович поднялся со своего места, растащил буянов за шиворот и вернулся к своему протезе.

— Завтра же и окрещу тебя в слободской церкви, — продолжил он как ни в чем не бывало.

— Не мочно, — отвечал Федор-Хафиз тихо, но твердо.

— Как не мочно?

— Я мусульманин, мне не мочно креститься.

— Яз говорю, что мочно.

— Нет.

С минуту они смотрели друг другу в глаза, и Федору-Хафизу удалось не отвести взгляд от налитых глаз начальника.

Лихарев уже выпил столько, чтобы превратиться в бешеного зверя, страшного не только для чужих, но и для близких. Он занес свой чугунный кулак над головой Федора-Хафиза, но опустил его и только прохрипел:

— Поди с глаз моих прочь.

В то время, когда Лихарев на пиру предлагал Федору-Хафизу вступить во владение сотней, землей и женой Ермолки, Ермолка курсировал на галере вдоль средиземноморских берегов, доставляя боеприпасы на турецкие военные базы.

Турецкая империя, ее алжирские союзники и ее противники в лице объединенных военно-морских сил католического мира (Священной лиги) начинали подготовку к генеральному морскому сражению, которое войдет в историю под названием битвы при Лепанто.

Христианский флот состоял из трех сотен кораблей Венеции, Испании, Генуи, Мальты, Папской области и других итальянских государств, галер, парусных кораблей и гигантских плавучих крепостей нового типа — галеасов, представляющих собой гибрид галер и парусников. Экипаж этой невиданной армады состоял из 64 с лишним тысяч моряков и 20 тысяч морских пехотинцев абордажных команд, включая молодого испанского офицера по имени Мигель де Сервантес.

Турецкий флот был примерно равен христианскому по количеству кораблей и орудий, численности матросов и морских пехотинцев. Однако историки уверяют нас, что им командовал весьма бестолковый адмирал, ранее не управлявший даже парусной лодкой, а под его началом находились капитаны из ренегатов — итальянцев, французов и других христиан, принявших ислам ради выгоды.

Подготовка такого грандиозного побоища, которое должно было решить судьбу всего Средиземноморья, если не всей Европы, требовала огромных расходов, времени и труда. Строительство новых кораблей и ремонт старых, набор и обучение экипажей, пополнение и кадровые перестановки, производство оружия и боеприпасов, заготовка леса, парусов и канатов — вся эта фабрика войны разворачивала свою работу именно в то время, когда Ермолку угораздило попасть в плен. И Ермолке приходилось принимать участие в этой муравьиной работе, гораздо более сложной, чем те несколько часов бойни, из которых будет состоять ее кровавый финал.

Галера, на которой служил Ермолка, выполняла самую опасную задачу, какая только возможна для грузового корабля, — она возила порох и снаряды. В Стамбуле судно загружали боеприпасами, которые оно доставляло по береговому багареям и крепостям, служившим базами предстоящей кампании. Галера, как правило, передвигалась днем, в видимости берега, но на обратном пути, возвращаясь налегке, могла и идти по ночам, и проводить в открытом море по нескольку дней.

Техника безопасности оставляла желать лучшего, пожары и взрывы при перевозке пороха происходили нередко, и поначалу эти путешествия в бук-

вальном смысле слова на бочке с порохом тяготили экипаж. Но скоро к опасности привыкли и перестали обращать на нее внимание. А гребцам такая работа даже нравилась, поскольку галера шла медленно, небольшими переходами, и со всех рабов на время похода сняли кандалы во избежание случайных ударов и искр. На палубе стало просторнее без абордажной команды, и весь экипаж теперь состоял из офицеров, прислуги, охраны да дюжины вольных матросов.

Разгрузив остатки пороха в крайней точке маршрута, на одном из греческих островов, название которого Ермолка не запомнил, капудан приказал пополнить запасы воды и провизии на обратный путь. И здесь произошло событие, которого сотник ждал с того самого момента, когда его оглушили и впервые связали, сделав «полоняником». В том, что рано или поздно это произойдет, Ермолка не сомневался, как и в том, что бог ведет его повсюду, направляя каждый его шаг. Он только не мог предположить, что это случится через два месяца плена посреди «моря-кияна», в неведомой стране, которой даже название он не мог выговорить.

Под вечер, когда погрузка галеры в обратный путь завершалась и Ермолка, обливаясь потом, занес в трюм одну из последних бочек воды, ему показалось, что в закутке между подпор палубы копошится что-то большое.

«Опять крысы развелись», — подумал Ермолка с досадой об этих вечных спутниках моряков, которые делили с гребцами не только их стол, но и ложе.

Однако, попривыкнув к темноте, Ермолка разобрал, что это нечто имеет явно человекообразный вид и подает ему сигналы, как бы подзывая к себе. Пригнувшись, Ермолка протиснулся в щель и узнал Петрушу Рязанца, который затаился в укромном месте вместо того, чтобы вернуться на причал за очередным грузом.

— Ермолка, г-глянь!

Петруша раздвинул мешки с «сорочинским пшеном» — рисом, заготовленным для экипажа на обратный путь, и показал спрятанный между ними бочонок наподобие тех, в которых перевозили порох. Этот бочонок находился в самом сухом и надежном месте корабля, где хранились наиболее ценные продукты для капитанского стола, — точно под каютой Мехмет-аги.

— Это что? — удивился Ермолка.

— Ямчуг, порох, я п-прихватил!

— Да на что он тебе!

— Бес попутал. Он п-плохо лежал, руки сами и взяли!

Петруша зашелся беззвучным радостным смехом. Палуба над их головой прогнулась от шагов, и следующий грузчик полез по лестнице в трюм. Петруша приставил палец к губам и громко произнес:

— В ногу вступило, должно, подвернул!

— Айда, шевелись, покудова Ласло тебе не вправил!

Ермолка помог симулянту подняться на палубу. А после вечернего намаза, когда вся команда, кроме охраны, ушла ночевать на берег, а гребцы устраивались спать на своем прокрустовом ложе между весел, Петруша подполз к земляку и шепотом рассказал ему о своем диком поступке.

Сегодня, во время разгрузки пороха, он залез под палубу на корме, где хранились личные припасы капудана, и, сам толком не понимая, для чего он это делает, выкатил из-за мешков с зерном небольшой бочонок с солью, точно такой же по объему и весу, как стоявшие рядом бочонки с порохом. Щепкой он отскреб надпись с бочонков, закатил порох на место соли и задвинул его поглубже за мешки, а затем вынес соль наверх вместо пороха.

Работа шла, как обычно, в большой спешке и суете, все торопились засветло доставить грузы в крепость, турецкий чиновник, конечно, не проверял надпись на каждом из десятков бочонков, а только пересчитывал их и заносил количество в свою ведомость. Бочку с солью тут же увезли в пороховой погреб, где она затерялась среди сотен других бочек до того самого часа, когда ее откроют во время сражения, и этот подлог, возможно, будет

стоять жизни турецким артиллеристам. А бочка с порохом осталась под каютой Мехмет-аги.

— На кол захотел? — справился Ермолка, удивляясь этим рязанским, которые не могут что-нибудь не украсть, даже если это опасно для жизни, а украденная вещь им даром не нужна.

— Сразу не п-поймали, так уж и не поймают. На рассвете каторга уходит в море, а вдогон за нами не п-пойдут.

— А ну как огонек от капудановой трубки завалится под пол, али молния ударит? Так и взлетим все в рай — кто в какой!

— Мехмет-ага взлетит, а мы еще успеем п-под лавки закатиться, — возразил Петруша.

И вдруг до обоих товарищей дошло, что судьба предоставляет им такой шанс, какого невозможно было подгадать и самым хитрым расчетом. Галера будет возвращаться в Турцию за новым грузом коротким путем, не останавливаясь в портах на ночевку. В ближайшую ночь, когда турки улягутся спать, им надо только пробраться в трюм под капитанской каютой и взорвать мину, которую Петруша так удачно заложил под самой койкой Мехмет-аги. Если после взрыва капудан, его помощники и надсмотрщики погибнут, а сами заговорщики не сгорят вместе с кораблем, то гребцам остается только справиться с немногочисленной командой, которая спит на носу, — а это по десятку рабов против одного матроса.

Но сделать это надо в одну из ближайших ночей — или никогда. Потому что подмену пороха могут заметить и галеру перехватить. Или повар, спустившись в трюм за продуктами, может найти порох среди мешков. Или буря может застигнуть корабль в открытом море и залить трюмы водой, так что порох размокнет и не взорвется. Или удача отвернется от них за то, что они слишком медленно соображают.

Выполнить этот сложный план без сообщника среди врагов было невозможно. На роль сообщника годился только один человек, и в том случае, если этот человек откажется помочь или выдаст заговорщиков капудану, все будет кончено, не начавшись.

Таким человеком был турецкий полураб Абдулка.

Много и справедливо было написано о вреде вина, погубившего множество добрых людей и испортившего жизни их близких. Даже в нашей истории одну из жертв Бахуса пьянство привело на скамью галерного раба. Но если верно то, что Господь само зло обращает на службу добру, то и здесь именно злосчастная страсть Абдулки пришла на помощь русским пленникам, подтвердив знаменитый тезис святого Владимира о том, что «на Руси есть веселие пити».

На рассвете, когда экипаж уже находился на местах и ждал только капитанского свистка, чтобы погрузить весла в воду, Абдулка с увольнения не явился. Мехмет-ага гневался, Ласло суетился, отправление задерживалось, и наши заговорщики сидели как на иголках, ожидая с минуты на минуту, когда по трапу на корабль взбегут янычары, чиновник, принимавший вчера груз, ткнет пальцем в Петрушу, и его голова тут же покатится по доскам палубы.

Однако вместо обманутого чиновника явилась пара матросов, между которыми, свесив голову, тащился Абдулка, весь помятый и еще не протрезвившийся после вчерашнего.

Капудан велел Абдулке дохнуть на себя, поморщился и что-то приказал Ласло. Надсмотрщики мгновенно сорвали с Абдулки его выходной халат и растянули гребца на палубе, усевшись на ногах и голове. Затем они принялись стегать его гибкими палками, называемыми по-русски батогами, так энергично, что несчастный завопил от боли, брызги крови полетели во все стороны и даже попали на лицо Ермолке, находившемуся неподалеку от места экзекуции.

После того как капудан досчитал по-турецки до пятидесяти, палачи встали со своей жертвы, Абдулка, кряхтя от боли, поднялся на ноги и стал свора-

чивать свой красивый халат, чтобы не испачкать его кровью. Он занял свое место рядом с Ермолкой уже совершенно трезвый, поскольку хмель из него выбили в буквальном смысле слова.

Капудан отдал команду, раздался свиток комита, который повторили надсмотрщики на палубе, и галера одновременно взмахнула всеми своими пау-чыми лапками.

Поглядывая искоса на своего ведущего, Ермолка с удивлением заметил, что по смуглым щекам Абдулки катятся слезы. Он хотел было сказать турецкому коллеге что-нибудь утешительное, чтобы сочувствием привлечь его на свою сторону, но неожиданно Абдулка заговорил первый.

— Ермолай-ага!

— Ась?

— Правда ли, что на Руси каждый свободно может пить вино, и ему ничего за то не делают?

— Святая правда. У нас на Епифани даже есть особые домы для этого, в коих и мочно, и должно выпивать.

— Кабаки? — уточнил Абдулка.

— Кабаки, кружечные двory, — подтвердил Ермолка.

— И будто вы моетесь с красивыми голыми бабами в бане?

— Хоть каждый день.

— Выходит, нам обещают в раю то, что вы и так имеете при жизни? Выходит, что Русь — земной рай?

— Выходит, что так, — сокрушенно вздохнул Ермолка, который начал понимать это лишь после того, как оказался в неволе.

— Возьмешь ты меня на Русь, коли помогу тебе бежать? — спросил Абдулка с мечтательной улыбкой сквозь слезы.

— Клянусь матерью и всеми святыми, — отвечал Ермолка, перекрестился и тут же получил удар плетью от Ласло за сбой ритма.

— Я достану ключи от кандалов и принесу из оружейного трюма сабли. Но ты не убивай Мехмет-агу. Я его сам убью, — сказал Абдулка.

— А ты можешь убить Ласло, я кручиниться не буду, — отвечал Ермолка.

В то время когда Ермолка готовил побег с товарищами по каторге, Мустафа-Истома брел по сакме на юг в связке полоняников. Он второй раз совершал этот путь в Крым, но в прошлый раз его везли на лошади по приятному весеннему холодку, а теперь приходилось тащиться пешком по изнурительной жаре.

После первых головокружительных успехов на татарской службе просто в голове не укладывалось, что судьба вновь сбросила его вниз, обнулив все должности и богатства. Ему казалось, что он в два счета устранил это недогазумение, вернется «ко двору» своего господина, а возможно, и разыщет пропавшие трофеи, хотя бы частично. То, что у него разграбили награбленное, казалось Мустафе-Истоме особенно несправедливым, даже более досадным, чем то, что его в очередной раз лишили свободы.

Однако добиться справедливости оказалось не так просто, как он надеялся. Все его призывы встретиться с начальством татарские стражники воспринимали примерно так, как в полицейском участке воспринимают утверждения о том, что задержанный буян находится в родстве с генералом и самим губернатором, или как в сумасшедшем доме выслушивают вопли больного о том, что он совершенно здоров и действительно прилетел с другой планеты.

Сначала над ним смеялись, как над дурачком, а потом стали и поколачивать.

Все же один из татарских всадников оказался достаточно гуманным или, скорее, рассудительным, чтобы обратить внимание на то, что новый раб слишком хорошо говорит по-татарски и разбирается в иерархии крымского войска.

— Говоришь, знаешь Дивей-мурзу? А какой у него конь? — справился татарин, оборачиваясь на пленного, трусдой поспевающего за его лошадью.

— У него сотни коней, — отвечал, запыхавшись, Мустафа-Истома. — А в бой он всегда скачет на одном — арабском аргамеке цвета снятого молока.

— Может, во имя Аллаха, ты знаешь имя того коня?

— Его знают все люди при дворе великого мурзы. Этого коня зовут Беркет — Орел.

Татарин остановил коня, и вся снизка пленных, которая трусила за ним полубегом, задыхаясь от жары, в изнеможении опустилась на траву.

— Так, значит, ты мусульманин? — сказал надсмотрщик, прыгивая на землю.

— Во имя Аллаха, сто раз я повторял, что я толмач на службе почтенного Рувим-аги при дворе Дивей-мурзы, и зовут меня Мустафа.

— Добро, Мустафа-эфенди, будь тогда так добр скинуть шальвары и показать свой почтенный уд. Смелее, ведь для Аллаха нет ничего тайного, что бы не стало явным.

Сдернув с Мустафы-Истомы портки и внимательно осмотрев их содержимое, татарин поклонился пленному в пояс:

— Благодарю тебя, о великий визирь. Теперь я вижу, что ты такой же правоверный мусульманин, как папа римский или бей Московии Иван. Соизволь встать на место и продолжить свой путь.

Правила обращения с пленными не допускали оставлять без наказания ни одного проступка. Поэтому за вранье стражник хлестнул Мустафу-Истома плетью поперек туловища три раза, подумал и ударил еще дважды.

До самого Перекопа Мустафа-Истома не возобновлял попыток связаться со своим начальством. Он сам недавно был перекупщиком живого товара — ясыря — и как никто представлял себе свое положение. Даже если он и действительно оказался бы русским ренегатом — проводником или переводчиком на татарской службе, что было не редкость, его новым хозяевам невыгодно было отпускать его и терять такую крупную сумму ходячей валюты, какую представлял собою молодой и сильный русский раб.

Мустафе-Истоме оставалось надеяться на то, что он попадет в Кафу или другой центр торговли рабами, а там встретит своего покровителя Рувима, который, конечно же, сейчас находится в самой гуще коммерции, как оса в летний день, когда хозяйка варит варенье в огромном чане под деревом.

Намеки на личное знакомство с великим полководцем Дивей-мурзой и особенно с его конем, кажется, все-таки произвели некоторое впечатление на татарского погонщика людей. Он стал относиться к Мустафе-Истоме с некоторым вниманием, не жалел воды для него и других пленников из его связки и не пускал коня крупным шагом, при котором людям, привязанным за веревку к седлу, приходилось почти непрерывно бежать трусцой.

Мустафа-Истома не умер от теплового удара. Он не подвернул ногу на бегу, как некоторые его товарищи по несчастью, которых прикалывали и бросали в степи на корм стервятникам. Он не подхватил дизентерию от грязной пищи, не заболел воспалением легких во время ночевки на голой земле, его не ужалил скорпион и не укусила гадюка. Его явно оберегала какая-то сила, которая уже поднимала его на вершину, а затем сбрасывала вниз, он слышал ее голос и, забываясь, советовался с ним вслух к немалому изумлению своих товарищей по связке.

Обращаясь к своему незримому покровителю, он опасался называть его по имени, но, конечно, догадывался, как его зовут. Так, с помощью нечистой силы они и добрались до Перекопа, а дальше тенистая дорога между кипарисами пошла легче.

Перед тем как выставить невольников на продажу, их отмыли в бане, переодели в хорошую одежду и откармливали несколько дней. Женщин и мужиков постарше омолодили до неузнаваемости при помощи косметики, массажа и стрижки искусники, которых бы сегодня назвали косметологами.

Затем их разбили на партии по категориям и рыночной ценности и начали выводить на торги по несколько человек, придерживая самых дорогих до того

дня, когда спрос достигнет максимума. Между тем Крым уже многие годы не видел такого наплыва ясыря — если видел его вообще. Русские рабы шли ни почем, хозяевам было дешевле отдавать их за бесценок, чем кормить и одевать.

Два раза Мустафу-Истому, разряженного, как на показ татарских мод, выводили на торг и ставили на подиум за обувными рядами, где он демонстрировал свою мускулатуру и строил глазки богатым катуням, и два раза он возвращался домой с позором из-за чрезмерной цены, заломленной хозяином, так что это даже задевало его мужское самолюбие.

На него приходили поглазеть какие-то гибкие длинноволосые юноши с подкрашенными глазами, но никто из них, кажется, не собирался выкладывать за красивого русского «гуляма» солидную сумму, и их подозрительное внимание только раздражало Мустафу-Истому.

«Скоро явится Рувим. Он ждет, когда перекупщики собьют цены и ясырь подешевеет», — утешал его голос.

На третий день Рувим-ага на носилках под балдахином, разряженный в «золотный халат» и усыпанный драгоценностями, как падишах, явился на рынок к самому открытию.

С дрогнувшим сердцем Мустафа-Истома заметил приятеля чуть не за версту и с волнением следил за тем, как тот важно плывет над головами покупателей вдоль торговых рядов, подолгу останавливаясь перед каждым прилавком и прицениваясь к каждому товару, от венецианского зеркальца до ахалтекинского жеребца. Казалось, что эта попытка будет продолжаться бесконечно, и какой-нибудь старый турок купит русского красавца для своих утех раньше, чем Рувим-ага завершит исследование рынка на сегодняшний день.

Мустафа-Истома много раз представлял себе момент встречи и обдумывал, как поведет себя со старым приятелем. Броситься ему на шею? Поцеловать для смеха руку? Отвернуться и прикрыться халатом при его приближении, а затем неожиданно раскрыть лицо? Или, напротив, поздороваться так непринужденно, словно они только вчера расстались в притоне с танцовщицами?

Он не нашел ничего лучшего, как подмигнуть и помахать Рувиму рукой, когда тот остановился перед помостом, где кроме него, стояла еще совершенно голая пятнадцатилетняя девка и ее десятилетний брат. Рувим-ага ответил таким взглядом, словно видел этого раба впервые и весьма изумлен его диким поведением.

— Почему этот человек кривляется? Он не в себе? — обратился Рувим-ага к работорговцу.

— О нет, почтеннейший! Это весьма проворный и сообразительный юноша! Он даже умеет говорить татарским языком и знает арабский алфавит. В его глаз, должно быть, залетела мошка, и он скривился, — горячо возразил торговец, не забыв наградить свой товар подзатыльником.

— Говорить и писать мы сами умеем. А припадочных у нас своих хватает, — пошутил Рувим-ага, бесплатно ошупал девку и дал знак веером удаляться.

— Ради Аллаха, Рувим-ага, разве ты меня не узнаешь! — воскликнул Мустафа-Истома в отчаянии.

Рувим игнорировал его так натурально, что ему пришло в голову: может, это вовсе и не Рувим, а его двойник, или брат-близнец, или какой-нибудь другой богач, которые все похожи друг на друга, как родные. Действительно, этот Рувим казался толще, важнее, спокойнее его приятеля, который вечно суетился, болтал и сыпал прибаутками. И этот скорее походил не на еврея, а на турка.

— Ради Аллаха, сними с торгов этого безумного раба, если не хочешь неприятностей, — обратился к работорговцу Рувим, или тот, кого Мустафа-Истома принял за Рувима. — У меня был слуга, который говорил всем, что он племянник падишаха, а потом обесчестил козу и откусил нос кухарке.

Конкуренты работорговца, наблюдавшие за этой комической сценой, угодливо рассмеялись шутке остроумного вельможи, если это была шутка.

Рувим уплыл, как корабль над волнами человеческих голов, и после этого соседние торговцы многозначительно вертели пальцем у виска, когда кто-нибудь подходил прицениться к сумасшедшему русскому, и покупатели отшатывались.

Торги подходили к концу, купцы паковали товары в мешки и разбирали свои полосатые навесы. Рабыни снимали украшения и переодевались в домашнюю одежду. К этому времени владелец Мустафы-Истомы, суеверный, как все торгоши, готов был даром отдать этого безумца любому, да еще доплатить из своих, лишь бы он не приносил ему неудачу. И тут нашелся покупатель.

Простой русский малый Мустафа-Истома ни разу не видел таких странных существ, он даже не был уверен, к какому полу ОНО принадлежало: было ли оно чрезвычайно толстой мужиковатой бабой или ожиревшим женоподобным мужиком.

Просторная восточная одежда мужчин и женщин, все эти шаровары, халаты и накидки выглядят примерно одинаково для обоих полов, и те и другие любят осыпать себя украшениями, обмахиваться веерами и прикрываться зонтами. Что касается фигуры, то зад этого существа был чуть не вдвое шире плеч, растительность на открытом лице отсутствовала, голос был писклявый, но повадки властные и самоуверенные, скорее мужские. К тому же и работорговец обращался с ним угодливо, как с важным господином, а не как с дамой, хотя бы и богатой.

Не обращая ни малейшего внимания на юную обнаженную рабыню, стоящую рядом и прикрытую лишь одной шелковой накидкой, этот странный человек осмотрел и ощупал русского юношу от ушей до пальцев ног, осыпая его комплиментами и цветистыми эпитетами.

— Ах, эти ресницы пугливой горной лани, ах, эти стрелки удивленных бровей! — восклицал он, расширяя пальцами глаза раба и заглядывая через них, кажется, в самый мозг. — Ах, это серебряное тело и кожа, мягкая, как мочка уха! Наверное, отец этого возлюбленного гуляма был беєм или визирем своей страны!

— О да, его отец — могущественный бей великого города Новгорода! — поспешил солгать работорговец.

— Умеет ли он петь и играть на музыкальных инструментах?

— Клянусь бородой пророка, он умеет петь, играть на гусях и плясать, как распаленный страус!

— Это хорошо. Но умеет ли он играть в тавлеи? Перед сном я люблю поиграть в тавлеи и послушать пение сладкоголосых юношей.

— Умеет. Он лучший мастер игры в тавлеи обоих Новгородов — верхнего и нижнего, — отвечал работорговец, впервые услышавший слово «тавлеи» и предполагавший, что это нечто вроде набивного кожаного мяча.

Торг был недолгим и скорее символическим. Продавец видел, что странный господин воспламенился и ухватился за юного раба с какой-то целью, выходящей за рамки коммерции. Покупатель же догадывался, что хозяину не терпится отделаться от Мустафы-Истомы как от залежалого товара. Они поторговались лишь постольку, поскольку этого требовали восточные приличия. ОНО отсчитало деньги из толстого поясного кошелька, усыпанного жемчугом и формой напоминающего своего владельца. Торговец выдал сдачу и поблагодарил внуха за покупку. На бывшего казака надели ошейник с шипами наподобие собачьего «строгача», новый хозяин потрепал его по щеке и дернул за поводок.

Купившее Мустафу-Истому существо взгромоздилось на мула и повело покупку слева от себя на длинной посеребренной цепочке с таким гордым видом, как водят чрезвычайно красивую и дорогую собаку редкой породы. Люди расступались перед этой живописной парой, посмеиваясь и перешептываясь с загадочным видом. Некий женственный продавец галантерейного товара для дам, сам напоминающий напомаженного андрогина, изобразил

пальцами правой руки ножницы и защебил ими оттопыренный палец левой руки: «чик-чик».

«О, Господи, да что ж это делается!» — подумал Мустафа-Истома с тоской, которая стиснула его сердце даже сильнее, чем в тот день, когда он ожидал пытки огнем перед шатром Дивей-мурзы.

«Да переделают тебя в бабу, всего и делов», — охотно пояснил ему тот самый голос, который так старательно подталкивал его к самым дерзким поступкам и уверял в безнаказанности.

Они довольно долго шли мощеными извилистыми улочками, круто идущими вверх. Местные жители, которые занимались делами или отдыхали в тени перед своими домами, не обращали на это привычное зрелище ни малейшего внимания. Чем дальше от рынка, тем реже встречались им прохожие, так что сильному и ловкому Мустафе-Истоме, казалось, ничего не стоило вырваться из рук своего хозяина, сбросить его наземь и ускакать прочь на его муле, а то и просто убежать среди заросших кустами закоулков.

Но, однако, Мустафа-Истома не думал бежать, словно и сам проникся своим статусом живой вещи, которая по праву принадлежит тому, кто за нее заплатил.

Выйдя из городских ворот, они еще долго шли между каменистых холмов, покрытых редким лесом, пока не увидели красивую усадьбу. Это был белый дом под рубиново-красной черепичной крышей среди тенистого сада, напоминающий мавританский замок, весь в расписных башенках и балкончиках. Именно так Мустафа-Истома представлял себе свой дом, который он купит после возвращения из похода. Он только не мог себе представить, каково живется в таких хоромах рабу под властью безумного извращенца.

Первым делом Мустафу-Истому отвели в мыльню, где его положили на нагретые мраморные плиты, терли, щипали и шлепали двое сильных юношей, что было страшно и даже немного больно, но довольно приятно, так что по конец этой процедуры у казака даже промелькнула предательская мысль: «Коли уж надругаются, так скорее бы».

Однако слуги не нанесли никакого вреда мужскому достоинству невольника. Они лишь окатили его прохладной водой и, растянув на стороны в виде звезды, привязали ремнями за руки и ноги к железным кольцам на углах мраморной плиты.

«Хорошо, что животом навверх», — подумал Мустафа-Истома, начиная дрожать от холода и страха.

Слуги неслышно удалились. Дверь в мыльню распахнулась, и вошел голый человек в одном кожаном фартуке, с лицом, замотанным черной косынкой до самых глаз. В руках незнакомца были огромные ножницы для стрижки овец, которыми он лязгал в воздухе, как бы проверяя их остроту.

— Салям алейкум, дорогой! — сказал человек в фартуке с каким-то знакомым мягким акцентом и взгромоздился на растянутые ноги Мустафы-Истомы всей своей тяжестью.

И тут с отважным казаком случилось то, что, по свидетельствам очевидцев, иногда бывает с новобранцами под первым обстрелом: из него побежала предательская струйка горячей жидкости.

— Во имя Аллаха, Мустафа, разве ты меня не узнал?

Человек сдернул с лица повязку, оказавшись Рувим-агой, и стал развязывать руки и ноги впечатлительного приятеля.

После того как Мустафа-Истома опомнился и переделся во все свежее, Рувим объяснил ему свое странное поведение. Он, подобно своему другу, загодя мечтал о встрече и придумал этот розыгрыш с мнимым оскотлением, хотя и не предполагал, что его фривольная шутка так подействует.

— Ты еще будешь мне благодарен за этот урок, Мустафа-джан, — поучал он друга, который все еще продолжал вздрагивать и всхлипывать. — Пойми, что в наше время нельзя так жить, словно весь мир сосредоточен на кончике твоего уда. Мир изменчив, и ты меняйся, хотя бы пришлось поменять и веру, и страну, и пол. Бери бесплатный пример с меня.

Рувим рассказывал о том, что происходило после неудачной попытки взятия Епифани. Дивей-мурза приказал привести русского толмача, который уверял его, что крепость защищает горстка инвалидов со сломанными луками. Мустафа исчез, и полководец, натурально, решил, что русский ренегат оказался агентом царя, заманившим татар под шквальный огонь артиллерии и переметнувшимся к своим.

Началось расследование, недоброжелатели вспомнили, что покровителем Мустафы был Рувим-ага, который, возможно, находился с ним в сговоре. Рувима допросили, ему даже пришлось перенести пытку, которую, к счастью, проводил тот самый прикормленный палач, что фактически находился у него на жалованье.

— Пришлось мне признаться, что ты по ночам молился пророку Исе и передавал записочки в крепость во время переговоров. А ты бы как поступил на моем месте? — воскликнул Рувим.

«Еще не так», — подумал Мустафа-Истома, но оставил свою мысль при себе.

Оказывается, Рувим был в курсе перемещений приятеля еще с тех пор, когда тот попал в пересыльный лагерь. Но он не выходил с ним на связь, чтобы себя не скомпрометировать, и терпеливо выжидал момента, когда пленника можно будет перекупить через подставное лицо.

— Это лицо — оно баба аль мужик? — для чего-то уточнил Мустафа-Истома.

— Мужик, скопец Аристовул, да тебе-то на что?

— Любопытно. У нас на Епифани таких нету.

Рувим-ага наполнил кубок приятеля вином.

— Если попадешь в руки Дивей-мурзы, то тебе конец, и мне вместе с тобой. Поэтому я решил тебя спрятать.

— Куда? — заинтересовался Мустафа-Истома.

— Ну, самым безопасным местом, где тебя точно не найдут до самого страшного суда, будет каторга. Я мог бы тебя устроить гробцом на ту самую галеру, где служит твой друг по имени Ермолай. То-то будет встреча!

Мустафа-Истома поперхнулся вином и так долго кашлял, что чуть не нарушил все планы Рувима своей преждевременной кончиной.

— Шучу. Ты совсем не понимаешь шуток, — попенял Рувим, наколачивая друга ладонью по спине. — Я отведу тебя в такое место, где тебя никто не посмеет искать. К тому же твой новый хозяин — заклятый враг Дивей-мурзы, и он никогда тебя не выдаст.

— Перепродал? — догадался Мустафа-Истома.

— Подарил, — сказал Рувим. — Ну, вытри за собою лужу и собирайся.

В темноте, укутавшись плащами, Рувим и Мустафа-Истома пошли куда-то извилистыми тропками, петляя и словно замечая следы. Наконец они остановились перед медными воротами замка, который мог принадлежать если не самому хану, то одному из его родственников.

Рувим постучал в смотровое окошко условным стуком, калитка в воротах раскрылась, и воин с круглым щитом и косматым копьём повел Рувима и Мустафу по благоухающим аллеям, полным шорохов и птичьего свиста, мимо журчащих фонтанов и водометов, осыпающих брызгами кроны деревьев.

Они поднялись по мраморной лестнице, устеленной персидскими коврами «цвета хамелеона», в ярко освещенный зал. Здесь спиною к ним среди подушек сидел седоволосый человек в шелковом зеленом халате, погруженный в чтение.

«Неужто сам Дивей-мурза? Выдал меня Рувимка», — мелькнуло у Мустафы-Истомы.

Человек отложил книгу, обернулся и потер пальцами горбинку носа. Это был не Дивей-мурза, но тоже очень важный господин с седой бородкой и узким благородным лицом. Рувим-ага дернул Мустафу-Истому сзади за одежду, опуская его на колени, и сам стал на колени рядом.

— Ты убил моего сына? — спросил седой господин таким спокойным голосом, который прозвучал страшнее, чем выстрел.

— Нет, клянусь Аллахом, я даже не знаю, кто твой сын, о почтеннейший, — пробормотал Мустафа-Истома.

— Моего сына зовут Хафиз бин-Ибрагим Темирташ-бей, — сказал старик. — Мне сообщили, что ты встречался с ним последним в крепости Эпифан.

— Клянусь Аллахом, что видел твоего сына в полном здравии, — воскликнул Мустафа-Истома.

— Тебе же лучше, если ты говоришь правду, — сказал Ибрагим-бей. Его лицо жалко сморщилось, и он поспешно отвернулся.

В то время когда Турция готовилась к генеральному морскому сражению со Священным союзом, Русь восстанавливалась от одной татарской войны перед следующей. Москва, после пожара как бы превращенная в сплошное угольное поле, с волшебной скоростью покрывалась свежими усадьбами, укреплениями и избами, которые привозили сюда готовыми в виде пронумерованных бревен и собирали, как конструкторы.

Казалось, что почти всех москвичей тогда сожгли, а оставшихся увели в плен, но люди выползали из каких-то укромных мест и возвращались на свои пепелища, так что город быстро заселялся, и на торгах снова закипела жизнь. Казалось, что все русское войско перебили и разогнали, но оно собиралось с поразительной быстротой, как вода собирается в канаве во время дождя, сколько ее ни вычерпывай.

Правительственные учреждения еще не вернулись в разоренную столицу, и местом формирования нового войска стала Тула — главная крепость южной России, еще ни разу не видевшая такого наплыва воинских людей всех родов оружия и племен, торговцев, ремесленников, разного рода «деловых людей», авантюристов и проходимцев.

В Туле проходило верстание воинских людей — запись на службу новобранцев-новичков, смотр «конности, людности и оруженности» армии, распределение жалованья и земельных наделов, которые были главной государственной валютой, а также решение бесчисленных кадровых, финансовых и хозяйственных вопросов, неизбежных перед большой военной кампанией.

В Тулу отправился казачий голова Лихарев во главе эпифанского отряда, оставив для охраны крепости небольшой гарнизон «худоконных» казаков, несколько затинщиков и воротников. Среди новичков, которых надлежало официально прибрать на службу с соответствующим жалованьем, значился и казак Федор Ибрагимов сын Ордынский, снаряженный за счет своей го-спожи Софы, статус которой оставался неопределенным до возвращения из полона Ермолки или несомненного известия об его гибели.

Федор-Хафиз ломал себе голову над тем, какие последствия имел для него пир, вручение государевой награды и его отказ от крещения в обмен на карьеру и семейное благополучие. Помнил ли Лихарев о своих пьяных посулах и о той ярости, которую вызвало у него необъяснимое упрямство неблагодарного татарчонка? А может, его отбитая голова давно вычеркнула из памяти весь этот бурный праздник, с которого его унесли домой на руках?

Во всяком случае по пути в Тулу казачий голова ни разу не повторял своих заманчивых предложений и не предлагал принять христианство, как бы подчеркивая всем своим поведением, что у нас это дело строго добровольное, но и все его преимущества также проистекают из свободного выбора. Такая постановка вопроса, даже в ущерб личной выгоде, вполне бы устроила Федора-Хафиза, но интуиция ему подсказывала, что так просто подобные дела не кончаются. Его начальник сменил милость на гнев, и рано или поздно это будет иметь нехорошие последствия.

Лихарев стал холоден к Федору-Хафизу. Он не заговаривал с ним, не подшучивал и не спрашивал его совета, как прежде. Самое досадное, что он

не обращался к нему даже в тех случаях, когда ему требовался перевод, и, несмотря на все неудобства, предпочитал для этого пользоваться услугами подьячего, знавшего полсотни татарских слов, но путавшего и коверкавшего их с изумительной самоуверенностью.

— Не кручинься, Федя, — утешал его Лева Лихарев, вовсе не разделяющий причуд своего отца. — Ты себя повел совестно, как прямой человек. И я бы не поддался, кабы татарове нудили меня отказаться от Христовой веры и поклониться Мегмету за тридцать сребреников. Кто своего бога продаст, тот и чужому служить не станет.

Лёва уверял старшего друга, что отец ведет себя точно так же и по отношению к нему, когда он перечит ему и не выполняет его волю в точности. Раньше он его бивал, после поступления на службу не трогает, но неделями дуется, ходит тучей и терзает своими придирами мать, словно это она виновата.

— Бывало, ужо и сам не рад, что наложил на себя такую епитимью, да уступить не может. Нравный!

Так, не торопясь, за душевными дорожными разговорами и долгими дневками епифанские казаки и стрельцы добрались до засечной Черты, миновали несколько опускных колод, ворота подъемные, ворота раздвижные и через проездную башню пересекли это хитроумное сооружение, стоявшее жизни дяде Ахмаду и множеству татарских всадников.

За Чертой кончалось Поле и начиналась Русь, внутренние уезды, которые представлялись степнякам чем-то вроде угодий для охоты на людей, и в которые они так стремились прорваться любой ценой. Селения встречались чаще, по сторонам дороги раскинулись обработанные поля, и крестьяне не разбегались во все стороны, как дикие звери, а лишь ненадолго прерывали свой труд и провожали всадников взглядами из-под козырьков ладоней.

Федор-Хафиз впервые наблюдал вблизи уклад жизни русских людей, если не считать Епифани, которая еще оставалась чисто военным городком, почти без гражданских людей и женщин. Все ему было в диковину: вольное поведение девок, которые ходили с открытыми лицами, нисколько не робели при появлении незнакомых мужчин, отвечали дерзко и строили глазки красивому молодому всаднику, неторопливые и важные повадки русских мужиков, их мощные фигуры, хмурый вид и просторные одежды, напоминающие греческие туники, коровы, лошади и козы, которые свободно гуляли в полях, и особенно многочисленные храмы, раскиданные буквально по каждому холму и как бы сопровождающие их волнующим колокольным звоном.

— Далеко ли Тула? — спросил Федор-Хафиз Лёву после того, как они перевалили очередной холм и за ним не увидели ничего, кроме все тех же полей и лесов.

— Да вот же она, матушка! — отвечал Лева, издавая горловой татарский клич и пуская коня в галоп.

Выглянуло солнце, словно режиссер включил освещение в своем театре, и перед Федором-Хафизом в долине вспыхнули купола тульского кремля.

Федор-Хафиз сразу не заметил тульского града из-за того, что эта крепость находилась не на неприступной скале или крутом берегу, как все те крепости, которые ему приходилось видеть, а на противоположной стороне обширной низины, так что подход к ней с крымской стороны был свободен. Однако, приглядевшись, можно было понять, что этот единственный прямой путь из Крыма в Москву перекрыт такой мощной преградой, которой не страшны не только татарские стрелы, но и турецкие ядра, и обойти ее невозможно.

К удивлению Федора-Хафиза, тульский град имел почти такой же вид, как крепости, возведенные в Крыму итальянцами. Но генуэзские крепости и деревянные города русских украин обычно имели сложную форму, приспособленную под рельеф, где скалы, пропасти и реки служили дополнительным и наилучшим препятствием для противника. Эта же крепость, построенная,

в отличие от серых гёнуэзских замков, из красного кирпича на белокаменном основании, имела форму правильного прямоугольника, словно главной целью неизвестного градодельца была не безопасность, а красота.

Архитектор словно говорил будущему врагу, осаждающему эту твердыню: «Мне не нужны никакие природные препоны, а достаточно одного геометрического расчета. Я начертал сей град по линейке и возвел его своим архитектурным искусством, а ты пойд и возьми его».

Последнее было непросто. Поскольку чем ближе надвигалась тульская крепость, тем выше возносились над морем зелени и корою городских крыш ее зубцы в виде ласточкина хвоста, и тем подробнее раскрывались перед Федором-Хафизом все хитрости ее создателей: глубокий ров шириной с целую реку, бойницы верхнего боя для стрельбы с дальней дистанции и подошвенный бой — щели для огня из-под самых ног по тем, кто перелезет ров, бойницы для перекрестного огня с выступающих башен и машикули — проемы для того, чтобы бросать камни и лить смолу отвесно на головы наиболее притких бойцов, забравшихся под самую башню.

Обойти это невиданное чудо фортификации было невозможно. Слева его обвивала река, а справа до самых засечных лесов уходили вдаль бревенчатые стены деревянного острога и крутой земляной вал.

Все это Федор-Хафиз разглядит и разузнает после смотра, когда у воинских людей появится достаточно времени для отдыха и прогулок. Но и с первого взгляда на Тулу этот город, как бы состоявший из множества Епифаней, разбросанных вокруг крепости, показался ему едва ли не самым большим городом в мире. И он вдруг осознал, что захватить эту муравьиную страну окончательно просто невозможно, сколько ни отщипывай от нее по краям. Если же какому-то великому полководцу рано или поздно это все-таки удастся, ему все равно придется убраться, чтобы эта земля не поглотила и не отрыгнула его прочь.

Смотр не включал в себя никакой шагистики, парада или военных маневров, как в современных армиях. Все воины Украинного разряда, то есть пограничного корпуса русской армии, должны были просто показаться в полном снаряжении перед московской комиссией во главе с «нарочитым» полководцем и создателем русской пограничной службы князем Воротыньским.

Пресловутая «конность, людность и оружность» воинов проверялась и заносилась в особые книги вместе с соответствующим жалованьем. Последнее зависело от происхождения служилого человека, его стажа, заслуг, вооружения, количества боевых слуг и лошадей. Владение оружием, верховой ездой, рукопашным боем и иными воинскими искусствами никто не проверял. Очевидно, считалось, что воин и сам всему научится от старших родственников и товарищей, если захочет жить.

Во время смотра, когда Федор-Хафиз в полном вооружении — при «пансыре», саадаке и сабле — поставил коня на дыбы, а затем спешился, перебросившись через конскую шею перед столом, за которым сидел воевода Воротыньский с московскими боярами и дьяками, воинственный князь не выдержал, выбежал из-за стола и стал похлопывать бравого юношу по плечам и груди, как породистого жеребца.

— Татарин? — справился князь Воротыньский, хотя к этому времени Федор-Хафиз уже был одет на русский лад, да и форма лица у него была вполне европейская.

— Наполовину, — отвечал Федор-Хафиз, впервые преуменьшая свою принадлежность к татарскому племени.

— И на добрую половину, татарове — лихие ездецы, — одобрительно заметил князь.

Воротыньский справился, за что Федор Ордынский получил золотую награду, пришитую к его рукаву, и Лихарев, представляющий своих людей, сухо доложил о заслугах этого казака при отбитии татарского нападения на

крепость. Однако он и словом не обмолвился о своем намерении назначить Федора-Хафиза головой казачьей сотни вместо Ермолки и тем более о том, чтобы передать этому новоприбранному казаку Ермолкин надел.

Федор-Хафиз получил обычный участок земли, какой полагался Лёве Лихареву и другим новикам, и этот участок был довольно большой, насколько он разбирался в русских мерах площади, да к тому же ему под расписку выдали увесистый мешочек с серебряными монетами на обзаведение зерном, скотом и прочим добром, необходимым для ведения хозяйства.

Перед возвращением домой оставалось посетить знаменитый тульский торг и закупить там все необходимое по списку, составленному для него домовитой Софьей. Это самое необходимое было почти все, что не могло вырасти само собой из земли или быть получено от животных, поскольку какая бы то ни было промышленность или коммерция в городе Епифани пока отсутствовала.

Если сам город, как бы раздувшийся в десять раз из-за наплыва военных со всей южной Руси, его мощные крепостные сооружения, прекрасные храмы, деревянные мостовые, сады и усадьбы произвели на Федора-Хафиза сильное впечатление, то тульский торг вряд ли мог его чем-то удивить после рынков Кафы и других черноморских портов.

Европейский негодья был бы поражен горами зерна, готового хлеба всевозможных сортов, обилием скота, рыбы, меда, леса и прочих продуктов природы, которых здесь было в избытке, по ценам, значительно уступающим западным, но бесчисленные возы с мешками и бревнами не могли произвести впечатления на восточного романтика.

С севера и северо-востока до тульского рынка доходило и главное сокровище Руси — «мягкая рухлядь», то есть шкурки белок, соболей, бобров и прочего «красного зверя». Сверкающие, рассыпчатые, пышные меха были восхитительны, особенно соединенные в воображении с атласной кожей Софьи, но об этой драгоценности, редкой даже в доме его богатого отца, и думать было нечего обычному служилому человеку.

В Тулу привозили и английское сукно, и персидские ткани, и фламандские кружева, и все это было также не по карману. Лошадей было более чем достаточно, но это были в основном низенькие ногайские «бахматы» и кряжистые рабочие кони, которые не произвели на Федора-Хафиза большого впечатления.

Скопление военных с карманами, набитыми казенным серебром, предполагало бойкую торговлю оружием: кольчугами, пластинчатыми доспехами разных типов, всевозможными видами клинков, топориков, копий, самопалов и даже пистолетами импортного производства. Ни один порядочный мальчик, юноша и мужчина не остался бы равнодушным к такому изобилию оружия, которым Тула отличалась уже и тогда, глаза Федора-Хафиза загорелись, но хорошее оружие, как и все металлическое, было страшно дорого, а Федор-Хафиз был и так неплохо экипирован Софьей из личного арсенала ее мужа.

Словом, вместо собольей шапки Федору-Хафизу пришлось купить мешок гвоздей, вместо шелковой сорочки — соли, а вместо позолоченного шлема с личиной — бочонок меда. Обойдя раз десять вдоль и поперек весь этот толкучий человеческий рой и уморившись до упаду, Федор-Хафиз приобрел почти все из того пространного списка, который сам же давеча писал под диктовку Софьи, и все же заветный мешочек с серебром все еще оставался довольно увесистым — так много можно было купить у русских на одну серебряную денгу.

Главным же его приобретением было витое серебряное колечко с бирюзой, выбранное по мерке любимого пальчика в залог вечной любви. Федор-Хафиз спрятал его отдельно от покупок, за отворот своей шапки.

До отправки домой Федор-Хафиз снес свои покупки в воинский лагерь и мог себе позволить небольшое пиршество в харчевне.

В Епифани тоже был свой кабак, или кружечная, — темная полуземлянка одного богатого стрельца, продающего кружками мед и пиво по тем дням, когда это дозволялось сложным русским календарем, как бы сплошь состоявшим из постов и дней, когда что-нибудь нельзя. Но епифанский кабак был настолько же меньше тульского, насколько сама Епифань меньше Тулы.

В просторном амбаре, напоминающем корабль, ряды столов были расставлены, как лавки на галере, а в проходе между столами вместо надсмотрщиков сновали молодцы в красных рубахах до колен, которых бы сегодня назвали официантами.

На заднем дворике за кабаком пылало несколько печей, на которых непрерывно варилась, жарилась, шипела и стреляла жиром еда. Слуги приносили полные блюда и кувшины, уносили пустые, собирали заказы, вели расчет, убирали объедки с загаженных столов и умудрялись поддерживать порядок среди пьяных солдафонов, которые, чуть что, трясли друг друга за грудки, размахивали кулаками и хватались за сабли.

Кого здесь только не было! Стрельцы в красных, васильковых, зеленых и желтых кафтанах пировали отдельными компаниями, «по полком», казаки, купцы и разного рода «деловые люди» рассаживались как попало, самый светлый и покойный угол занимали кавалеристы — дворяне и дети боярские, сюда же, за почетные столы, присаживались и воинские начальники всех родов войск. А на отшибе устроились иноземцы, которые, по их относительной малочисленности, не делились по национальностям, а держались сообщами: «литва», к которой относились и современные белорусы с украинцами, какие-то чернявые южане наподобие греков, сербов или молдаван и даже немцы в бархатных беретах, тесных колетах, гофрированных воротниках и длинных чулках, придающих им вид цапли.

Был здесь и стол служилых татар, которые ели много, но не пили хмельного и потому смотрели с некоторым презрением на своих горластых, необузданных соседей, но Федор-Хафиз, как ни хотелось ему поговорить на родном языке, не стал подсаживаться к землякам, предвидя неприятные расспросы насчет того, из какого он рода, как попал на русскую службу и какое жалованье положил ему за это белый царь.

Осмотревшись, Федор-Хафиз пристроился в сторонке от буйных рязанских дворян, которые уже третий раз наполняли свои кувшины и теперь жадно искали хоть кого-нибудь, кто не разделял бы их взглядов на международную обстановку, между солидным купцом и одноруким пушкарем с медным львом на груди.

— Поднесут, ай самому просити? — справился Федор-Хафиз у купца, и, пока купец, судя по работе его бровей и бороды, подыскивал верный ответ, пушкарь повернул:

— Поднесут, да не вдрут.

Действительно, безбородый Федор-Хафиз, очевидно, не производил впечатление клиента, из-за которого стоит сбиваться с ног, так что купцу успели сменить уже три блюда, пока готовилась его баранина.

— Пити чего изволишь? — справился слуга, принося блюдо с дымящимся мясом, овощами и краюхой хлеба.

— Пожалуй, квасу, — отвечал Федор-Хафиз, который еще не привык к вину ни по возрасту, ни по воспитанию и до сих пор испытывал тошноту от его пряного запаха.

— Будет тебе квас, — отвечал слуга с едва скрываемым презрением к этому юнцу, в котором он признал непьющего, а потому и не сулящего большой выгоды татарина.

— Зачем квас, когда я имею мальвазия! — раздался бодрый голос высокого белобрысого господина без бороды, в фиолетовом бархатном кафтане с собольим воротником и бесчисленными жемчужными пуговицами на золоченых шнурах-бранденбургах.

Господин в фиолетовом попросил разрешения присесть напротив Федора-Хафиза. Слугу как ветром сдуло, и через минуту их стол ломился от таких яств, которые, наверное, не каждый день перепадали самому царю Иоанну Васильевичу.

— Позволь представиться, — сказал фиолетовый, наполняя кубки рубиновым вином себе и Федору-Хафизу (но не пушкарю и не купцу). — Мое имя Андрей Володимирович. Я германский выходец из города Мюнстера и рыцарь на службе великого князя Ивана Васильевича. На твоём рукаве я вижу знак нарочитой доблести и полагаю, что передо мною также рыцарь. Не сообразишь ли ты сообщить мне, как тебя зовут, какого ты рода и племени?

— Федор Ибрагимов сын Ордынский, — отвечал Федор-Хафиз. — Мое татарское имя Хафиз, а мой отец — славный Ибрагим Темирташ-бей из рода Ширин.

— О, я тотчас узнал в тебе иноземца и человека благородного, вовсе не похожего на этих кровожадных дикарей, с которыми я вынужден жить уже более десяти лет! — воскликнул Андрей Володимирович, покосился на пьяньёного пушкаря, прикорнувшего на своей единственной руке, а затем схватил инвалида за шиворот и с неожиданной ловкостью сбросил его из-за стола на земляной пол, посыпанный опилками.

— Отчего же ты живешь среди этих дикарей, коли они тебе не по нраву? — справился Федор-Хафиз, смакуя вино Андрея Володимировича, вовсе не похожее на ту мутную бурду, которую подавали казакам и стрельцам.

— Выгоды ради, — признался Андрей Володимирович, весело глядя на Федора-Хафиза своими стеклянными немецкими глазами. — В этой гнусной стране иноземец может за год сделать такое состояние, какого не наживет дома и за двадцать лет. Надобно только иметь ловкость, расчет и железную волю, чтобы не пропасть.

История Андрея Володимировича

Вопреки расхожему мнению о немцах, Андрей Володимирович оказался развязным человеком и сам принялся рассказывать о себе, вдаваясь при этом в такие подробности, которые, казалось бы, лучше было не раскрывать перед незнакомым человеком в такой опасной стране.

Был ли он чересчур бессовестным, наивным и болтливым для того, чтобы скрывать свои похождения? А может, он просто не считал свои поступки по отношению к этим варварам предосудительными и подлежащими строгой моральной оценке, как если бы речь шла о неких человекоподобных существах, которым неизвестны правила человеческого общества, и на которых они, следовательно, не распространяются?

— По моему отчеству ты видишь, что я имею у этих нехристей достоинство благородного человека — что-то вроде рыцаря или барона, — рассказывал Андрей Володимирович, обводя руками свой роскошный костюм, как бы подтверждающий его знатность. — Но отец мой был простой бюргер, ремесленник, тачающий сапоги, и мог лишь мечтать, чтобы я выучился грамоте и стал пастором, как мой брат. Мое настоящее имя Хайнрих, а имя моего отца — Вальтер. Таким образом, ваш великий князь не нашел ничего лучшего, как присвоить мне имя Андрея Володимировича, вместо того чтобы выговаривать «Хайнрих Вальтерович».

— Мое имя тоже коверкают, как могут. Меня бы следовало называть... — с досадой заметил Федор-Хафиз и подумал: «Отчего он так упорно называет царя «великим князем», словно не знает его титула?»

Андрей Володимирович перебил его на половине фразы. Он был, очевидно, не из тех людей, которые умеют слушать.

— Ежели бы мой бедный отец увидел меня сейчас, в бархате и соболях, обедающего на серебре, он бы, наверное, проглотил от удивления свою ста-

рую шляпу. Поскольку Вальтер Штунден был самый набожный человек во всей Вестфалии, и он говаривал, что его младший сын закончит жизнь на виселице.

Моя мать умерла от чумы, и отец, собрав последние гроши, отдал меня в учение. Я кое-что успел постигнуть из риторики, грамматики и латыни, но учение мое было прервано. За обедом один дурной мальчишка, сын стекольщика, стал, по обыкновению, донимать меня, мучить и дразнить. Я же, предвидя это, заранее припас отцовское шило и, доставши из кармана шило, сильно ткнул этого бездельника в лицо, а затем убежал в лес.

Пробравшись вечером домой, я узнал, что меня ищут, чтобы отправить в тюрьму. Итак, собрав необходимые вещи и отдав мне своего единственного осла, отец отправил меня в Ливонию, к моему старшему брату.

Ливония тем временем готовилась к вторжению москвитов, и не успел я найти брата, как меня схватили на дороге и погнали с другими бродягами копать ров и насыпать вал перед крепостью. С утра до вечера я таскал тяжелую тачку с землей, однако нет такого положения, из которого не выйдет человек, имеющий сильную волю и гибкий ум.

Работникам выдавали расчет марками магистрата, которые можно было поменять на деньги или товары в лавке. Таковой платы едва хватало на поддержание жизни и приобретение самого необходимого, но все же мне удалось скопить изрядное количество марок, делая некоторые услуги моим товарищам, так что скоро они стали выполнять за меня всю тяжелую работу. Обменяв же накопленные марки на деньги по низкой цене у одного жида, я бежал в Ригу, где благодаря моей расторопности и знанию грамоты нашел место управляющего в замке одной барыни.

— Я тоже находился в услужении... — начал было Федор-Хафиз, но Андрей Володимирович опять его перебил:

— Эта барыня была на двадцать лет старше меня. Скоро я приручил ее так, что она во всем слушала меня, бегала за мною, как собака, а я ходил в шелках и спал на пуховой перине. И быть бы мне бароном, но имение моей госпожи пошло с молотка, новый хозяин прогнал меня, я же устроился управляющим к графу фон Арцту, владельцу шести замков.

Дела мои шли прекрасно, я стал богатым человеком и подумывал о приобретении собственного имения и женитьбе, но в это время мой господин был уличен в связи с русскими. Меня подвергли пытке, я подтвердил, что граф находился в переписке с великим князем, и этого фон Арцта на моих глазах растерзали на площади Риги раскаленными щипцами. Я же, выйдя из тюрьмы, поступил в шайку одного польского молодца, пана Брешко-Брешковского, грабившего соседние русские селения, а иногда и нападавшего на незначительные русские отряды.

Однажды я утаил от Брешко-Брешковского часть общей добычи, полученной от грабежа монастыря, этот негодяй уличил меня в обмане, сильно избил и бросил в тюрьму. Я бы и до сих пор сидел в рижской тюрьме, но по пути в отхожее место я ударил камнем по голове моего тюремщика, переделся в его платье и бежал к русским.

В то время шла война. Всех людей, которые пытались перебежать из Ливонии на Русь или обратно, ловили на границе и вешали. И предсказание моего бедного отца сбылось бы в точности, если бы я попал в руки немецких солдат. Я же ночью переплыл пограничную реку, упал в ноги русским стражникам и умолял их доставить меня в Дерпт, к русскому воеводе. Однако я прошу тебя отвратить русской стерляди — это единственное, что есть хорошего в этой дикой стране.

Принесли еще вина, стерлядь и печеную свинину с овощами. Федор-Хафиз отказался от свинины, но настоял на том, чтобы заплатить из своих за этот круг выпивки. Он достал из-за пазухи мешочек со своим жалованьем и метнул несколько монет слуге, который успел сменить свое презрение на самую трогательную заботливость. И если бы Федор-Хафиз был трезвее и

наблюдательнее, то непременно обратил бы внимание на тот взгляд, каким Андрей Володимирович впился в его деньги. Примерно такими жгучими взглядами подростки разглядывают из кустов обнаженных женщин, прыгающих из бани в пруд.

— Знаешь ли, для чего великий князь так охотно принимает на службу татар и иных иноземцев? — справился Андрей Володимирович, когда Федор-Хафиз убрал деньги за пазуху и лишил его самого увлекательного зрелища в мире. — Немцев он натравливает на русских, русских — на немцев, татар — на русских и немцев, русских и немцев — на татар. И так все эти люди, пребывая во взаимной ненависти, убивают и грабят друг друга к выгоде великого князя.

— В чем же выгода белого царя, ежели все кругом будут разорены и напуганы? — усомнился Федор-Хафиз.

— Ты поймешь это, когда поживешь среди русских людей столько, сколько пожил я.

«Не похож ты на разоренного и напуганного», — подумал Федор-Хафиз, глядя на самодовольное лицо немца, покрывшееся от вина яркими пунцовыми пятнами.

— Русские охотно принимают на службу иноземцев, невзирая на их происхождение и даже на платье, ибо я после побега из тюрьмы был похож на самого гнусного нищего. Русский воевода милостиво расспросил меня, подробно записал все мои ответы и тут же предложил мне, во главе отряда казаков, отправиться в Польшу и изловить мерзавца Брешко-Брешковского.

Опасаясь мести кровожадного поляка, я солгал воеводе, что совсем не знаю польского языка и дурно знаком с местностью в тех краях, а потому и не могу принести москвитам какой-либо пользы. Вместо этого я попросил отправить меня в Москву, к великому князю, которому я помогу моими знаниями иноземного военного строя, наук и языков.

Так и было сделано. Воевода выдал мне кормовые деньги на дорогу и с провожатым отправил меня ямскими в Москву. В Москве мне тотчас выписали кормовую память — бумагу, по коей я каждый день получал деньги и пропитание во дворе, где у них варят мед, а затем в департаменте, называемом Поместным приказом, я получил и поместье из нескольких селений в Старицком уезде. Мне также выдали английское сукно на платье, вот этот кафтан на собольем меху и золотую монету, как у тебя.

Вскоре Старицкий уезд был приписан к опричнине, я вместе с несколькими другими немцами стал государевым опричником и получил еще один двор в Москве.

После этого великий князь с опричниками и множеством возов отправился грабить и разорять свой собственный народ, и я поехал с ним, имея с собой всего одну телегу и одну лошадь. Я вернулся из этого похода, имея сорок девять лошадей, и двадцать две из них были запряжены в повозки, полные награбленного добра.

Однако при дележе общей добычи мне, как чужаку, досталась лишь незначительная часть. Тогда я набрал свою собственную шайку из беглых холопов и иных отпетых негодяев, одел их, вооружил и стал совершать походы в глубь страны, разоряя поместья земских бояр, храмы и монастыри.

Мы ловили прохожих на дорогах и расспрашивали их добром, где находятся богатые поместья и монастыри, в которых можно пожить. Ежели нам не отвечали добром, мы применяли пытку, а затем окружали поместье и начинали потеху.

— Земские это терпели без ропота? — удивился Федор-Хафиз.

— Не всегда, — отвечал Андрей Володимирович. — В одном из северных уездов они истребили отряд из пятисот опричных стрельцов. А однажды я рассеял шайку из трехсот мужиков, вооруженных земским князем. Я застрелил одного из пищали и, прорвавшись сквозь толпу, стал грабить их храм, вынося из него золотое убранство, иконы и другие глупости.

Тут из окна терема, что стоял при храме, в нас полетели камни и горшки. Я ворвался в терем, вбежал с топором по лестнице наверх и увидел княгиню. Княгиня хотела было упасть на колени, но, испугавшись моего страшного вида, бросилась бежать в светлицу. Я же, нагнав княгиню, вонзил топор ей в спину, переступил через ее тело, ворвался в девичью, где сидели ее дочери и служанки, и хорошенько с ними повеселился...

«И этот скот еще кого-то называет варварами?» — подумал Федор-Хафиз, которого начинало тошнить от всего этого. Однако Андрей Володимирович заливался, словно и не замечал отвращения на лице своего собеседника.

— За таковые подвиги великий князь повелел мне именоваться Андреем Володимировичем, — продолжал он. — По-вашему это равносильно мурзе, а по-нашему — графу или маркизу. Я же открыл на своем дворе в Москве питейный дом, купил мельницу, и купил бы еще десяток мельниц, кабы не проклятые татары.

Спохватившись, что перед ним сидит один из этих проклятых татар, Андрей Володимирович глупо ухмыльнулся и потрепал Федора-Хафиза по плечу, как бы показывая, что к нему это не относится.

— Чем же мы тебе не угодили? — спросил Федор-Хафиз, убирая с плеча руку европейца.

— Татары обратили в бегство опричное войско и сожгли Москву. За это великий князь лишил меня всех моих поместий. А теперь я, наравне с другими помещиками, должен выставить людей для строительства укреплений! Того мало, меня принуждают поставлять возы, корм и лошадей для русского войска. О, жестокий, кровожадный тиран!

Дальнейшие события этого дня, который начинался так удачно, всплывали в памяти Федора-Хафиза по частям, постепенно, а их злополучная развязка так и осталась в глубоком мраке, словно некоторое время его тело, лишённое сознания, действовало без его ведома. И дело здесь было, очевидно, не в мальвазии, которой Андрей Володимирович так щедро его угощал, — во всяком случае, не только в ней.

Разбираясь в своих впечатлениях, Федор-Хафиз припоминал, что вино имело какой-то полынный привкус, горящий на нёбе, его начинало подташнивать еще до того, как он опьянел, а затем перед глазами побежали «лягушки» — подвижные пятна в виде каких-то бесцветных крабов. То ли угощение было несвежим, то ли, как уверяли его бывалые люди, ему в вино подсыпали особое зелье, от которого человек полностью теряет память и рассудок и делает все, что ему велено, прежде чем падает без чувств, — об этом он мог только гадать.

В его же памяти, как в дырявой сети, застряли только обрывки каких-то сцен, словно происходивших с посторонним человеком во сне.

Безрукий инвалид, которого Андрей Володимирович так бесцеремонно столкнул со скамьи, уютно, по-собачьи прикорнул под столом, но со временем стал подавать признаки жизни, егозиться и подниматься. Утвердившись на ногах, этот почтенный ветеран попытался вытеснить задом кого-нибудь из людей, сидевших на краях лавки, но это оказалось ему не по силам. Тогда он поступил так, как подсказывали ему рефлексы, полностью заменившие помраченное сознание. Он молча подошел к Андрею Володимировичу со спины, вцепился единственной рукой в его кубок и стал тянуть его ко рту.

Не отпуская кубок правой рукой, Андрей Володимирович ладонью левой толкнул инвалида в подбородок. Но несмотря на то, что этот пьяный человек раскачивался из стороны в сторону подобно одинокому кусту под метелью, он не только удержался на ногах, но и не отцепился от заветной чаши.

Обеими руками Андрей Володимирович пытался вырвать кубок из единственной руки инвалида, но и это оказалось невозможно, несмотря на преимущество возраста и силы молодого немецкого атлета перед скрюченным русским стариком.

Выдергивая одной рукою кубок из крючковатых когтей инвалида и расплескивая при этом половину драгоценной влаги, свободной рукой Андрей Володимирович ударил противника в челюсть. Русский мотнулся под ударом, но не упал, как следовало ожидать, и не отцепился. Впадая в ярость, молодой здоровый немец продолжал бить старого больного русского по голове все сильнее, так что кровь брызгала во все стороны на цветные кафтаны стрельцов из разбитого носа, но, вопреки всем законам физики, не мог ни сбить старичка с ног, ни даже заставить его отцепиться от сосуда, словно какой-то невидимый трос проходил от земли через тело к пальцам этого вероятно цепкого существа.

Отвратительная сцена неравной борьбы наконец привлекла внимание рязанских дворян, сидевших напротив, и эти крепкие хмурые парни обступили нарядного немца для установления справедливости. На рязанцев не производил впечатления ни боярский костюм немца, ни его роскошный стол, вернее сказать, все это, вместе с непривычно голым лицом и нерусским акцентом, производило на них враждебное впечатление.

Дело шло к потасовке, если не к поножовщине, и у Федора-Хафиза не было ни малейшего желания сложить голову за этого проходимца, невероятно наглого, да к тому же кругом неправого. Он также чувствовал непривычную слабость в ногах и головокружение, так что его, в отличие от старого русского пушкаря, можно было свалить одним толчком в грудь.

Андрей Володимирович, конечно, уловил расстановку сил, отбросил весь свой гонор и стал задабривать рязанских дворян самыми униженными извинениями. К счастью для него, этих русских бретеров заботила не столько национальная гордость и солидарность, сколько обычная алчность прокутившихся пьяниц. Все дело кончилось тем, что Андрей Володимирович принес формальные извинения почтенному пушкарю и щедро накрыл стол ему и его заступникам.

После этого инцидента и сам Андрей Володимирович, и сопричастный ему Федор-Хафиз как бы поступили под опеку буйных рязанцев, вновь и вновь наполняющих свои кувшины за счет зарубежных друзей и охраняющих их от нежелательных попрошаек.

А тем временем за столом Андрея Володимировича и Федора-Хафиза появилась дама, что было если и не запрещено, то совершенно невиданно с точки зрения русского застольного этикета.

В течение всего следующего дня с усилием Федор-Хафиз вспоминал, как звали эту подозрительную особу, и вспомнил, что звали ее, кажется, Магдой. Эта Магда была высокая, крепкая девка лет двадцати двух, не красивая, но так ладно сложенная, что все встречные мужики, завидев ее, некоторое время стояли с приоткрытыми ртами и не могли оторвать от нее взгляда. У Магды были желтые волосы, заплетенные в две косы по сторонам головы, бесстыжие прозрачные глаза и бледное лицо, в которое его создатель как бы забыл добавить краситель румянца.

Магда была похожа на Андрея Володимировича, как сестра, но вряд ли даже самый паршивый брат так обращается со своей сестрой.

Поглядывая на Федора-Хафиза, немец и немка о чем-то вполголоса говорили на своем языке. Впечатление было такое, словно Андрей Володимирович инструктирует Магду, а она уточняет свое задание. Андрей Володимирович шутливо погрозил Магде пальцем, она притворно потупила глаза, придав себе таким образом особенно бесстыжий вид, и расправила свой лиф так, что ее крепкие груди едва не выскочили на стол.

— Ее зовут Магда. Я выиграл ее в зернь у одного гофлейта, — сообщил Андрей Володимирович таким тоном, каким рассказывают о новой собаке. — Если ты дашь ей серебряную деньгу, она сделает для тебя все.

«Как это все?» — подумал Федор-Хафиз, еще не вполне освоившийся с такой разновидностью чужой культуры, как русская, а уже столкнувшийся с немецким цинизмом.

— В Ливонии она услужала за деньги рыцарям, а теперь я назначил ее управлять моим хозяйством, — сообщил Андрей Володимирович. — Я могу ссудить ее тебе на время или продать за пять рублей насовсем.

При этих словах Магда уставилась на Федора-Хафиза с идиотической русалочьей полуулыбкой, а Андрей Володимирович продолжил свои откровения, время от времени заглядывая снизу в глаза своего собеседника и словно проверяя его самочувствие.

Он рассказывал о своих похождениях в России, в основном состоявших из нескончаемых интриг и тяжб с купцами, боярами и особенно с другими немцами, состоявшими на русской службе, которые, по словам Андрея Володимировича, только и делали, что пытались его разорить, ограбить, опорочить в глазах «великого князя» и погубить.

Если послушать Андрея Володимировича, то все люди вокруг него были исключительными мерзавцами, ворами и злодеями. В первую очередь это, конечно, относилось к русским нехристям, лживым, продажным и хитрым по самой своей природе, но не лучше русских вели себя по отношению к Андрею Володимировичу и татары, и литовцы, и, разумеется, жиды. Что же касается самых больших неприятностей, которые едва не стоили Андрею Володимировичу большей части его состояния и самое жизни, то они, как ни странно, исходили от его единоверца, ливонского немца по имени Ганс.

Этот неблагодарный пройдоха, которого Андрей Володимирович выкупил из русского плена ради его коммерческих способностей и назначил управляющим своих имений, в один прекрасный день выкрал перстень с его печатью, подделал подпись и получил по доверенности лучших лошадей с барской конюшни. Он продал хозяйских лошадей одному литовскому пану, выгреб из сундука все драгоценности, награбленные Андреем Володимировичем во время опричнины, и бежал на запад.

— На мое счастье в западных уездах тогда свирепствовала чума, — рассказывал Андрей Володимирович. — Этот негодяй умер на постоялом дворе от чумы, и его сожрали собаки. А я по суду получил назад моих лошадей и часть украденного имущества, да еще приписал много сверх того, потому что никто, кроме меня и этой девки, не знал, сколько сокровищ было у меня украдено и сколько найдено в сумке мертвого Ганса.

Несмотря на все свои недостатки, Ганс все-таки был немцем, а следовательно, значительно превосходил деловыми способностями окружающих русских. Андрей Володимирович поручил было управление одному русскому по имени Тешата, но тот его также обокрал, так что с ним пришлось расстаться. Он назначал управляющими и литовца Ольгерда, и татарина Айнура — воровали все.

— Теперь все мое хозяйство держится на одной Магде. Магда честная женщина, хотя и б...

Андрей Володимирович еще раз заглянул в глаза Федора-Хафиза. Федор-Хафиз слышал его слова, как сквозь вату, не улавливая половины этих финансовых хитросплетений, и воспринимал своего собеседника, словно тот стоял на другой стороне широкой реки.

— Мне нужен новый управляющий — совестный и владеющий русской грамотой, но, уповательно, не русский, ибо все русские бесчестны. Итак, я предлагаю тебе поступить ко мне на полное содержание и подписать сию кабальную грамоту.

— Яз на государевой службе, царев человек, — отвечал за Федора-Хафиза какой-то отдаленный голос, который ему не принадлежал. — И у меня на Епифани жена.

— Был государев, станешь мой, — отвечал Андрей Володимирович, хлопывая Федора-Хафиза по плечу. — Жену из Епифани я тебе выпишу. Будешь жить баринком, вести хозяйство и собирать с мужиков оброк. А в довесок получишь эту девку — делай с нею что хочешь, пожалуй, хоть зарежь.

— Добро, — отвечал за Федора-Хафиза чей-то голос, и чья-то рука подписала за него чистый лист бумаги.

После этого Андрей Володимирович и Магда пошептались, Магда оказалась на коленях Федора-Хафиза и принялась елозить по нему самым энергичным образом, пока не достигла некоторого успеха.

— Пойдем, майн шатц, я сделаю тебе сладко, — жарко зашептала Магда на ухо Федору-Хафизу, и они куда-то пошли, сопровождаемые прибаутками рязанских дворян.

Крепкий зад Магды, ведущей Федора-Хафиза по каким-то тульским закоулкам, маячил и двоился перед глазами. Федор-Хафиз зацепился за торчавший из земли корень, улица сильно ударила его по лицу, так что в голове зашумело, и в следующий момент он уже очнулся в незнакомом месте.

Он лежал на соломе в сарае или клети, где кроме него сидели или валялись еще человек двадцать оборванцев, пьяных или приходящих в себя. Вместо алого кафтана на его плечи была накинута какая-то пыльная сермяга, вместо желтых сапог с загнутыми носами — какие-то растоптанные боты из войлока. Денег за пазухой не было. Золотая монета исчезла вместе с кафтаном.

— Это мы где? — справился Федор-Хафиз у своего соседа по подстилке, мужика без рубахи, с подбитым глазом.

— В тульском остроге, — отвечал незнакомец, пробуя пальцем один из шатающихся передних зубов.

— И куды нас теперь?

— На берег турусы городить.

Двери растворились, в глаза ударил яркий свет, и вошел какой-то начальник в малиновом кафтане со шнурами и дорогой бобровой шапке в сопровождении стрельца с бердышем. Из руки начальника до пола свисал развернутый свиток бумаги.

— Встать! Шапки долой! — заорал стрелец.

Бродяги стали неохотно подниматься и стаскивать с голов шапки, если они имелись. Подставляя бумагу под свет из двери, начальник стал выкликать имя или прозвище человека из списка и пометать его угольком, если названный человек отвечал. Как и во всех подобных списках, имя Федора-Хафиза оказалось ближе к концу.

— Федор Абрагимов сын Ордынский! — зачитал начальник, запнувшись на трудном нерусском отчестве и, как обычно, переврав его.

— Яз царев человек, казак с Епифани, — сказал, выходя из строя, Федор-Хафиз. — Верните мое добро и отпустите меня к моему полку.

— Добра при тебе никакого не было, а отдал тебя в кабалу твой господин Андрей Володимирович Штуднев, — отвечал начальник не без сочувствия к этому простаку — не первому и не последнему обманутому подлым вербовщиком.

— Не отдал, а принес, — злорадно уточнил стрелец.

Покопавшись в сумке, начальник нашел и показал Федору-Хафизу документ, называемый «кабалой», где значилось, что Федор-Хафиз по собственной воле поступает в холопы дворянина Андрея Володимирова сына Штундена и прибирается для постройки укреплений и иных ручных работ государевой службы без срока.

— Твоя рука? — спросил начальник, указывая на подпись рядом с печатью.

Возразить здесь было нечего. В углу бумаги значилось «Феодор», подпись была сделана крупным, кривым почерком, но, несомненно, — его собственной неверной рукой.

— Да ты не тужи, — успокоил его чиновник, не совсем лишенный человечности. — Ты не един таков. Государь велел всех шатающихся ловить без разбора да гнать на Берег работать. Отработаешь на Берегу и вернешься на Епифань с отпиской. А бежишь — поймаем и вырвем ноздри.

В башне кремля работникам выдали инструмент и паек на предстоящий день — горсть сухарей и ломоть солонины. Для того чтобы люди не разбежались по пути, их связали гуськом, как связывали Федора-Хафиза и его товарищей, когда взяли в плен в засеке. Ему даже показалось, что их ведет тот же самый стрелецкий голова, который гнал их из засеки в Епифань, но это было маловероятно.

Ведь тюремщиков в мире много, и все они более-менее на одно лицо.

В то время когда связанный Федор-Хафиз брел на север строить укрепления по берегу Оки, на галере, где служил Ермолка, все было готово к восстанию.

Вечером, когда галера стояла на якоре и правая часть экипажа была занята молитвой, Абдулка пустил по рядам гребцов свою отмычку, изготовленную для самовольных отлучек корабельным слесарем. Эта отмычка подходила не только для замка на кандалах Абдулки, но и для любых галерных кандалов, запиравшихся замками самой примитивной конструкции. Прежде чем вечерний намаз был завершен и румяное солнце скрылось за нежно-зеленой полосой горизонта, Ермолка, Машка, Петруша и еще несколько верных гребцов, отобранных для штурма, уже сидели в расстегнутых кандалах, накинутых для вида на ногу.

На ночь, как обычно, была собрана раскладная койка для надсмотрщика на помосте между отделениями гребцов. Капудан, его помощник и охранники по-барски расположились под навесом на корме, а матросы улеглись под плащами на носу, у орудийной башни.

Выждав, когда все стихло и со стороны орудийной площадки раздался молодецкий храп матросов, Абдулка снял с ноги расстегнутую цепь и на цыпочках пошел на нос корабля.

— Кто идет! — вскрикнул надсмотрщик Ласло, вскакивая со своей раскладушки, как ужаленный, и выхватывая из-под подушки пистолет.

— Это Абдул — живот надул! — шепотом отвечал Абдулка, одной рукой хватаясь за живот, а другой указывая в сторону бака, где находился гальюн.

— Топаешь как слон! — проворчал Ласло, рухнул на койку и тут же застнул, словно его застрелили.

От волнения у Абдулки и на самом деле прихватило живот, так что ему не пришлось притворяться перед часовым, зажавшим пальцами нос и отошедшим подальше. Выйдя из гальюна, Абдулка еще постоял у орудийной башни, прислушиваясь к дыханию матросов. Судя по силуэту копыя, часовой находился на другом конце корабля, ближе к корме, и не собирался возвращаться.

Стараясь не звякнуть железом, Абдулка собрал кортики, отстегнутые на ночь и кучей брошенные у борта моряками. Он решил заколоть Ласло, если тот снова проснется и застигнет его с оружием, но надсмотрщик не шелохнулся. Часовой дремал у фальшборта, прислонившись спиной к стенке и создавая видимость дежурства выставленным вверх копьём.

Вернувшись к своей скамье, Абдулка раздал сообщникам украденное оружие. Оставалось исполнить последнюю часть плана, без которой все предыдущие могли оказаться напрасными. Надо было раздобыть огонь для взрыва мины.

— Давай Ласло резать, чтобы не мешал ходить, — шепотом предложил Абдулка.

— Добудь сначала огонь, — возразил Ермолка. — Если взорвем пашу со слуги, то будем пятеро против пяти, а так — пять против дванадцать.

— А проснется?

— Проснется — убьем.

Теперь Абдулке предстояло совершить еще один подвиг — технически более сложный. Он должен был вернуться к носу корабля, перед которым находилась пристройка камбуза, и раздобыть огня у кока — бывшего христианина, как большая часть вольной команды. Этот толстяк из Генуи по имени

Петруччо не был посвящен в планы заговорщиков для конспирации, но был в самых заговорщицких отношениях с Абдулкой из-за общих махинаций с продуктами.

Даже не справившись, для чего другу среди ночи понадобилась такая опасная вещь, как огонь, Петруччо зачерпнул в осколок глиняной посуды горсть пылающих углей из очага, где круглосуточно поддерживался огонь для стрельбы.

— Накрой угли шапкой, а то видно за милю! — посоветовал Петруччо Абдулке, глядя на гребца с любопытством, но, как бывалый человек, не спрашивая о том, чего ему, очевидно, не следовало знать.

— Как услышишь грохот на корме, лезь под лавку и сиди! — посоветовал Абдулка Петруччо.

— О, Санта Мария! — отвечал Петруччо, перекрестившись и поцеловав палец по старой христианской привычке.

Копье часового торчало на прежнем месте, но самого часового не было видно из-за фальшборта.

«Спит, собака», — подумал Абдулка, приподнимая шапку над посудиною и поддувая угли, чтобы не погасли раньше времени.

И это действие едва не провалило всю операцию, потому что огонь угольков под шапкой не был замечен, но по палубе пополз запах дыма.

Ласло заворочался с боку на бок, что-то забормотал сквозь сон на своем странном языке, а затем вдруг вскочил и сел на своей койке прямо, как вставший из могилы мертвец.

Неся перед собою ценный груз, как официант несет торт для почетного гостя, Абдулка на цыпочках спустился с помоста в крыло гребцов и ногою задвинул чашку с огнем под лавку. Ласло сидел и молчал, как надгробие. Однако долго так продолжаться не могло, поскольку скоро огонь должен был погаснуть и весь план провалиться.

Абдулка и его сообщники молча смотрели из своей ямы на изваяние надсмотрщика, черным силуэтом вырезанное на синем бархате неба. Изваяние молча смотрело на них.

— Где огонь? — произнес наконец Ласло, двигая носом.

— Туто, — отвечал за всех самый находчивый Ермолка.

— На что вам огонь? — спросил Ласло, окончательно просыпаясь и входя в обычную роль запретителя всего, что подлежало запрету.

— Трубочку курим, — уклончиво и даже как-то заманчиво отвечал Ермолка, наматывая на руку отстегнутую цепь вместо кистеня.

— Вот я тебе дам трубочку, — сказал Ласло, обуваясь и спускаясь с помоста. — Где твоя трубка? — спросил он шепотом, чтобы не потревожить капудана который почивал под навесом в десятке шагов от гребцов.

— Тамо, под лавкой, — с притворной неохотой признался Ермолка.

Ласло нагнулся, принюхиваясь к запаху дыма, идущему откуда-то из-под лавки, и в это время Ермолка накинул на его шею цепь, а Абдулка зажал рот кожаной подушкой.

Ласло не умирал послушно и быстро, как это изображается в некоторых произведениях. Яростная борьба трех сильных мужиков продолжалась долго и сопровождалась такой возней, от которой, казалось, должен был пробудиться весь корабль и все прибрежные селения. Однако чудо сегодня следовало за чудом, как бывает, когда провидение явно содействует кому-то в опасности. Не только капудан и его телохранители, но даже часовой у борта не проснулся от звона цепи, громкого пыхтения и падения тяжелых тел. Ласло умер раньше, чем огонь в горшочке окончательно потух. Дернулся еще раз, уже мертвый, и умер окончательно.

— Все под лавки! Головы накройте! — приказал Ермолка товарищам и полез в трюм, почти на верную смерть.

Ему предстояло зажечь проложенный накануне пороховой шнур и взорвать мину.

Ожидание продолжалось очень долго, гораздо дольше, чем все предыдущие события этой безумной ночи, а может — и дольше всей предыдущей жизни. Кажется, и ночь уже подходила к концу, и скоро часовой, проснувшись, обнаружит исчезновение надсмотрщика, так что совершенно очевидно становилось, что мина не сработала и, пока не поздно, пора переходить ко второму, худшему плану.

— Резаться пора... — обратился Абдулка к лежавшему рядом Машке, стал подниматься на ноги, опираясь на плечо мертвого Ласло, и в это время огненный шквал грохнул так сильно, что Абдулка, весь опаленный и оглохший, пришел в себя на расстоянии трех рядов от своего места — висящим на бревне весла, как шуба, вывешенная хозяйкой для просушки.

«Теперь дерись», — приказал ему какой-то голос, и, повинувшись этому приказу, его контуженое тело само слезло с весла, достало из-за пояса кортик и стало взбираться на помост.

— Это что было? — спросил Абдулку часовой, которому сильно ушибло голову отлетевшей раскладной койкой надсмотрщика.

Не говоря ни слова, Абдулка заколот часового и, как было условлено, свистнул двумя пальцами, подавая сигнал к атаке. Он свистел как можно дольше и громче, но не слышал своего свиста, пока не догадался, что оглох. Это открытие не произвело на него ни малейшего впечатления.

Его товарищи, опаленные и оглушенные, один за другим вылезали из-под лавок на помост, пока остальные гребцы расстегивали свои кандалы, передавая друг другу отмычку. Из беседки капудана, превращенной взрывом в дымящуюся яму, выскакивали черные люди в горячей одежде, похожие на бежавших из ада грешников, и прыгали через борт в воду. Всем было не до сражения.

Наконец из-под развороченной палубы, где находился спуск в трюм, показалась черная веселая рожа Ермолки.

— Днище, кажись, целое — один борт разворочало! — первым делом сообщил Ермолка, которого больше всего волновало, что сразу после взрыва корабль может пойти ко дну.

— Надо моряки быстрее резать! — заорал Абдулка чересчур громко, как кричат глухие.

Он не услышал слов Ермолки и думал, что того тоже в первую очередь волнует сопротивление команды.

Крик Абдулки встряхнул заговорщиков. Машка уже весь трясся — но не от страха, или не только от страха, — но и от ярости и от желания проткнуть кого-нибудь кортиком.

Между тем, команда не сопротивлялась, да и не имела возможности сопротивляться. Матросы стояли на коленях, ожидая своей участи. Двое гребцов прилаживали к рее петлю, чтобы кого-нибудь повесить, остальные пинали кока, отвлекаясь от этого занятия, чтобы набить себе рот едой, приготовленной для капитанского стола.

Взбежав на носовую площадку с обнаженным кортиком, Машка стал придирчиво осматривать пленных, чтобы определить, кто из них особенно заслуживает смерти, и уже остановил было свой выбор на младшем надсмотрщике, выполнявшем на корабле роль палача, но расправа была остановлена сама собой. Потому что в толпу со стороны бывшей капитанской каюты полетели стрелы.

Первая стрела впилась в плечо Абдулки, который пытался вырвать из рук разъяренных рабов своего приятеля Петруччо. Вторая, как ни странно, пронзила насквозь того самого корабельного профоса, которого собирались повесить восставшие. Еще несколько человек были ранены, прежде чем все, включая турецких матросов, спрятались за орудийную башню, скрываясь от какого-то невероятно проворного и меткого стрелка.

Этот стрелок был капудан галеры Мехмет-ага, весь обгорелый и обожженный до неузнаваемости, но доведенный шоком до крайней степени

бесстрашия. Подобно Одиссею, карающему женихов, он стоял во весь рост перед дымящимся провалом на корме и без промаха разил стрелами каждого, кто не опомнился и не успел спрятаться. В минуту этот дымящийся демон стал господином корабля, и толпа гребцов, лишенных стрелкового оружия, беспомощно металась и робко жалась перед ним в кучу, как стадо напуганных баранов.

Приблизиться к лучнику было невозможно. Оставалось лишь развернуть одну из небольших «вертлюжных» пушек и выстрелить картечью, но этот проект был не так прост, как казалось на первый взгляд. Во-первых, к борту, на котором был привинчен ближайший «соколок», надо было еще пробраться под прикрытием какого-то щита. А во-вторых и в-главных, пушечный выстрел мог окончательно разрушить корму, и без того поврежденную взрывом и быстро набирающую воду.

Прежде чем вожди восставших успели решить между собой эту неожиданную проблему, обстрел прекратился. Ермолка заметил, что стрелы перестали жужжать над головой, выставил шапку на палке из-за укрытия, а затем высунулся и сам. Капудан больше не стрелял, поскольку истратил весь свой запас стрел — или уж затеял какую-то хитрость.

— Яз его возьму, — сказал Ермолка, вооружился секирой для рубки мяса, чугунной крышкой от котла вместо щита и быстрым шагом пошел на Мехмет-агу, ожидавшего его на другом конце палубы с саблей в руках.

Заговорщики теснились за спиной Ермолки, еще не вполне уверенные в том, что меткий стрелок вновь не засыплет их стрелами.

— Сдавайся добром, жить будешь, — предложил капудану Ермолка.

Вместо ответа утяжеленная на конце сабля свистнула над головой Ермолки так близко, что тот едва успел пригнуться.

Гребцы со своими короткими абордажными клинками теснились вокруг капудана, но тот так страшно и быстро вращал перед собою сверкающий пропеллер длинной сабли, что подойти нечего было и думать. Один отчаянный, смертельно обожженный человек сражался почти с сотней противников, и те не могли с ним справиться, а между тем корпус корабля, быстро набирающий воду, уже заметно клонился в сторону кормы.

Ермолка метнул в капудана секиру, но не попал. Отскочив от торчащей доски, секира улетела в недра корабля, из которых, сквозь едкий черный дым, поблескивало пламя.

— Кажись, г-горим? — догадался Петруша, подоспевший к месту боя с длинным корабельным тросом в руках.

— Горим и тонем, — пошутил Ермолка.

— Сам помрешь и нас п-погубишь! — кричал на капудана Петруша. — С-сдавайся, что ли, с-собачий сын!

— Сам еси таков! — ответил Мехмет-ага на хорошем русском языке и неожиданным выпадом ткнул Ермолку в бедро под чугунной крышкой-щитом.

Ермолка со стоном отошел в сторону и рубахой стал перетягивать рану, из которой кровь била, как из шланга. Соорудив из троса аркан, Петруша пытался набросить его на Мехмет-агу, но тот ловко отбивал падающую петлю ударами сабли.

— Все передумали, а до того не додумались, что один дурак всех загубит, — признался Ермолка, кривясь от боли.

Однако на сей раз бывалый казак ошибался, и восставшим не было суждено ни сгореть заживо, ни утонуть — по крайней мере, сегодня. Раздвигая зрителей, с носовой площадки спустился испанец по прозвищу Машка. Машка катил перед собою ногой чугунное ядро размером с крупный апельсин, остановился шагах в десяти от неумного капудана, поднял ядро и стал перекидывать его из одной руки в другую, как бы примеряясь к его тяжести. Гребцы с недоумением наблюдали за действиями Машки, который, казалось, хорошо знает, что он делает и для чего.

— Ай метати б-будешь? — догадался Петруша.

— Играти. Гишпанская народная игра, рекомая «хуэго де болос», — пояснил Машка.

— Х-хуэго? — неодобрительно переспросил Петруша.

— Хуэго, — подтвердил Машка, не оставляя товарищу надежды на более пристойное произношение этого испанского слова.

Затем Машка хорошоенько прицелился, сделал вокруг себя несколько оборотов и метнул в капудана ядро с силой и точностью профессионального спортсмена. Ядро попало в грудь Мехмет-аги. Выронив саблю, капудан скорчился на полу и, перешагивая через него, люди тут же бросились под палубу.

За работу, не сговариваясь, взялись сразу все — и бывшие рабы, и уцелевшие турецкие моряки. Одни тушили занимающийся пожар под палубой, другие вычерпывали из трюмов воду, передавая ведра по цепочке, третьи выбрасывали за борт все тяжелое, что только можно было выбросить, и заделывали пробоину в корпусе.

— А с этим что делать, сеньор Ермолино? Он еще живой, — справился Машка, тормоша ногою кучу горелого тряпья, в которую превратился отважный турецкий моряк.

— За борт мечи, Иванушке вослед, — отвечал Ермолка.

В то время когда гребцы и матросы, забыв о сражении, метались по развороченной галере, чтобы откачать воду, заделать пробоину в корпусе и не утонуть в первые же часы своей свободной жизни, Мустафа-Истома таскал камни на перекопском валу, словно попал в ад при жизни и был наказан сизифовым трудом.

«Трудовая армия», в которую Ибрагим-бей сослал своего раба Мустафу-Истому, ночевала на соломе под навесом из дерна, окруженным изгородью наподобие загона для скота. По ночам ворота загона закрывали засовом, но охраняли работников не более и не менее тщательно, чем баранов, так что при желании ловкий человек вполне мог сбежать. Однако бежать было некуда, а рабам в лагере по крайней мере выдавали на день миску похлебки и ковш солоноватой воды, которая здесь ценилась больше, чем самое изысканное вино.

Каждое утро перед работой важный «франк², руководивший строительством, обходил ряд работников, внимательно осматривал каждого и назначал на тот или иной объект, под начало того или иного десятника из «неверных». Работа была более-менее тяжелой на любом участке, но, по неким психологическим соображениям, чем ниже находилось рабочее место, тем оно считалось хуже, на самом же верху этой пирамиды, на кладке, трудились вольнонаемные каменщики — греки и армяне.

За ночь после работы кто-нибудь да умирал. И, если на первое утро такой «кто-нибудь» был всего один литовский «черкас», то есть украинский казак, скончавшийся от солнечного удара, и неожиданная смерть этого веселого молодого парня всех неприятно поразила, то на следующее утро, выходя из загона на построение, рабы с тупым равнодушием осматривали голые пятки трех свежих мертвецов, торчавшие из-под рогожи, и молча крестились.

Тела рабов увозили на арбе и сваливали в нескольких верстах от лагеря в заброшенный карьер, служивший братской могилой и гастрономом для бесчисленного воронья. Путь был не близкий и не торопливый, и доброволец, вызвавшийся грузить тела товарищей и сопровождать их в последний путь, таким образом, выгадывал себе несколько часов сносной жизни.

Еще через день на работу не проснулись четверо, а пятый был так слаб, что надсмотрщику пришлось, не дожидаясь развязки, добить его ударом палицы по затылку. Живые рабы закинули тела мертвых рабов на арбу и без лишних сантиментов взвалили поверх них перевернутый медный котел из-под каши, вылизанный до блеска.

— Эй, мертвецов кто не боится? — весело спросил возница, который доставлял на арбе в лагерь воду и еду, а назад увозил пустые котлы и отработанных людей, отошедших за ночь.

— Мин курыкмыйм — я не боюсь! — быстро выкрикнул Мустафа-Истома, пока его товарищи хмурились и соображали.

— Айда! — возница подал рабу руку, помогая взобраться на высокое сиденье повозки, и щелкнул бичом.

Волы тронулись враскачку, и они отправились в путь по приятному холодку, еще не сменившемуся дневным пеклом. Татарин завел свою монотонную, но довольно приятную песню, которая казалась не столько вокальным произведением, сколько явлением природы — под стать шелесту ветра и скрипу колес.

День начинался удачно, и Мустафа-Истома имел все основания думать, что доживет его до конца.

— Ты урус аль москов? — справился возница, прерывая пение.

Мустафа-Истома задумался, не совсем ясно представляя себе разницу между названными этносами, и отвечал на полутатарском языке:

— Мин татарин, Мустафа.

— Ай-яй-яй! — воскликнул возница, выражая этим междометием то ли одобрение, то ли сожаление по поводу того, каких глубин падения может достичь его соотечественник.

К сожалению, их приятный путь продолжался не так долго, как хотелось бы Мустафе-Истоме. Он узнал карьер смерти по тучам воронья, которые носились над головой, буквально затмевая солнце, а затем и по тошнотворному запаху, который доносил утренний ветерок. У этого рукотворного Аида был и свой страж — греческий секбан — солдат с аркебузой, в обязанности которого входило сжигать на костре вещи умерших, а также присыпать тела сверху известью во избежание «морových поветрий» — эпидемий, столь частых в здешнем климате.

Вторую свою задачу этот греческий мушкетер выполнял более-менее добросовестно, не имея причины экономить казенную известку, но в том, что касается первой, то в огонь летели лишь самые ветхие обноски. А те рубахи, штаны и сапоги несчастных пленников, которые имели более-менее товарный вид, скоро появлялись на рынке города Ор и других соседних селений, где пользовались хорошим спросом у простолюдыя.

Стражник с профессиональной ловкостью раздел новоприбывшие тела, подтащил их с помощью Мустафы-Истомы и возницы к карьере и свалил под откос, а затем совершил ритуальное опыление сверху белой пудрой извести. Затем он внимательно осмотрел наследство усопших на предмет паразитов и прорех, тут же отложил истоптанные, но прочные кожаные туфли в свою корзину, один суконный колпак оставил себе, одной рубахой поделился с возницей, а все остальное, скомкав, бросил в костер.

Не столь избалованный возница хотел было достать вещи из огня, чтобы изучить их получше, но было уже поздно — тряпки занялись. После этого, потормошив вещи палкой в костре, воин-старьевщик долгим нехорошим взглядом уставился на шелковую красную рубаху Мустафы-Истомы, подаренную Рувим-агой, и даже ошупал ее материю на рукаве.

— Сал — снимай! — сказал грек на языке крымского международного общения.

— Салмыйм — не сниму, — отвечал Мустафа-Истома на том же языке.

— Дай мне эту, а себе бери ту, — настаивал стражник, доставая из своего коммерческого склада какую-то отвратительную рухлядь.

— Нет, — повторил Мустафа-Истома, уже решившийся отдать свое последнее имущество только вместе с жизнью.

Не говоря ни слова, грек схватился за полу рубахи и стал тащить ее наверх, пытаясь стянуть через голову и заодно осыпая Мустафу-Истому пинками. Двое соперников закружились на краю карьера, как два мастера татарской народной борьбы «куреш».

— Эй-эй-эй! Тукта — стой! — закричал пожилой рассудительный возница, пытаясь разнять драчунов.

И в это время прекрасная алая рубаха Мустафы-Истомы треснула пополам. Оставшись каждый со своей половиной добычи, противники разлетелись в разные стороны на десяток шагов. Грек упал задом на костер, и это было очень неудачное падение. Но падение Мустафы-Истомы было хуже, потому что он улетел в глубокую пропасть, усеянную острыми камнями и запорошенными останками мертвецов.

В то время когда в Крыму разворачивались работы на Перекопском валу, Русь возводила оборонительные сооружения на Берегу — левой, крутой стороне Оки, в тех местах, где ее можно пересечь самым удобным образом по пути из Крыма в Москву. Эта стройка не производила такого впечатления, как крымский вал с каменными башнями и стенами, но по масштабам, пожалуй, ему не уступала.

На Берег согнали бесчисленную «посоху» — тягловых людей, призываемых в военное время по разнарядке для строительных и осадных работ, помещичьих крестьян, боярских и монастырских холопов да все тех же служилых людей, которых по необходимости загружали всем, чем только можно, помимо военных обязанностей.

Большинство этих «деловцев» на Берегу жили примерно в таких же условиях, что и на воле, в землянках и полуземлянках, а питались на государственственный счет, пожалуй, даже и лучше. Погода на Оке в конце лета стояла великолепная, не жаркая, но ласковая — совсем не то, что адово пекло на пыльном Перекопе. В конце рабочего дня, а то и в его середине можно было улучшить минутку и освежиться в Оке, да и копать в охотку русскую землю было совсем не то, что дробить и ворочать крымские камни.

На московской, относительно безопасной стороне Оки, неподалеку от стройки, начинались многолюдные селения, в которых можно было раздобыть кое-что из продуктов и выменять кое-что из казенного имущества.

Работники поворачивали, но в меру. Некоторые, наиболее прыткие парни, не напавшиеся от рассвета до заката, умудрялись еще бегать вечерами на гулянки, вместо того чтобы падать в своей землянке на нары и засыпать как убитые. Но наступала осень, идиллия кончалась, и начиналась привычная пакость нормальной жизни.

К тому времени, когда в Крыму устанавливается приятная прохладца, на Берегу резко захолодало, и зарядили дожди. Повсюду разлилась грязь, работать приходилось под секущим дождем, вещи не успевали просыхать, и люди начинали болеть. По Берегу пошла обычная осенняя эпидемия: завелись вши, целые землянки надрывно кашляли и металась в жару, были уже и смертельные случаи, хотя не так много, как на Перекопе. И вот, главные «ходоки» по девкам, которые не собирались ждать, пока их зароят без отпевания в общей могиле, стали подбивать Федора-Хафиза к побегу.

Они уверяли его, что из строительных бревен легко соорудить плот с шалашом, а на плоту — спуститься по Оке до самой Волги. На Волге же можно стать вольным человеком и казаковать или, пожалуй, поступить на службу в одну из украинских крепостей, где каждый человек на счету и воеводы не очень-то интересуются прошлым охочих людей.

Между тем строительный сезон и так приближался к концу, дотерпеть до первых заморозков оставалось не так уж долго, а лезть в петлю из-за пары лишних рабочих недель было слишком неразумно. Федор-Хафиз отвечал заговорщикам, что вынужден отказать, поскольку в Епифани его ждет любимая жена, что в общем-то и соотвествовало действительности.

Следующим утром на переключке голова не досчитался трех человек — самых бедовых и ленивых. Никто и понятия не имел, куда они подевались, и Федор-Хафиз, конечно, не стал их выдавать, не одобряя их дезертирства.

А три дня спустя вверх по течению из-за песчаной косы приплыл струг «плавной рати» — речного войска, патрулирующего побережье до конца навигационного сезона. На буксире струг тащил за собою хороший прочный

плот из толстых бревен. На плоту была установлена высокая П-образная виселица, а на виселице качались тела трех предприимчивых товарищей Федора-Хафиза, которые были слишком умными, чтобы терпеть, как все.

После сдачи первой очереди стройки, с началом заморозков, больных и лишних работников стали распускать по домам. Голова, который хорошо относился к непьющему исполнительному Федору-Хафизу, обещал составить для него похвальную грамоту и отпустить в Епифань на Покров. Но прежде он должен был выполнить еще одно, заключительное задание, которое бы сегодня назвали «дембельским».

Как известно, большая часть крымского войска состояла из летучей конницы, которая не тащила за собою обозов с фуражом, как европейские армии, а все грузы перевозила на вьючных лошадях и верблюдах. Летом косматые татарские лошадки-бахматы щипали траву в степи, а зимой выковыривали ее из-под снега копытами, как северные олени. Так что без подножного корма такое войско вынуждено было бы отступить, по крайней мере, до следующей мая, когда поднимется свежая трава.

Для того чтобы лишить татарское войско фуража, московские стратеги решили выжечь сухую траву в степи. Из молодых и здоровых парней, которые умеют ездить верхом, набирали команду «поджигальщиков». Этому отряду, снабженному запасом палок, пакли и смолы для факелов, предстояло углубиться в Поле и палить степь, пока она не покрылась снегом.

Команда факельщиков продвигалась от Берега в глубь Поля, насколько доходили казачьи сторожевые пикеты — станицы. По пути работники окапывали селения и угодья канавами, выкашивали вокруг них траву, а затем, дождавшись благоприятного ветра, пускали по степи пожар и гнали его как можно дальше, продвигаясь за огненной полосой цепочкой, на равном расстоянии друг от друга.

После прокладки заградительной полосы работа была, что называется, не пыльная, хотя и черная в буквальном смысле слова — поскольку к концу рабочего дня поджигатели возвращались в свой лагерь, насквозь пропахшие дымом и закопченные, как черти. Была у этой работы и еще одна, нехорошая, но приятная сторона, связанная с врожденной человеческой пироманией. Увы, поджигать что бы то ни было и следить за тем, как огонь пожирает свою пищу, многим людям отчего-то ужасно интересно.

На случай встречи с татарами, которая становилась все более вероятной по мере приближения к Крыму, работников кое-как вооружили дротиками-сулицами и самодельными палицами, а проще сказать, палками с набитыми гвоздями, а Федору-Хафизу и еще нескольким профессиональным воинам со скрипом выдали настоящее оружие — сабли и саадаки со стрелами. Однако «деловцам» было строго-настрого запрещено вступать в бесполезный бой, а завидев «крымских людей», бросаться во весь опор в сторону ближайшего города и предупредить об опасности тамошнего воинского начальника.

Хотя если честно, то у Федора-Хафиза возникали серьезные сомнения насчет того, что его подневольный сброд сможет, в случае чего, не то что одолеть татарских всадников, но хотя бы удрать от них.

Чем дальше на юг, тем селения встречались реже, а погода становилась хуже. Ночью подмораживало, мокрая трава занималась плохо, и все труднее было выискивать места, не тронутые палом, чтобы пасти лошадей и разбивать лагерь. Работники стали поговаривать, что таким ходом можно добраться и до самого Перекопа, а там поджечь ханский Сарай, однако Федор-Хафиз делал вид, что не понимает этих намеков, и с чисто татарским упрямством твердил, как велено: «Жечь, как мочно далее, доколе снега не кинут».

Отношения в отряде портились. Даже самые работящие мужики, прежде лояльные к молодому начальнику, стали прислушиваться к холопу по имени Злоба — главному оппозиционеру и демагогу, вечно всем недовольному. Как у нас водится, татарское происхождение Федора-Хафиза, которого раньше никто не замечал, теперь вменялось ему в вину.

Однажды, оправляясь за кустами перед началом работы, Федор-Хафиз невольно подслушал разговор двух работников, подошедших к кустам с другой стороны и не заметивших его.

— И куды нас татарин все гонит? — с тоской произнес один голос, которого Федор-Хафиз не узнал. — Палим-палим, никак не попадим. На кой ее палить, когда скоро и так все снегом покроет?

— Куды-куды! На кудыкину гору! В полон он вас заведет и своим продаст! Ай не догадался? — отвечал язвительный тенор, несомненно, принадлежащий Злобе.

— Да ну!

— Ну да! В Крым он вас ведет, на продажу, дурачье!

— И что же делать?

— А вот что...

Федор-Хафиз не успел дослушать плана Злобы, поскольку заговорщики удалились, но и без того было ясно, что дело плохо. Надо было как можно скорее что-то предпринимать: раскрыть заговор и наказать зачинщика, если получится, или пойти у него на поводу и повернуть на «русскую сторону» до завершения работы.

Пока, по крайней мере, ни Злоба, ни другие артельщики ничем не выдавали своих намерений, не заставляли себя погонять и были даже исполнительнее, чем обычно. То, что все услышанное произошло на самом деле, а не было нашептано осенним ветром, подтверждалось лишь паскудной улыбочкой на губах Злобы да тем, что те работники, на которых раньше можно было положиться, как-то странно отмалчивались и отводили глаза, когда Федор-Хафиз к ним обращался.

По своей привычке откладывать неприятности как можно дальше Федор-Хафиз решил не затевать собрание перед началом работы, но отложить его до вечера, когда заговорщики утомятся и угомонятся.

«И сговорятся», — подсказал ему некий услужливый голос, который всегда нашептывал ему то, чего бы не хотелось слышать.

Факельщики разбирали палки, веревки и бересту, смолили факелы и поджигали их от костра, а затем выстраивались в цепь с интервалом в полсотни шагов, так чтобы один мог видеть и слышать другого для передачи команды.

«Вечером надо ему морду бить», — подумал Федор-Хафиз о Злобе, мужике, надо сказать, довольно крепком, махнул факелом и крикнул:

— Айда! Пали!

Цепь факельщиков тронулась по черно-седому ковру выжженного поля в сторону буро-зеленой полосы сухой травы, как пехота идет в атаку на позицию противника.

Вопреки всему происходящему, Федору-Хафизу вдруг стало весело, он запел, как всегда, когда оказывался на воле, и у него сами собой начали складываться стихи.

София, ты жжешь мое сердце огнем.

Горю от любви я и ночью и днем.

Прошу, о София, меня утоли,

Иначе сгорю я от этой любви!

Дойдя до зарослей ковыля, который кивал головками под ветром, словно одобряя его творчество, Федор-Хафиз пустил факелом в степь ручеек своего поэтического огня и пошел за ним.

Мудрецы уверяют нас, что человек бывает действительно счастлив лишь в те моменты, когда забывает себя и не осознает того, что и как он делает. В такие минуты и время, и само тело словно исчезают, а остается одно восхитительное чувство беспричинной радости, которое можно оценить лишь задним числом, когда оно прошло. Что-то подобное происходило и с Федором-Хафизом, когда он, заигнотизированный пожаром, шел за убегающей

полоской огня, сочинял стихи и тут же пел их пылающим кустам и хмурому небу.

Он мог так пройти не одну версту и, возможно, не один час, как вдруг перед спуском в балку в зарослях что-то метнулось с громким треском, и мелькнула широкая спина здоровенной серой собаки.

«Волк», — подсказал ему неприятный голос, без которого было так хорошо.

Федор-Хафиз вздрогнул и, очнувшись, вернулся с небес в промозглую осеннюю степь.

Оглядевшись, он не увидел факельщиков ни справа, ни слева от себя. Выжженный им язык пепельного ковра уходил глубоко в море нетронутой бурой травы, словно он уже давно работал один, а его товарищи то ли сильно отстали, то ли вернулись в лагерь. Это открытие неприятно его поразило, как бывает, когда командир поднимает эскадрон в атаку, летит вперед, врубаясь во вражеские ряды, и вдруг, обернувшись, обнаруживает, что в своем угаре ускакал далеко один, за ним никого, и он окружен врагами.

Между тем погода начинала резко портиться. Ветер, швыряющий холодные брызги, сильно подул сначала ему в шею, затем — в лицо и наконец, кажется, во всех направлениях сразу. Несмотря на занимающийся дождь, пожар взвился с новой яростью, швыряя в Федора-Хафиза языки пламени, как отползающий дракон.

Федор-Хафиз достал из ножен саблю на случай встречи с волком и пошел отыскивать пропавших работников. Он решил отпустить их на отдых под предлогом дождя, так чтобы это производило впечатление его приказа, а не их своеволия. Если же они и без приказа бросили работу, то сейчас ему предстояла схватка с весьма сомнительным успехом.

«Ай заколоть самого дерзкого, на выбор? — размышлял Федор-Хафиз, снося головы репейников саблей направо и налево. — Кабы самого не сказнили. Скажут: татарин, а режет честных христиан».

Путь в сторону лагеря шел через обширное нетронутое поле, за которым стелилась полоса сизого дыма. Расстояние до этой полосы, пожалуй, достигало двух верст, и если люди бросили работать без его приказа, то произошло это уже давно.

Вдруг в спину его грубо толкнул ветер, дым накрыл едким облаком, и в затылок дохнуло жаром. Сразу он не мог и сообразить, как это вышло, но ручной пожар, который он гнал перед собой, как отару послушных овец, вдруг превратился в стадо бешеных буйволов, которое гонится за ним.

Теперь не он шел за огнем, а огонь бежал за ним, так быстро пожирая под низовым ветром сухую траву, что Федору-Хафизу с быстрого шага приходилось переходить на бег. Огонь не просто гнался за ним, но окружал его со всех сторон, как татарская конница, заманившая врага притворным отступлением, а затем бросившаяся на него со всех сторон. Впереди уже сверкало сквозь дым пламя огня, пущенного факельщиками во встречном направлении. Федор-Хафиз, замотав себе лицо платком от едкого дыма, бросился влево, где еще оставался зазор в огненном кольце, сужающемся каждую минуту. Он взбежал на возвышение, еще не тронутое огнем, и увидел то, от чего его сердце ухнуло и упало.

Все поле было окружено огненным кольцом, а вдали на сакме, ведущей к лагерю, виднелась точка всадника, удирающего галопом с факелом в руке. Несомненно, этот подлец Злоба, которого он не прикончил с утра, к вечеру решил зажарить его, как барана, отрезав спасительный обратный путь огнем.

Федор-Хафиз стоял как вкопанный, словно превратился в степного каменного истукана. В каком-то трансе он наблюдал за тем, как огонь наступал на него отовсюду — быстро и весело с подветренной стороны, медленно, но верно — с наветренной. Федор-Хафиз не раз слышал о том, что люди получают страшные ожоги при степных пожарах и даже сгорают вместе с конями, и все не мог понять, как это человек не мог спастись от какой-то

горящей травы. Сейчас ему предстояло убедиться в том, как это происходит на самом деле.

Сам дождь кончился, чтобы не мешать огню довершить его дело. Федор-Хафиз стал на колени и вознес молитву Аллаху с просьбой сделать его смерть не слишком мучительной, если спасение невозможно. Затем он поднялся с колен и увидел в десятке шагов от себя сидящего волка, который поскуливал, ожидая окончания непонятной ему процедуры молитвы.

Возможно, что все волки на одну морду для людей, как все люди на одно лицо для волков, но это, несомненно, был тот самый волк, которого Федор-Хафиз сегодня выкурил пожаром из оврага, а еще раньше, весной, пожалел на болоте перед роковой встречей с Истомой. Помахивая хвостом и суча ногами от нетерпения, волк глядел исподлобья с таким выражением, которое могло означать: «Ну же!»

Затем волк, оглядываясь, побежал под уклон, навстречу огню, и Федор-Хафиз поспешил за ним. Если бы он оставался на холме, то сгорел бы там заживо, как на погребальном костре, и не увидел бы в ложбине ручеек, впадающий в извилистый овраг.

Волк бросился в ручей и поплыл, высоко задирая морду и отфыркиваясь. Федор-Хафиз побрел за ним, по колено проваливаясь в топкую грязь и продираясь между цепких кустов. Сверху припекало, овраг был заполнен ползущим дымом, но оставался недоступен для пламени. Так они брели и плыли около часа. Наконец дым стал рассеиваться, и пожар остался позади. Федор-Хафиз помог волку вскарабкаться на крутой берег оврага, подталкивая его под зад, а затем и сам вскарабкался на скользкую кручу, хватаясь за траву и корни кустов.

Это был тот самый овраг, перед которым они совершали утренние процедуры до начала работы. Неподалеку находился лагерь, окопанный канавой и недоступный для огня. Коновязь под ивами была пуста. Шалаш, в котором ночевали работники, был разметан по лугу. Угли костра остыли и отсырели. Размытые следы копыт и колес уходили на север, и гнаться за изменниками пешком было бесполезно.

Не приближаясь к этому месту, переполненному враждебными запахами, волк наблюдал за спасенным человеком с почтительного расстояния.

— Спасибо, брат волк! — крикнул ему Федор-Хафиз и поклонился, приложив руку к сердцу.

Кончики черных лакированных губ волка приподнялись в скептической усмешке. Зверь несколько раз подпрыгнул в воздухе, как французский мушкетер, совершающий ритуал галантного приветствия, и боковой трусцой удалился прочь от места, где напакостили люди.

В то время когда казаки выжигали степь на крымских окраинах, галера восставших рабов во главе с Ермолкой тащилась на запад, прочь от Турции. Вольная часть экипажа была обращена в рабство и прикована к скамьям, бывшие рабы продолжали работать на веслах, как и прежде, но без палки и цепей, похуже.

Половина экипажа непрерывно откачивала и вычерпывала воду из поврежденного взрывом трюма, но, несмотря на все усилия, вода заметно прибывала, корабль погружался в море все глубже и двигался все медленнее. В такой изнурительной борьбе моряки провели следующий день и ночь.

Рана Ермолки, разъеденная соленой водой, сильно болела, горела и, что хуже всего, надувалась. С каким-то тупым безразличием, словно о постороннем, Ермолка размышлял над тем, что же произойдет раньше: смерть от гангрены или гибель на дне моря с затонувшем кораблем — и какая из этих смертей менее мучительна.

Ближе к полудню, когда пекло стало невыносимым и гребцы поднимали сверкающие лопасти весел кое-как, через раз, на горизонте показался парус высокого крутобokoго корабля без опознавательных знаков. Плавающие кре-

пости такого типа начали строить в Венеции, но были они и у турок. Однако, кому бы ни принадлежал этот корабль, уйти от него на тихоходной тонущей галере было невозможно.

От корабля отлетело красивое белое облачко дыма, лопнул полный хлопок выстрела, и в десятке саженей от галеры шлепнулось предупредительное ядро.

«Может, еще и не потону, — подумал Ермолка со свойственным ему оптимизмом. — Может, еще повесят».

Галера легла в дрейф. На галеесе поднялся белый флаг с поперечным, как бы суковатым, красным крестом, принадлежащим по крайней мере христианскому государству.

Забыв о ране, Ермолка бросился на оружейную площадку и тут же скрючился от неосторожного движения, а отдышавшись, пошел медленнее, опираясь на руку Абдулки.

Машка с риском для жизни залез на самый конец бушприта, чтобы хоть этим приблизить встречу, кричал что-то по-своему и размахивал белой капитанской простыней, на которую заранее нашли крест из разодранного красного халата капудана.

— Это чьих такой крест репейный? — справился Ермолка, морщась от боли и вглядываясь в нарастающий из марева корабль.

— Южных франков, — отвечал Абдулка и уточнил: — Гишпанов.

Корабль, остановивший тонущую галеру, назывался «Святая Цецилия», и скульптурное изображение этой покровительницы музыки с арфой в руках украшало корабельный нос. Этот плавучий город размером с Елифань принадлежал испанской короне, и его капитан, дон Пабло Франциско Гомес Фернандес де Гамба Крус, оказался дальним родственником юного испанского друга Ермолки.

Дон Пабло был одним из самых просвещенных и благородных людей своего времени, а то, что он принимал на борту корабля своего героического двоюродного племянника и его храбрых друзей, превращало дальнейшее путешествие в какой-то сказочный средиземноморский круиз.

Первым делом корабельный хирург вскрыл нарыв на бедре Ермолки, прочистил его и перевязал каким-то чудодейственным компрессом, от которого воспаление стало спадать буквально на глазах. Затем тот же самый лекарь, по совместительству исполняющий обязанности цирюльника, постриг волосы и бородку русского героя по последней испанской моде, придав ему сходство с благородным идальго.

Ермолку обрядили в длинные бабьи чулки с поясом и полосатые штаны-арбузы до середины бедер, поверх тонкой фламандской рубахи натянули тесный шнурованный колет с надставными пуфами на плечах да еще накинули какую-то обдергайку наподобие короткого плиссированного плащика, на горло повязали гофрированный воротник, напоминающий жернов ручной мельницы, а поверх рукавов прикололи манжеты. Новый костюм казака дополняли тапки с бантами и бархатная шляпа в виде перевернутого горшка с фонтаном разноцветных перьев. Все это крепилось множеством мелких пуговичек, завязочек и лент.

«Как же, прости Господи, они облегчаются? — с тревогой думал казак. — Этак и в отхожее место надо человека в помощь брати».

Увидев себя в новом виде в ростовом венецианском зеркале, установленном в каюте капитана, Ермолка с непривычки отшатнулся.

— Я прошу прощения за тот скромный наряд, который мог предоставить тебе в походных условиях, о благородный сеньор Ермолино. Однако, как только мы прибудем в мой дворец, я обещаю подарить тебе такое платье, какого достоин столь бесстрашный герой, — произнес дон Пабло, любуясь гостем с таким искренним восхищением, что у Ермолки не хватило духа на критические замечания.

— Премного благодарны. Рахмат, — отвечал переодетый казак и поклонился испанцу в пояс.

Хосе-Мария также побывал у визажиста и вырядился индейским петухом, так что, встретившись на улице Неаполя, два этих бывших невольника, некогда связанные тесными узами в буквальном смысле слова, раскланялись бы и прошли мимо друг друга как незнакомцы. Друзья с минуту ходили кругами, осматривая и похлопывая друг друга. Наконец Хосе-Мария изогнулся и стал махать перед собою шляпой, одновременно подпрыгивая, как ошпаренный кот, а завершив этот небольшой балет, обратился к Ермолке:

— Дон Ермолино, мой почтенный дядя имеет честь пригласить тебя, сеньоров Педро де Резано и Абдулло на торжественный обед в честь вашего освобождения.

— А людишки наши? — справился бывший сотник, из которого никакие злосчастья не могли вытравить командирского правила: сначала накорми лошадей, потом людей, а потом садись за стол и сам.

— Христиане будут накормлены и устроены с командой, а неверных оставят исправлять галеру под началом корабельного мастера. Дон Пабло приказал отбуксировать наш корабль в Неаполь для ремонта.

— Ну, спаси бог, а только...

После этих слов Ермолка покраснел, как девица, и стал что-то нашептывать Машке на ухо.

Глаза испанского юноши округлились от усиленного внимания, переходящего в изумление. Затем Хосе-Мария залился детским смехом, а Ермолка нахмурился.

— О, простите меня, ради бога, мой любезный друг! — воскликнул Хосе-Мария, раскланиваясь. — Мне следовало помнить, что вы непривычны к испанскому костюму, и прежде всего объяснить его устройство. Смотрите же.

Оглянувшись и убедившись, что все члены команды заняты своим делом и не обращают на них внимания, Машка распустил тесемки на боках своих рейтузов, скинул их и остался в одном поясе для чулок, а затем так же быстро снова упаковался.

— Ловко! — обрадовался Ермолка и, расшнуровывая штаны на ходу, бросился в сторону носовой статуи, которая прикрывала галюн.

Петруша и Абдулка были также переодеты в европейское платье, но для них нашлись лишь обычные солдатские колеты — гораздо более простые и удобные. И в таком-то виде, словно ряженые побирушки в святочную ночь, беглецы поднялись на балкон корабля, где находилась кают-компания.

Такого приема ни Ермолка, ни его товарищи не видывали не то что на кораблях, а и в княжеских хоробах.

Кают-компания была не просто закутком, в каких обычно ютятся моряки из-за вечной тесноты, а целым залом или «горницей», как мысленно определил ее Ермолка. Здесь было светло от высоких разноцветных окон, выходящих на море, по углам стояли диваны, шкафы с книгами и картами, чучела зверей, кресла и даже фисгармония — небольшой походный органчик, назначения которого Ермолка поначалу не понял.

Стол посередине кают-компании был застелен расшитой скатертью и сверкал ясным серебром приборов. Вокруг стола сновали на цыпочках ловкие слуги — пестрые и почти такие же нарядные, как их господа. В углу наигрывал корабельный оркестрик из нескольких скрипок, гитары и бубна. А сам дон Пабло в окружении офицеров, корабельного священника и доктора приветствовал гостей стоя.

Ермолка искал в углу помещения образа, но, обнаружив лишь большое каменное распятие непривычной формы, не рискнул на него перекреститься, а отвесил глубокий поклон, и так же поступили его товарищи.

Гостям поднесли серебряные кубки с вином, и дон Пабло приступил к торжественной речи, о смысле которой Ермолка мог лишь догадываться по выразительной жестикуляции и драматической интонации оратора, чередующего долгие паузы с пылкими скороговорками и невнятное бормотание с резкими выкриками.

Речь было продолжительной, так что к ее окончанию Ермолка весь зашелся слюной, а страстотерпец Абдулка даже издал горлом странный булькающий звук наподобие сдавленного рыдания. Наконец все залпом опрокинули кубки до дна и стали шумно рассаживаться, расправляя свои пuffy, брыжи, манжеты и иные части туалета, занимающие больше места, чем их обладатели.

Хосе-Мария занял промежуточное место между гостями и головной частью стола, где восседал капитан, чтобы заниматься переводом, насколько это было в его силах. Итак, используя рабское эсперанто из русских, греческих, турецких и итальянских слов, он кое-как передавал беглецам смысл речей капитана и других испанских господ, а затем по возможности перекладывал ответы русского «капитана», расширяя их собственными домыслами в тех местах, где что-то недопонимал.

С каждым кубком застольное общение становилось все живее, так что порою гости и их хозяева уже беседовали через голову Хосе-Марии, без перевода, который только тормозил речь. И в целом складывалось впечатление, что всем все понятно.

Дон Пабло провозгласил тост за великого, мудрого и милосердного императора всей России и Тартарии дона Хуана, грозы всех неверных татар, моголов и скифов, повелителя, заступника и покровителя всех добрых христиан севера и востока. Ермолка поднял кубок во славу не менее мудрого и милосердного царя Испании Филиппа, хранителя христианской веры, истребителя поганых турок и нечестивых еретиков.

После этого, если можно так выразиться, задравные залпы сменились беглым огнем. Тосты стали провозглашать в разных углах кают-компании уже без регламента, а по вдохновению. Полные блюда и кувшины носили бегом, как боеприпасы во время жаркого сражения, музыка заиграла пронзительно и фальшиво. Младшие офицеры пустились в пляс.

Абдулка осваивал фисгармонию под руководством хирурга, столь же искусного в обращении с клавиатурой, как и со скальпелем. Петруша изумлял темпераментных испанских танцоров акробатическими прыжками своего дикого «казачка». А Ермолка с доном Пабло уединились на покойном капитанском диване и предавались ученой беседе в окружении переводчика, священника и старших офицеров.

К счастью для потомства, среди младших офицеров Святой Цецилии нашелся один командир взвода морской пехоты, для которого умственные занятия оказались интереснее козлиных прыжков под музыку. Этого вдумчивого юношу звали Мигель де Сервантес Сааведра, и он записал беседу в кают-компании о загадочной и малоизвестной стране, называемой Россия.

Известия о Московии, или Русском государстве, переданные капитаном коссаков, сиречь конных мушкетеров царя и великого герцога всей России сеньором Ермолино Эпифанским в присутствии капитана королевского галеаса «Святая Цецилия» дона Пабло Франциско Гомеса Фернандеса де Гамба Круса, корабельного священника отца Антонио и господ офицеров, записанные альфересом Мигелем де Сервантесом Сааведра 21 сентября 1571 года от Рождества Христова

Дон Пабло. Достопочтенный и многоуважаемый сеньор капитан Ермолино, не будешь ли ты любезен удовлетворить наше любопытство и рассказать нам о своей далекой стране? Поистине среди ученых людей, негоциантов, военачальников и государственных мужей Европы ничто не привлекает столь великого интереса, как империя Московская, и ничто, пожалуй, не служит предметом столь же великого баснословия. Кому же, как не тебе, просвещенному жителю Московии, рассеять туман заблуждений и осветить лучом истины сей загадочный край?

Дон Ермолино. Я человек неученый и всю мою жизнь провел в седле или под походным шатром. Поле боя было моей alma mater, боевой конь — моей

кафедрой, а сабля — поим пером. К тому же я не красноречив, и из моего горла легче вырывается боевой клич, нежели изящные афоризмы из древних философов. Однако если твои вопросы не превышают уровня моего разума, то я отвечу на них так же откровенно, как ответил бы родному отцу или священнику на исповеди.

Дон Пабло. Правда ли, что Россия — самая большая страна в мире, превосходящая размером империю великого Хингиса и обе Индии? Сколько немецких миль занимает Московия с запада на восток и с севера на юг?

Дон Ермолино. Признаюсь, высокоумный дон Пабло, что твой вопрос поставил меня в немалое затруднение. Не зная протяженности немецкой мили, я не могу переложить ее на русскую милю или версту. А ежели бы я и знал, сколько русских верст содержит немецкая миля, я бы отнюдь не смог приложить сей аршин к полотну моего Отечества.

Дон Пабло. Отчего? Разве в Московии не существует чертежей или планов государства, разделенных на квадраты определенной пропорции, каждый из коих составляет условленное количество миль, верст или лье, легко перелагаемых друг в друга при помощи правил арифметики?

Дон Ермолино. Ты прав, сеньор, таковые чертежи существуют. Их сочинили ученые мужи из Англии, коим удалось проникнуть в мое Отечество и пересечь его с севера на юг и с запада на восток. Я самолично видел эти чертежи, составленные по описаниям и планам русских наместников, и был поражен изяществом их исполнения и красотой их пропорций. Однако их суть так же отличается от истины, как изловленная рыба в речах хвастливого рыболова от той, что попалась на крючок его уды. Право же, разница в расположении Московии на карте сира Дженкинсона и на земной поверхности порой столь значительна, что, едуци в Польшу, купец может ненароком угодить в Татарию, а отправляясь к Эвксинскому Понту, увязнуть в сибирских снегах.

Главная же трудность твоего вопроса заключается в том, что никто не может измерить величину того, что, имея свое начало, не достигает конца, как нельзя измерить реку лишь по месту ее истока. И, даже имея в распоряжении вернейшие чертежи и точнейшие измерительные устройства, никто не мог бы измерить пространство России. Ибо оно неизвестно не только простому ротмистру эпифанских косаков, но и самому царю и великому герцогу Ивану.

Дон Пабло (*в недоумении*). Не хочешь ли ты сказать, что московский император не ведает пределов своих владений?

Дон Ермолино (*с поклоном*). Именно так, мой господин! И клянусь святым Николаем, что я говорю истинную правду. Ведь, начинаясь на границе с Польско-Литовским королевством на западе, на востоке владения царя уходят далеко за гору Урал до самой империи Чин. К югу от них раскинулись пустыни Скифии, столь же безбрежные, как и воды Великого океана. А к северу начинается Тартарский океан, или Дышащее море, которого не пересек еще никто из смертных, ибо оно покрыто льдами, и холод там стол велик, что люди превращаются в ледяной столп, сделав лишь несколько вдохов.

И, однако же, весь Тартарский океан, и сибирские дебри до самого Чина и Мачина, и скифские степи до самой Монгалии, и пустыни до самой Персиды — все принадлежат его Московскому величеству.

Дон Пабло (*с тонкой улыбкой*). Не хочешь ли ты сказать, о правдивый сеньор, что владения твоего повелителя превышают империю великого Хингиса и моего всемилостивого монарха короля Филипе?

Дон Ермолино. О, благородный сеньор, не зная размеров Испанской державы, я не могу сравнивать ее с Московским царством, не погрешив против истины. Что же до империи великого Хингис-хана, которая по справедливости считается величайшим государством в мире со времен Александра Македонского, то всего лишь сто лет назад вся Московия еще была одной из провинций Великой Татарии и, следовательно, не могла ее превосходить. Однако, после того как мой государь покорил все татарские царства, за исключением Крымского, присоединив к ним новые земли на Западе, почти вся

империя Хингиса стала провинцией Москвы и, следовательно, не может ее превышать.

Дон Пабло (*оживленно*). Поистине ты сообщил мне удивительные известия о своей стране, любезный сеньор капитан. Однако, не зная даже приблизительных размеров своих владений, не может же твой государь также не знать и численности населяющих ее народов? Ибо, не зная численности своих подданных, как может его величество собирать с них налоги и рекрутов в свое войско?

Дон Ермолино. Что касается народов, населяющих Россию, то они суть следующие. Русские москвитии, или москвиты, составляют главную часть подданных царя Ивана и его войска. Их число должно быть примерно равно населению Франции, Испании и иных европейских королевств, однако оно не поддается точному исчислению, поскольку москвиты рассеяны по таким просторам, кои многократно превышают размеры всех европейских держав, вместе взятых, и великое множество их, называемых вольными коссаками, живет в совершенной недоступности от царских сметчиков.

К тому же каждый год орды крымских хищников совершают набеги на окраины России, уводя в рабство тысячи людей, и часть этих несчастных наш добрый государь затем выкупает точно так же, как ваш милостивый король выкупает пленных из Алжира. Так что численность русского населения до татарского нашествия может значительно отличаться от той, какая будет сразу после него или через несколько лет. Ибо русский народ имеет удивительную способность заполнять любое пространство, куда он попадает, как вода, текущая под уклон, заполняет любую впадину, сколько ее ни вычерпывай.

Кроме нескольких пород русских людей, живущих на юге, западе и севере страны, исповедующих единую греческую веру и говорящих на разных диалектах одного наречия, все восточные земли заселены бесчисленными татарскими племенами, большая часть коих кочует в кибитках по древнему могольскому обычаю, но некоторое количество живет в домах и занимается хлебопашеством.

Совсем недавно эти воинственные люди составляли население трех татарских царств, покоренных моим великим государем: Казанского, Астраханского и Сибирского. Сегодня же все они платят ясак или дань белому царю, как платили ее великому хану, и поставляют в русское войско бесчисленную храбрую конницу.

Однако количество татарских подданных царя еще менее поддается счету, поскольку их орды постоянно переходят с места на место, удаляясь зимой на юг, а то и за пределы государства, а летом возвращаясь на свои пастбища.

Кроме москвитов, черкасов, коссаков и татар на окраинах Русского государства, в его лесах, горах и пустынях живет еще множество племен, говорящих на самых диких наречиях и предающихся самым диким суевериям. Одни из них ездят на собаках, как мы на конях, и питаются собственным мясом, другие поклоняются медведям и отдают им в жены своих дочерей, третьи переговариваются свистом и живут в глубоких пещерах, покидая их лишь по ночам, чтобы похищать христианских младенцев.

Само перечисление этих племен продлилось бы до утра, что же касается до их численности, то ее так же трудно установить, как численность белок в Сибири.

Дон Пабло (*настойчиво*). Однако численность русского войска должна же быть известна капитану царских мушкетер? Сколько всадников, аркебузиром и пикинеров выставил царь против крымского хана, и сколько отправил он в Ливонию против польского короля? Сколько в его войске тяжеловооруженных рыцарей и легких лучников? Сколько у него крепостей и орудий? Владеют ли русские генералы искусством осады, подкопов и взятия укреплений? Достаточно ли у них пороха, лошадей, фуража и повозок для ведения войн с татарскими ханами и европейскими государями? Хорошо ли обучены воины для сражений в пешем и конном строю?

После такого града вопросов, каждый из коих требовал прямого ответа, сеньор капитан Ермолино крепко задумался, как бы подбирая наиболее точные выражения. Дон Пабло дал мне знак вести подробную запись его слов, и я вооружился новым, остро отточенным пером, однако, перед тем как начать свою речь, сей достойный рыцарь решил промочить горло глотком вина. Он попросил слугу принести ему полный кубок, дабы осушить его разом и в дальнейшем уже не отвлекаться от диктовки.

Так и было сделано. Русскому капитану поднесли позолоченную чашу размером с церковный потир, до верха наполненную пенистой рубиновой влагой. К изумлению господ офицеров, дон Ермолино припал к этому сосуду, словно верблюд, который шел по пустыне неделю без единого глотка воды, и проглотил его содержимое до последней капли.

Затем сеньор капитан закусил выпитое крошечной вишенкой, выловленной из блюда с фруктами, сладко улыбнулся и упал лицом на стол, как если бы это была самая мягкая пуховая подушка на свете. Раздался богатырский храп, и в этот вечер нам более не удалось услышать ни единого слова из уст хитроумного идальго дона Ермолино Эпифанского.

На рассвете «Святая Цецилия» содрогнулась от оружейных залпов. Ермолке померещилось, что он находится в Епифани и татары лезут на приступ, он вскочил как ужаленный со своей висячей койки и схватился за первое, что попало под руку, чтобы отбиваться от врагов, — ночной горшок, заботливо оставленный кем-то под его ногами и уже наполненный до краев.

Выплеснувшись, содержимое ночного сосуда окатило Машку, который спал таким крепким молодецким сном, что его в буквальном смысле нельзя было разбудить из пушки. Вывалившись из гамака, юный испанец замахал во все стороны кулаками и сражался с воображаемыми врагами, пока Ермолка не обхватил его сзади за плечи. Некоторое время беглецы не могли осознать, где они находятся и что с ними происходит, и наконец вспомнили с облегчением: они в безопасности, среди друзей, на христианском корабле, салютующем при входе в гавань Неаполя.

Уже на рейде испанский корабль стали осаждать местные жители на лодках, предлагающие фрукты, вино, рыбу и даже, если Ермолка правильно понял их галдеж, — привезенных с собою женщин. Когда же шлюпки с моряками одна за другой стали причаливать к берегу, здесь их приветствовали гирляндами цветов, песнями, плясками и восторженными криками, словно они уже одержали над турками величайшую победу.

Весть об отважном русском капитане, будто бы в одиночку захватившем турецкую галеру и угнавшем ее в Неаполь, каким-то образом разнеслась по городу, и Ермолку ждал на пристани такой бурный прием, который его даже несколько смутил.

Не успел он перешагнуть через борт шлюпки, как ноги его взметнулись в воздух, его подхватили на руки и стали подбрасывать так высоко, что дух захватывало. Не давая ступить на землю, Ермолку осторожно, как гроб со святыми мощами, переложили в паланкин и понесли на руках по улицам Неаполя, так что он мог лишь наблюдать из-за занавески, что происходит снаружи и куда его несут. Сотник и понятия не имел, что где-то мужиков таскают на носилках, как беспомощных калек, и он предпочел бы идти пешком, но каждый раз, когда он предпринимал попытки спешиться и егозился в этой тесной коробочке, его ласково, но настойчиво запикивали обратно со словами:

— Сеньор, пор фавор, но!

Время от времени в паланкин заглядывали глазастые черномазенькие девки в шнурованных лифах, вырезанных так низко, что груди едва не вываливались наружу. Они хохотали, галдели, тянули Ермолку за рукава и целовали собственные пальцы, сдувая с них воздух в сторону героя. Солдат в латах и железной шапке с гребешком отгонял поклонниц и очищал путь от толпы древком алебарды.

Сквозь щелку в занавесках Ермолка видел, что улица представляет собой что-то вроде узкого каменного ущелья, в котором с трудом могут разъехаться два всадника, и не имеет ничего общего с улицами русских городов, похожими скорее на поля между усадьбами. Справа и слева от паланкина возвышались сплошные ряды каменных домов в два, три и более этажей, нависающих друг над другом и местами соединенных перекидными мостками. Окна нижних жилищ были закрыты ставнями из толстых досок, из верхних выглядывали и махали руками люди, были натянуты веревки с выстиранным бельем.

Кто-то, нечаянно или нарочно, выплеснул из двери под ноги солдата чан помоев, так что испанский воин едва успел отпрыгнуть и спасти от поругания свои короткие полосатые шаровары с бантами. Пахнуло нечистотами, которые здесь никто и не думал убирать из-под ног.

Наконец темный и смрадный коридор улицы вывел на просторную площадь, мощенную булыжником и окруженную со всех сторон нарядными высокими дворцами, несколько не похожими на те безобразные человеческие ульи, что теснились на улицах. С торца площади возвышалось огромное прямоугольное здание под треугольной крышей, с пристройками по бокам. Судя по крестам непривычной прямой формы на шпилях, это был собор.

Среди публики, собирающейся у ворот собора, Ермолка узнал своих знакомых со «Святой Цецилии» — славного капитана дона Пабло, его «патрона» (помощника), морского попа и того любознательного юношу с узенькой бородкой, который безуспешно выспрашивал у него московские военные тайны. В толпе то и дело пролетало странное слово «Сан-Дженеро», очевидно, имеющее отношение к предстоящему действию. Появившийся из компании военной молодежи Машка подхватил Ермолку под локоть и, увлекая в сторону храма, сказал: «Пойдем, ты должен увидеть Сан-Дженеро».

На раззолоченной карете прибыл тучный старик с седой бородой, весь обвешанный золотом, — здешний воевода или наместник, и служба началась.

Само собой разумеется, что раньше Ермолке не приходилось бывать на католической мессе, да еще в одном из великолепнейших храмов Европы. Как человек православный, он предпочел бы не заходить в это грандиозное капище и даже сомневался, что имеет такое право. Однако человеческая река уже подхватила его со всех сторон, и милый друг Машка так радовался предстоящему зрелищу, так гордился им и так был уверен, что оно не может не вызывать восторга, что у Ермолки не хватало духа противиться. И так, идя на этот грех из деликатности, он только решил про себя ни в коем случае не исполнять вместе с «латинниками» их поганых обрядов, ничего за ними не повторять и не поклоняться их идолам.

Именно эти идолы — бесчисленные статуи святых, как бы выстроившиеся вдоль стен собора по ходу толпы, поразили Ермолку более всего. Они были вырезаны из камня так живо и натурально, с такими подробностями лиц, фигур и складок одежды, словно были обмазанными глиной живыми людьми, и это, как ни странно, вызвало у Ермолки не восхищение, а скорее какую-то жуть — словно он увидел толпу восставших из могил трупов. В несколько меньшей мере его удивили и картины, которыми были расписаны все стены храмы и его потолки. Они были чересчур живыми, выпуклыми и мясистыми, словно вот-вот соскочат со стен и присоединятся к толпе, в них не было и намека на бесплотное благолепие русских икон.

— Видал ли ты в Московии такие прекрасные фрески? — с восторгом спросил его Машка, уверенный в том, что старший друг не может не разделить его чувств.

— Господи помилуй, нет, — честно отвечал Ермолка.

Они протиснулись поближе к подиуму, на котором в русских храмах находится иконостас, и служба началась. Для Ермолки не было новостью, что «латинники» крестятся всей ладонью, слева направо, как в зеркальном от-

ражении, — на их галере было немало католиков, включая и Машку, которые перед сном молились по-своему. Но лишь услышав слова мессы, он, кажется, вполне осознал значение этого ритуала.

Вслушиваясь в слова молитвы, он не допускал, что они могут отличаться от тех, какие поют в церкви русские попы, — ведь учение Христа, его апостолов и святых записано в Библии точь-в-точь, и, следовательно, все они говорили на очень древнем, но более-менее понятном «славенском» языке. Однако в католическом богослужении Ермолка при всем старании не мог уловить ни единого знакомого слова. Более того, латинские слова показались ему славянскими, но перевернутыми задом наперед, то есть, как ему и объясняли знающие люди, это была дьявольская месса, в которой священное писание читают задом наперед и так же крестятся.

Если так, то жуткие живые фигуры, расставленные по всему храму, были эллинскими идолами, или аггелами, составляющими свиту того самого Сан-Дженеро, которому здесь возносились перевернутые молитвы, а кто такой был сам этот Сан-Дженеро, заменяющий здесь Христа, догадаться было нетрудно.

В голове сотника, непривычной к метафизике, начинало мутиться от дурхоты, тесноты и напряжения. Он был близок к обмороку, когда толпа с криками «Сан-Дженеро! Сан-Дженеро!» бросилась к главному идолу, обвешанному золотыми цепями и усыпанному бриллиантами.

Латинский волхв, правивший мессу, поднял перед собою две склянки с чем-то темным, чего Ермолка не разглядел из-за спин, и тут все словно впали в безумие. Женщины стали вопить, царапать свои лица и рвать волосы, незнакомые мужчины плакали, как дети, обнимали и целовали друг друга, все тянулись к жрецу и склянкам, которые он поднял над головой. Пока его не раздавили, Ермолка стал потихоньку пробираться к выходу, навстречу безумному человеческому потоку.

Наконец из храма выбрался и Машка, весь растерзанный, мокрый от пота, но сияющий счастьем.

— Ты видел? Ты видел? — восклицал он.

— Чего видел-то? — уточнил Ермолка.

— Кровь Сан-Дженеро закипела! Мы одолеем турок!

Культурная программа этого хлопотного дня продолжилась во дворце дона Пабло, куда капитан созвал испанскую знать Неаполя «на русского Улисса», как он почему-то представлял Ермолку. В большом зале с колоннами, где поместилось бы все население Епифани, были расставлены длинные столы, за которыми, вероятно, по их чину были рассажены испанские бояре и их бабы, почему-то пирующие за одним столом с мужиками, непрерывно болтающие и только мешающие есть.

Дон Пабло посадил Ермолку по правую руку от себя, между собою и своей молодой женой, которая годилась ему в дочери. Очевидно, это означало высочайшую честь, Ермолка оказался в центре всеобщего внимания, и это могло бы ему польстить, если бы его непрерывно не донимали разговорами, так что ему некогда было ни проглотить куска, ни пригубить вина.

Ермолку засыпали вопросами непрерывно, по старшинству, начиная с хозяина дома и его хозяйки, всем не терпелось поумничать, а гостей на пиру было не менее сотни, так что это интервью продолжалось до конца обеда, с которого русский казак ушел полуголодный.

На сей раз интерес собеседников не имел военного, политического характера, никто не задавал «русскому Улиссу» запретных вопросов, и ему нечего было скрывать. Но сами эти вопросы были настолько нелепыми и бестолковыми, что, при неизбежных изъясных переводах, Ермолка порой просто не мог уразуметь, о чем речь. Испанские боярыни спрашивали его о длине шлейфов, которая сейчас в моде среди русских дам, о том, сколько в Москве стоит аршин шелка, локоть парчи, крупный жемчуг, мелкий жемчуг, сапфиры, самоцветы, ленты и тому подобные товары, к которым казак сроду не приценивался.

Бояре интересовались насчет того, часто ли московские идалго сражаются между собою на дуэлях и по каким правилам происходят между ними поединки чести. Ермолке удалось понять суть вопроса, и он поверг благородных сеньоров в шок, описав типичную русскую дуэль, когда два благородных идалго встают на краю ямы и тянут друг друга за бороды, пока один из них не упадет в грязь.

Как дам, так и господ живо интересовали вопросы современной русской культуры, театра и живописи, но здесь они, как ни бились, не могли добиться от Ермолки ничего путного. Кое-как догадавшись, что речь, кажется, идет о скоморохах, сотник сообщил, что людей шутовского звания в Московии более чем достаточно, и они даже населяют особые слободки в больших городах. Церковь строго порицает их позорища, но это не мешает им кривляться и ломаться на торгах, в хоромах бояр и даже в палатах самого царя.

Конечно же, никто не знал имен этих людей, их дурачества не записывались на бумагу и не выпускались книгами, как летописные своды, — такое и в голову не могло прийти. Если же под словом «роман» подразумевались жития святых и летописные повести, то таких «романов» у русских действительно великое множество. Всем известны имена героев таких «романов», но никому не интересны прозвища тех, кто их записал, — ведь не они же совершали описанные деяния и чудеса.

Тем более не имеют значения имена изографов, градоделов, златокузнецов и иных ремесленников низкого звания, которые, кажется, и не претендуют на известность, довольствуясь своим заработком. Ермолка не очень-то поверил в то, что в Италии живописцы, ваятели и иные подлые мастерские могут жить в почете в собственных дворцах и быть на одной ноге с князьями и епископами. Ему начинало казаться, что над ним потешаются, как над каким-то индейским дикарем или ученой обезьянкой, выставленной на потеху публики, его это злило, и он стал нарочно прикидываться бестолковым, отвечая на явную глупость удвоенной глупостью.

По поводу невиданной жестокости короля Московии Ермолка поведал, что Иван Васильевич каждый раз приказывал изжарить и подать на стол того повара, который не допек или пересолил его блюдо, так что в конце концов поел всех своих слуг, и царица сама вынуждена была заниматься стряпней на все царское семейство.

Что касается холодов, то птицы действительно замерзают в Московии на лету, так что русским остается только собирать их в поле, как библейских перепелов, и использовать в пищу, растопив в печи. Волки и медведи бегают зимой по улицам, и охотиться на них можно прямо из окна терема. Зимой русские купаются в проруби, но поскольку после этого они покрываются толстым слоем льда, то дома лед с них приходится обкалывать топорами.

Русские кареты ездят на полозьях, и подковы лошадей на передних ногах также прибиты к широким лыжам, так что русская лошадь едет по снегу на лыжах передними ногами, отгалкиваясь задними. Возница, сидящий верхом на передней лошади в упряжке, управляет каретой при помощи длинных шнуров, привязанных к концам лыж.

Впрочем, объяснить испанцам, что такое «арты» (то есть лыжи), Ермолке не удалось, так же как и уразуметь, что такое «театр» и «роман», которыми его донимали весь вечер.

Как ни странно, гости остались вполне довольны московским капитаном, который проявил сносное обхождение и красноречие для человека, живущего в таких чудовищных условиях. Сеньора де Гамба Крус даже предположила, что из него можно было бы в считанные месяцы вылепить галантного кавалера, если бы он попал в руки ловкой и образованной любовницы.

И, вырвавшись из чопорного общества местной знати, Хосе-Мария потащил друга в то место, где русского медведя могли выдрессировать в Дон-Жуана. Это был дом знаменитой неаполитанской куртизанки Чичивиты, ко-

торую верный Хосе-Мария решил подарить Ермолке именно потому, что она была так дорога ему самому.

На рассвете, когда буйное сборище у Чичивиты наконец уgomонилось на диванах, коврах и столах, а то и под столами, этот роскошный вертеп был оглашен воплем русского гостя: «Караул! Содом! Гора дымит»!

Прекрасная Чичивита, едва сомкнувшая глаза после своих ночных упражнений, решила, что ее прекрасный дом горит, и бросилась на шум в костюме Евы, на который, впрочем, никто не обратил ни малейшего внимания из-за переполоха. Русский сеньор бегал по дому в костюме Адама, тормозил всех, как ангел на Страшном суде, и пытался что-то объяснить.

Кое-как общими усилиями удалось выяснить, что этот чудак вышел на рассвете освежиться на балкон и увидел вдали гору, из которой шел дым, как из приоткрытой адской топки. Достаточно знакомый со Священным писанием и к тому же не вполне протрезвившийся, Ермолка решил, что сейчас начнется извержение огненной горы, которое погребет под собою все население этого нового Содома. Русский капитан пришел в себя лишь после того, как ему налили чашу вина и объяснили, что Везувий дымится постоянно, а такие неприятности, которые произошли в Содоме, Гоморре, Помпее и некоторых других городах, случаются не так уж часто: раз в несколько лет, через десятилетие, а то и реже.

Зато на склонах адской горы отложилась такая плодородная почва, что люди со своими домишками селятся чуть ли на самом краю жерла.

— Слава богу, что я живу в Епифани, где нету огненных гор! — воскликнул Ермолка.

Все остались весьма довольны шуткой русского кавалера, который и не думал шутить. Принесли еще фруктов, вина, и веселье продолжилось.

В то время когда Ермолка с завязанными глазами, играя в жмурки, ловил по углам палатки срамных итальянских девок в Неаполе, его жена Софья собирала грибы в Себинском лесу под Епифанью.

Большая татарская война была закончена, а вернее — прервана на неопределенный срок. И жители Епифани, повесив на гвоздь свои сабли и саадаки, жадно бросились за работу, чтобы вспахать, построить и заготовить как можно больше впрок, пока «крымские люди» снова не нагрянули, чтобы затоптать, сжечь и отобрать все, что они успели сделать.

Нападения небольших татарских шаек, как и сами эти шайки, назывались «бишбаш» («пять голов»). Они случались без ведома крымского «царя», в любое время года, кроме зимы, когда залегали глубокие снега, но чаще всего — во время полевых работ. Поэтому казачий голова Федор Лихарев, который во время покоя преобразался в какого-то председателя сельскохозяйственной артели, бургомистра, начальника полиции, судью, казначея, завхоза и бог знает кого еще в одном лице, делил все команды работников, направляемых в поля, на две части. В то время когда первая смена косила траву, пахала землю или рубила лес, вторая охраняла ее с заряженными ружьями — и наоборот. Что, конечно, не ускоряло работу.

Без охраны никто не отправлялся ни «на посылки» в соседние селения, ни на пастбище, ни на рыбную ловлю. Это требование безопасности выполнялось отнюдь не формально, поскольку все жители Епифани, включая самого Лихарева, уже имели неприятный опыт встречи с бишбашем либо могли приобрести его в любое время дня и ночи.

Отпуская по грибы свою жену Маврицу с сыном Лёвой и подругой Софьей, Лихарев прочитал грибникам инструкцию о том, что было и так слишком хорошо известно. Не терять друг друга из вида, не кричать и не аукать в лесу, да и не трещать сучьями, как медведи, не спать на поляне и уж разумеется — не палить из ружья по зверям, даже если олень сам прыгнет тебе под ноги.

Лихарев выдал Маврице и Софье рогатины — короткие копыя с широким листовидным наконечником, с какими ходят на медведя, а Лёве — «ручни-

цу» — укороченную пищаль с широким наплечным ремнем «берендейкой», увешанной зарядными пеналами. Он подвез это странное воинство на телеге до ближайшей опушки и строго-настрого приказал возвращаться домой не позднее заката.

После этого вооруженные до зубов грибники углубились в светлый, прозрачный лес, пылающий пестрой листвой на низком сентябрьском солнце, стали всюду хрустеть сучьями, кричать «ау» и на весь лес хвастаться своими трофеями. А Лева, вопреки всем требованиям техники безопасности, бабахнул из пищали, уложив дробью рябчика на обед.

Грибов в этом нехоженом лесу оказалось так много, что скоро их было некуда класть. Женщины присели отдохнуть на пенек и, воспользовавшись тем, что Лева гоняется по кустам за дичью, стали жарко обсуждать главную сенсацию последнего времени: беременность Софьи.

Софья были на шестом месяце, и, как ни просторна была демисезонная одежда дам XVI века, это было уже непросто скрывать от дотошных взглядов жителей Епифани, склонных к сплетням и вмешательству в чужие дела, как и все жители военных городков в скудное мирное время.

Отцовство будущего ребенка не вызывало сомнения. Ермолка не был к нему причастен ни по сроку его отсутствия, ни по тем равнодушным отношениям, какие установились у него с женой в последние месяцы. К тому же и до этого Софья, желавшая ребенка, сильно сомневалась в его (или своей) способности к деторождению.

Насчет пылкого Федора-Хафиза таких сомнений не было.

Однако Федор-Хафиз бесследно исчез, и общее мнение гласило, что он после смотра в Туле бежал «в татары», прихватив с собой двух коней и жалованье за год вперед.

После неудачной попытки выкупа Ермолки его вероятность возвращения из плена стала близкой к нулю. Если он попал на турецкую галеру, то, как и большинство гребцов, он, скорее всего, будет убит в первом бою, а не в первом — так во втором или третьем, а если и не будет убит, то умрет от перегрева, или от воспаления легких, или от изнурения.

Если Господь услышал молитву Софьи и Ермолке повезло остаться в Крыму, получив сносную работу слуги или работника в ткацкой мастерской, то его, по татарскому обычаю, должны были освободить лет через семь. Но уходить из Крыма на Русь ему не разрешалось, да и захочет ли он вернуться к такой жене?

— А то примет Мегметову веру да возьмет в жены татарку, — гадала Маврица, нанося Софье неприятные тычки в самые болезненные места души, как и положено лучшей подруге.

— Ну, и дай бог ему имати добрую жену, — отвечала Софья, преодолевая досаду. — А мне-то как быть, когда через год после Ермолкиной пропажи у меня татарчонок черноглазый народится?

— Сором будет на всю Епифань, — утешила ее Маврица.

А затем вернулась в своей излюбленной идее, которую, очевидно, не раз уже развивала Софье.

Дело в том, что Маврица также оказывалась в подобном положении, хотя и по гораздо более неприятному поводу. Лет двенадцать назад, когда уже родился Левушка, ее вместе с другими женщинами увели с поля татары. Ночью на стоянке татары напились бузы и надругались над Маврицей, а на рассвете их нагнал Федор Лихарев с сотней казаков.

После зверского боя уцелевшие татары ускакали, бросив добычу. Пленных женщин освободили и развезли по домам.

Опасаясь тяжелого характера мужа и не желая ранить его самолюбие, Маврица не призналась Федору в том несчастье, которое с ней произошло. Лихарев, очевидно, не очень ей поверил и возвращался к этой неприятной теме с маниакальной настойчивостью, особенно во хмелю. Однако Софья стояла на своем и даже клялась на кресте, что татары ее пальцем не тронули.

Этот кошмар понемногу забывался, душевная рана затягивалась, и вот Маврица обнаружила, что она беременна. Трудно сказать, как принял бы Федор, человек по-своему хороший, но необузданный, это известие, особенно после такого упорного отпирательства.

Поэтому Маврица, во всяком случае, решила не испытывать судьбу. Она отправилась «на Тулу» под предлогом закупок на тульском торге, нашла там «добрую» знахарку и совершила смертный грех, избавившись от плода.

Теперь она с завидным упорством убеждала подругу сделать то же самое и даже отправиться вместе с нею «на Тулу», к той же самой подпольной акушерке. И если поначалу Софья горячо возражала и даже ругала подругу, то теперь она выслушивала «прелестные» речи Маврицы в печальной задумчивости, покусывая травинку и хмуря свой небольшой круглый лоб.

— Ужо Федя вернется, — наконец возразила она с какой-то жалкой улыбкой.

— Откудова? Из татар? — воскликнула Маврица, которую с самого начала не устраивало развитие романа подруги с пленным красавчиком. — Да у него там десять жен, а ты будешь одиннадцатая.

— Татарам дозволено до четырех жен, а сверх того — грех, — заступилась Софья за этот вражеский народ, который невольно вызывал у нее симпатию.

— Ну, ехай за ним в татары и татарчонка ему привези, — посоветовала ей Маврица, подумав при этом, что полоумная Софья, пожалуй, способна и на такой смелый поступок, а вот она по трусости погубила живую душу и лишила Лёвушку сестренки.

Маврица всплакнула, Софья всплакнула за компанию, и все бы ничего, если бы этот сеанс психической разгрузки не был прерван подозрительным шумом.

Дальные кусты зашуршали, словно от порыва ветра. Однако никакого ветра не было, и к тому же похрустывание продолжалось ритмично, так что его источником могло быть только живое существо — зверь или человек.

— Лёва, ау! — позвала Маврица, нарушая все мыслимые инструкции.

Шум стих, словно кто-то затаился. Софья с круглыми от ужаса глазами зажала рот подруги ладошкой и кивком показала, что надо убираться. Подхватив корзины и копыя, только мешающие на бегу, женщины пригнулись и на цыпочках отбежали за толстую корявую колонну древнего дуба. Некоторое время, показавшееся очень долгим, они простояли в укрытии, не шевелясь и сдерживая дыхание. Затем шум возобновился, и кажется, сразу в нескольких местах. Теперь не оставалось никакого сомнения, что это люди, они повсюду и идут за ними.

Бросив тяжелые корзины и дурацкие копыя, застревающие в кустах, подруги бросились бежать куда глаза глядят, как бегают только в страшных снах: перебирая ногами с невероятной быстротой и в то же время словно буксуя в какой-то вязкой среде.

Они упали на траву лишь на опушке леса, перед костром, на котором Лева священнодействовал над насаженным на вертел рябчиком. Никаких объяснений не потребовалось этому пятнадцатилетнему мальчику, который был уже таким же настоящим солдатом, как любой тридцатилетний стрелец.

Лева приказал матери и ее подруге заползти в заболоченную ложбинку, лечь прямо в грязь и не шевелиться ни в коем случае, что бы ни происходило. Затем он немного дрожавшими руками, но в общем спокойно и даже неторопливо зажег от уголька фитиль ружья и залег за кочкой шагах в двадцати.

Дымок от фитиля шекотал ноздри и резал глаза. С четверть часа в лесу не раздавалось никаких звуков, кроме обычных вздохов ветра, мелких потрескиваний да птичьей возни. «Вот ворона пуганая, только грибы побросала», — подумал Лева о матери, и в это время из леса вышел человек.

Этот человек был весь какой-то черный и дремучий, как будто выполз из земли. Он передвигался, ссутулившись, на подогнутых ногах, словно от

изнеможения. На голове у него был остроконечный татарский колпак, в руке — дубина, на которую он опирался как на посох.

Подойдя к костру, человек упал на колени, схватил обеими руками вертел и стал жадно рвать зубами полусырого рябчика, не дожидаясь, когда мясо остынет.

Руки Лёвы больше не дрожали. Он прицелился и произнес, как учил отец: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго духа». Грохнул выстрел, и татарин упал, как тряпичная кукла, которую дернули за веревку.

Некоторое время Лева переждал в засаде, не появятся ли другие татары. В лесу никого не было. Отложив ручницу, Лева достал засапожный нож и подошел к убитому человеку. Не считая штурма Епифани, когда он много стрелял по врагам, но не видел вблизи своей работы, это был первый человек, которого он убил по-настоящему, один на один. А впрочем, он пока не чувствовал ничего особенно, никакого ужаса или отвращения, о каких ему рассказывали старшие товарищи.

Приподнявшись из болотца, женщины наблюдали за Левой, но пока не покидали своего убежища. Татарин лежал ничком, словно что-то пряча у себя на груди. Лева перевернул его тело на спину носком сапога, оно перевалилось на спину и оказалось заросшим, одичавшим, но узнаваемым Федором-Хафизом.

Федор-Хафиз был жив, и более того, он продолжал жевать рябчика, которого сжимал в своих руках, так что если бы его сейчас убили, то это произошло бы во время еды.

— Федя, ты? — спросил на всякий случай Лёва.

— Яз, а то кто?

— Ты не убитый?

— Не знаю, а ты не ангел?

— Вот чудной! Для чего же ты упал, коли не убитый?

— Поести перед смертью.

Осмелевшие женщины вылезли из засады, они со всех сторон гладили, обнимали и целовали пропащего Федора-Хафиза, словно с неба свалившегося, чтобы спасти свой род от истребления.

Павел Сидельников

Ключик серебряный

Василию Нацентову

Мой учитель синичий, в каком заблудились лесу
и природную связь потеряли, накликав грозу?

И по-волчьи живут одинокие честные люди —
потемнели их светлые лица и мысли о чуде.

*А мне волком не быть
и синицей большой не родиться. —
Если птицей и быть,
то ещё безымянною птицей.*

*И вовеки веков
мне вести черную тетрадь,
а ночной волчий зов
с благородием мне обращать*

в переключку друзей, привыкающих к диалогу,
где Георгий Иванов выходит один на дорогу —

ни о чём не скучая, помимо тревоги по дому,
на котором страна почему-то звучит по-другому.

Павел Сидельников (2002) — поэт, эссеист. Родился в Тюмени. Учится на юридическом факультете Российского университета правосудия. Выпускник школы литературного мастерства им. В. Крапивина. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Урал», «Кольцо А», «Наш современник», «Сибирские огни» и др. Автор поэтического сборника «Долгое дыхание» (2023). Лауреат премии им. Юрия Кузнецова. Живёт в Воронеже.

Публикация осуществляется в рамках проекта «Мастерские» Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

я ключик серебряный в правой руке своей
держу и держусь словно веточка на плаву
смотрю на мир сквозь переулки слепых ветвей
которые вижу во сне и не посмотрюсь
как первая входит в другую уйдя в траву
и дальше разносится эхом чуть слышный хруст
так трепетно сразу становится на душе
и легче проходит жизнь и цветы красивы
и кажется будто зароешься в камыше
проблемы закончатся кончатся все дела
и сам окунёшься и будешь в большом заливе
плавать потому что вода не перевела
меня через чёрные стены земных высот
где звёздочка верная в небе висит кармическом
а время меня всё гнетёт и гнетёт и вот
я выбрался в вечность всецело путём лирическим

Проснусь,
когда меня — сверчка ночного —
разбудит девочка с каштановым венком.

Она, наверное, плела его так долго,
не думая о том,
что здесь — под яблоневою веткой —
сидит сверчок, похожий на неё, —
такой непостижимый,
такой непримиримый,
такой же совершенный,
что всё земное не имеет счёта.

М.З.

1

земля зыбка попробуй удержишь
меж двух огней — заката и рассвета
один из них — твоя слепая жизнь
а от другого — ты не жди ответа

когда качают головой оне
за право называться человеком
то никогда не думай обо мне
не думай и не спрашивай об этом

2

отсырела наша рыжая страна
 как вода из крана льётся вся она
 и бессовестно и вновь слова звучат —
музыка и *снег* знаком *пансионат*
 я там тоже выступал с тобою был
 защищал от всех злодеев и могил
 а теперь и ты во вражескую тьму
 больше не созвучна сердцу моему

3

о какой всё мелодии говоришь
 если бледность лица видна
 не смотри же ты на меня
 бегай дальше как серая мышь
 с одного на другое перебегай

а я буду смотреть на облако
 с переливами цвета тёплого
 оно света живейший источник

и летит и крошит позвоночник
 заблудившийся твой скоростной трамвай

Не пора ли и нам,
 лишённым оперения и больших крыл,
 залечь на самое дно горной реки?

И ничего не случится,
 так и подумают: *сом уплыл...* [сам]

Видишь круги на воде?
 Это мельтешат серебристые мальки.
 На суше маячат опытные рыбаки,
 надеясь поймать добычу.

Ещё не вечер.

А беспозвоночные дети
 умны не по годам —
 опасное пространство сами разграничат.
 Как зажжённые свечи
 в непроглядной темноте,
 чешуйками своими путь себе отыщут.

Я мог бы написать строку: *«На чердаке — светло»*,
но как в себе самом темнеет и теснится
изменчивое, шаткое древесное дупло,
где соловей живёт,
где соловей — не птица.

Горластый дурачок — теперь за всё в ответе:
вода сквозь родничок целованный лепечет
и не находит сил продолжиться хоть где-то,
и корни правоты не проросли до речи —

один-единственный до слова подрастёт.

...зелёное платье кружится около
такой же зелёной лёгкой листвы
картину зелёное переполнило
другие цвета вдруг стали резвы

другие цвета обижены жалко им
в тени оставаться свежего цвета —
не хочется быть особенно маленьким
на радуге долгожданного лета

а если случайно было всё сделано
тогда для чего нужна красота
зелёного выверенного тела но
такого свободного как мечта

О судьбе. О свободе. О чём-то таком невозможном сказать.
И о том, что размашисто впишешь в свою черновую тетрадь.

И об этом (размашисто выписанном) не узнает никто.
Абсолютно никто не узнает о том. Только Он, если что.

Только Он будет верно хранить этот непостижимый секрет,
а секрет, он на то и секрет, чтоб не знать: есть он или же нет.

Слышишь, в небе знакомом поднялся такой оглушительный звон?
Это Он говорит. Это звон говорит, что есть ты, что есть Он.

Елена Кадомцева

Плотина

Рассказ

1. Река

Она вернулась в конце июня. Обычно в это время как раз начинался отпуск, поэтому про увольнение родителям ничего не сказала. И про развод тоже. И про то, что квартиру уже сдала на полгода вперед.

В Т. стояла жара. Степной зной почти середины лета. В полдень не спасали ни сарафан из штапеля, ни шляпа. Пот выступал над верхней губой, скатывался каплями по вискам. Поэтому по городу она передвигалась перебежками — из тенька в тенёк. Из сумочки всегда выглядывала голубая крышка минералки. Каблуки впечатывались в разогретый асфальт. Она шла к реке. На старую набережную у собора. Хотя для Ольги набережная старой не была, она помнила, как её строили, громоздили валуны, сыпали желтый песок... Сейчас его отмыло до серого, жёсткого, на нём щедро росли пучки травы. А понтон, как и прежде, трепыхался между камышей.

Ольга прошла по выгоревшим тёплым доскам, сбросила босоножки, спустила сумку с плеча. Села на самый край, ноги — одну за другой — в воду. Так она готова была сидеть часами. Солнце отражалось от воды миллионами бликов, она прикрывала глаза или из-под руки смотрела вокруг.

Справа высился автомобильный мост. Он и склон давали благословенную тень после полудня. Влево река шла свободно, поворачивала, огибая город, чтобы еще дальше встретиться с другой — поменьше... Т. стоял между двух рек. Гуляя по городу, можно было спуститься то к одной, то к другой. Ольга чаще всего шла к этой. Та была ленивой, медленной, без пляжа, с заросшими муравкой берегами, с камышовым царством по краю... Эта и та. Так они были у нее в голове с самого детства. Потому что названия она всё время путала.

Куда идёт эта река дальше? Огибает сады, моет берег у профилактория, мельчает все сильнее, бежит между ив, петляет... Ольга прикрыла глаза. Ей часто снилось, как она летит здесь, над собором, над рекой, и вырывается за город, но город как будто другой. Или время другое. Когда не было ни застройки, ни дорог, только редкий березовый лес и степь... А река все равно бежала по этой земле. До всех нас. И после.

Елена Кадомцева (1986) — родилась в г. Троицке (Южный Урал). Окончила филологический факультет ЧелГУ. Работала учителем. Участник Всероссийской мастерской для начинающих писателей АСПИР (декабрь, 2022). Печаталась в региональных журналах («Огни Кузбасса» и др.). В журнале «Урал» печатается впервые.

Публикация осуществляется в рамках проекта «Мастерские» Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

Ольга облизнула солёные губы. Потянулась за бутылкой воды. Сколько бы она ни гуляла, куда бы ни шла, — всё равно приходила сюда. Словно река её звала. Иногда этот зов утихал, а иногда — она сделала глоток, аккуратно закрутила крышечку, — наоборот, становился сильнее. Река плескалась внутри — иди, иди!

Ольга поднялась, подобрала босоножки и сумку. Так куда же уходит река, опоясывающая город? Почему я никогда об этом не думала раньше? Почему сейчас думаю только об этом?..

Она сдвинула шляпу на затылок, поправила волосы.

Все реки — косы морской красавицы, что, раскинувшись, лежит на берегу. Тело её в море, лишь голова на краю земли.

«Что со мной делает жара! Я брежу».

Она всё чаще доставала бутылку из сумки, но вода не утоляла жажду. Ту жажду, что вела её по пустынным улочкам, по трассе, мимо заправок и оценивающих взглядов. В лесополосе стало легче. Деревья и облака приглушили беспощадное солнце. Она сняла шляпу. Ступала по рябой от солнечных пятен земле. Вот сбросить бы всё лишнее — сумку, босоножки, шляпу — и бежать, бежать, как в детстве, наперегонки с солнцем, смеясь и задыхаясь. Но тебе тридцать семь, и хотя ты не сильно потяжелела, ты не побежишь, нет. Ты стреножена. Статусом, обязанностями, привычным образом жизни. Ты, конечно, попыталась оставить самое тяжелое, отмершее, когда приехала сюда, но получилось разорвать только внешние связи — увольнение, развод. А внутри ты прежняя. Высохшая, пустая... Как яичная скорлупа.

Она шагнула из-под сени деревьев, берег здесь был обрывистый, река текла вниз. Её река. Ольга подошла к самому краю.

Река была. Страшно обмелевшая. Заболоченная. Едва виднеется среди камышей. Песчаные склоны сплошь в траве. Она облизнула пересохшие губы. Солёные, с привкусом земли. Пыль осела на коже. Весь Т. — город песка, дитя степи.

Надо пройти дальше, ещё дальше, за город, к старой купеческой даче. Память подсовывала картинки с густо разросшимся ивняком и речушкой, которую можно было перейти по камням. Она уже тогда была мелкой.

Ольга из-под ладони посмотрела вправо. Что это за безобразная глыба? Перемычка?.. Мост?.. Жаль, по этому склону не подойти, слишком круто.

Ей пришлось вернуться в лес, обогнуть странную постройку и слишком обрывистый берег и снова выйти к реке. Но реки уже не было. Было изуродованное, разрытое русло с копошащимися внизу людьми и скрипящим экскаватором, вгрызающимся в рыхлый светло-оранжевый склон. Стало понятно: та безобразная перемычка — плотина. Реку, её реку, которую она искала и столько раз видела во снах, осушили.

Ольга почувствовала, как песок осыпается под ногами — не заметила, как подошла к самому краю, — и в изнеможении опустилась на землю. Несколько комьев покатились вниз.

— Эй! — услышала она позади. — Вниз лучше не ходить, техника сильно шумит, могут не заметить. Задавят.

Голос был хриплый, то ли прокуренный, то ли пропитой. То ли спросонья.

Ольга обернулась через плечо. У дерева стоял парень в майке и растянутых на коленях джинсах. Взъерошенные светлые волосы, осоловевший взгляд. Вряд ли от жары. Ей стало неловко за свои голые колени и плечи.

— Хорошо. Я не пойду вниз. Давно здесь всё разрыли?

— Только начали. В мае, — он прищурился. — Ты не местная?

— Давно не приезжала. Вернулась вот... Мне, — она снова тревожно облизала губы, — нужно к реке.

— Откуда ты пришла? Из садов?

Ольга не слушала его. Она вытянула шею и рассматривала дно карьера, где-то там должна быть вода. Где же она?

— Пошли, — парень тронул её за плечо.

— Что? — она посмотрела на его расслабленно-вялую фигуру, склонившуюся над ней.

— Пошли к реке. Здесь нечего ловить.

— Я была там, — она мотнула головой влево, за плотину. — Там тоже мелко. Мне нужна вода. Много. Река. Большая. Которая была здесь.

С каждым словом в ней поднимался прежний зов, который привел её сюда. Шумел монотонно, заполняя. Иди, иди. Ищи, ищи.

Парень усмехнулся, понимающе кивнул — да-да, протянул руку, помогая подняться.

— Теперь здесь только песок. Я уж знаю. Работал там, — дернул плечом. — Пока не попросили.

— Плохо работал?

Его голос немного разогнал шум в голове.

— Подсидели. Ну и выпил маленько. Жара, — развел он руками. — Двинули?

Ольга кивнула. И они пошли обратно в город. Через лесополосу, трассу, частный сектор с пыльными песчаными улочками. Собаки лаяли им вслед, коты дремали на солнце в тени ворот. Цветы в палисадниках клонили головы, свесившись через ограду, в одном месте маки щедро окропили землю алыми лепестками. Лето было очень жарким. И май тоже. Всё рано зацвело.

По дороге она купила себе новую аква-минерале, а ему джин-тоник. Он благодарно кивнул и тут же вскрыл банку. Она рассеянно смотрела, как он жадно пьёт, утирает рот ладонью, улыбается... Она уже очень устала, и только настойчивый зов внутри понукал её идти. Но куда, Ольга не совсем понимала теперь. Что она ищет? Её река, река, которую она искала по памяти, высушена. Исчезла.

Когда она споткнулась в третий раз и с досадой посмотрела на каблук, чиркнувший по асфальту, он взял её за локоть и увлек к остановке — доедем на маршрутке. Выгреб мелочь из карманов, шлёпнул всю горсть на обтянутую дерматином поверхность: «За двоих!» Ольга села под открытый люк, запрокинула голову, на лицо веяло жарко и сухо.

— Быстро доедем! — Он плюхнулся рядом, посмотрел на её вытянутые скрещенные в лодыжках ноги. — Потерпи.

Ольга придержала подол, трепещущий на сквозняке.

Они выпрыгнули из дребезжащего «пазика» и пошли на площадь. Там гремела музыка и мужской голос бодро отдавал команды в микрофон. «Дамы и господа!» — било в уши, перекрывая вальсовые аккорды.

— Что это? — Ольга разлепила губы и недоумённо огляделась вокруг, площадь заполняли мужчины и женщины в старинных костюмах — платья, парики, фраки, жабо, кружева.

— Репетиция, — пояснил он на ходу. — Танцевать будут. К дню города, фестиваль какой-то. Я сгоняю, — кивнул на вывеску КБ, добавил торопливо: — Жарко. Парит.

Ольга рассеянно кивнула. Она шагнула с тротуара, рассматривая толпу ряженных. Дамы обмахивались веерами и украдкой почесывали вспотевшие под париками головы, кавалеры терпеливо потели, им вееров не полагалось. Сколько денег ушло! Как настоящие! Парча, тафта, атлас, кружево — пенится у ворота и по низу рукавов. Вспомнила. Мама же рассказывала, что местные ткацкие фабрики обе выиграли по гранту, вот и соревновались — у кого лучшая ткань получится. А костюмы — это реконструкция.

«Фестиваль исторического танца — вешал ведущий. — Дамы и господа, прошу построиться. Вальс. Потом полонез, мазурка», — сыпал он названиями. Ольга вглядывалась в лица, пытаясь найти знакомых. Где столько желающих набрали? Наверно, студентов с истфака привлекли, в качестве обработки. Она улыбнулась. А, вот кажется! В лиловом, с турнюром.

— Наташа!

— Оля!

А дальше завертелось: «Как ты вовремя! Не хватает партнёрши одному нашему товарищу, заболела, а сегодня генеральная... Да ты его знаешь, Олег, Олег Николаевич. Преподаёт иностранные, латынь и английский. Как не застала? А, ну может. Давай скорей. Сейчас подберем, я точно видела на твой рост. Вот это, зелёное. Почти как у тебя, только подлиннее. Ха-ха-ха. Да и чулки тоже, обязательно. Аутентично всё должно быть, понимаешь? Ладно, можешь без парика. Пошли, зовут уже!»

Ольга выдержала только вальс. Хотя Олег Николаевич оказался очень удачным партнёром — немногословным, внимательным, музыку чувствовал безупречно и вёл тоже. Ольга только успевала ноги переставлять. Его рука на талии деликатно подталкивала: налево, направо, назад. А ведь не в танце она бы ни за что не подумала, что он — такой: пружинисто-быстрый, ловкий. На вид обычный мужчина плотного сложения, лысеющий, волосы и борода — в рыжину, не густые. На нем был тёмно-синий камзол с золотым шитьем и шнурами. И белые узкие брюки. Как у гусара. И перчатки, тоже белые. Угас последний аккорд, но он не спешил убирать руку с её талии. Смотрел вопро- сительно: продолжим?

— Голова закружилась, простите.

Ольга вывернулась из его рук и поспешила к скамейке, где оставила сумку и пакет с платьем и босоножками.

«Смена партнёрш!» — огласил ведущий. Олег Николаевич посмотрел ей вслед через плечо, удаляясь с дамой в сливочно-жёлтом платье.

Ольга вытянула бутылку из сумки и жадно отпила. Вода плеснулась на кружевной ворот, побежала по груди. И снова зазвучало, забило внутри набатом — к реке, к реке, иди, иди.

Здесь же совсем близко. Ольга закрутила крышку, подобрала тяжелый подол и пошла к узкой железной двери — выходу на тихую улицу, от которой полого вниз спускалась ещё одна, до самой реки.

Бутылка одиноко покатила по ребрам скамейки.

Ольга шла быстро, вот миновала длинную белую стену собора за чёрной кованой оградой, мальчик и пёс на обочине проводили её любопытными взглядами. Пёс лениво твякнул, а мальчик подтянул брякающий самокат и, оттолкнувшись, помчался.

Ольга шла дальше, мимо высаженных лет десять назад дубов, ещё не набравших силу, лип, роняющих листья в жару, и по деревянной лестнице вниз, к воде, где колыхался тёмный понтон, с которого она зачем-то ушла днём.

На лестнице она потеряла башмаки, один соскочил, второй сама скинула. Чулки остались лежать белыми змеями на песке. Но платье! Тяжелый душный ворох юбок и кружева не стянуть одной. Шнуровка на спине. Она помнила, как Наташа ругалась, протягивая плотный новенький шнур через узкие петли. Ре-кон-струк-ци-я! Она рванула ворот. Бесполезно. Огляделась. Солнце уже не жгло, мягкий вечерний свет ложился на воду. Пляж был пуст. Только одна пара с детьми гуляла там наверху, на смотровой площадке. А вон там, она прищурилась... Её давешний знакомый на удивление ровной походкой спускался по лестнице, на третьей ступеньке доска подпрыгнула, он ругнулся. Да, там башмак я и потеряла.

— Так ты танцевать шла, а я думал, купаться. Всё твердила — к реке, к реке. Воду вот тебе купил, — он улыбнулся хитроватой улыбкой и протянул полуторалитровку минералки. — Ты думала, я за бухлом ходил?

— Да! — Ольга выдохнула сердито, повернулась к нему спиной. — Развяжи.

— Оп! Ну, дела. Сейчас.

Поставил бутылку на песок. Она слышала, как шуршит шнур, выдерживаемый из петель, и чувствовала нетерпеливый жаркий выдох над ухом — на каждый рывок.

— Свободна.

Отступил на шаг. Ольга обернулась, придерживая платье на груди. Весь хмель из его глаз выветрился.

— Спасибо.

Платье тяжелой копной осело на песок. Сорочка, надетая под ним, сошла бы за её зеленый сарафан по длине и плотности. Ольга шагнула к понтону.

— Я туда. Пойдём у воды посидим.

Он кивнул.

Вода шлёпалась мелкой волной о борт, было видно, как глубине шевелятся водоросли. Ольга сидела, уперевшись руками в доски, и взбивала брызги ногой. Он сидел по-турецки, молчал и курил. Смотрел на воду.

— Меня Игорь зовут, — обронил между затяжками.

— Я Ольга.

— Пляж на той стороне. Но через мост надо обходить, долго... Зачем тебе река?

— Она зовёт меня. Звала... Здесь тише, а там, где плотина, сильнее.

— Ясно, — он щелчком выбил окурок в камыши. — Там давно вода ушла.

Плотина просто так стоит.

«Та вода в глубине. Она вернётся. Я знаю. Не надо держать её в узде. Не надо!» Ольга подтянула тело к краю, скользнула в воду и поплыла. Белое платье, рыжая линиялая голова.

До того берега. Или до буйков. И обратно. С каждым гребком она чувствовала, как вода смывает пот, пыль, усталость и бессилие этого дня и всех дней, что были до. Муж. Карьера. Лицей. Волна бьёт в лицо. Она слышит шлепок тела о воду, не оборачивается, плывёт упрямо. Дни, когда я только спала. Не ходила к воде. Да и вода в городе Ч. меня не звала... Полжизни я думала, что иду прямо, что живу, как надо, и только когда приезжала сюда, то понимала, что мне совсем другое надо. Но что?! Что? Не успевала узнать. Всего неделя. Мало. Потом Таиланд, Крым, Фарерские острова. Антон зарабатывал хорошо. Да и в лицее премии за олимпиадников давали. Платья, туфли, ремонт. Техника. Шуба. Развод. Из-за одного разбитого в сердцах бокала. «Я больше так не хочу!» Не крик. Шёпот в ладони. «Мне пусто. Слышишь? И я не знаю, чем заполнить эту звенящую пустоту».

Ольга хлебнула воды, судорожно вздохнула, носоглотку ожгло.

«Я вернулась, чтобы узнать».

— Эй! — дышит шумно, сопит, брызги летят из-под руки и бьющих по воде ног. — Приормози. Давай отдохнём!

— Как?

Тут же перевернулся на спину, раскинулся звездой.

— Вот. Смотри.

— Я... так... не умею.

— Брось. Это легко. Только... Расслабиться надо.

Ольга мотнула головой.

— Ложись мне на руку. Я подержу. А потом... Сама... Поймёшь... Как надо.

Он говорил с паузами. Бледная грудь под плёнкой воды часто вздымалась. Загорелые до плеч руки, и шея, и лицо. Типичный городской парень. Ольга глубоко вздохнула и прикрыла глаза.

— Ну? Давай, — позвал, повернул голову набок. — Ты уже далеко заплыла. Отдыхать надо.

Ольга перевернулась на спину, но расслабить шею и опустить голову, как и раньше, не получилось. Почувствовала между лопаток его ладонь.

— Раскинь руки. И ноги. Просто лежи. Глаза закрый.

— Не могу! Я...

Он как-то неуловимо быстро и плавно подплыл под неё. Её голова оказалась у него на груди — между ключиц, руками он взметнул её руки в стороны, не давая ей сжаться в комок.

— Просто лежи. Небо... Смотри, какое.

Ольга открыла глаза. Там плыли облака. Розовые, с развеянными на ветру краями. Птичий росчерк. Светло-серый. Чайка. Приглушенная вечерняя синева. Серо-голубая даль. Где-то с краю уже зажглась звезда. Ольга прищурилась. Или спутник. Или самолёт.

Её руки лежали поверх его рук — пальцы на запястьях. Она чувствовала равномерные лёгкие гребки. Хоп-хоп.

— Дрейфуюем. Поняла, как надо?

— Нет.

Он рассмеялся.

— Ну, лежи. Потом на пляж?

— Давай обратно. Тебе... Не тяжело?

— Когда я пойду на дно, ты почувствуешь, не сомневайся.

— Любишь воду?

— Чего?

— Плавать, ходить... Ну, быть в ней.

— Люблю, когда она во мне. Особенно в жару. А так не. Не моё. А ты пловчиха?

— Где уж! Так... Просто люблю. Зимой бассейн.

— Что ж тебя никто не научил дрейфовать?

— Я боялась.

— Чего? Это ж то же самое, что плыть, только другой стороной.

— Нет. Надо доверять.

— Кому?

— Воде. Себе... Как тебе сейчас.

— Да. Мне лучше доверять. И не пропадать с радаров.

— Что?

— Пора! — Он обхватил её рукой за плечи и перевернул.

В воде Ольга была быстрее. Но у понтона ей не удалось подтянуться. Высоко. Она жадно хватала воздух ртом, придерживаясь рукой за край. Он, отфыркиваясь, взобрался и протянул ей руку.

— Давай.

Она легла на присыпанные песком доски, слушая надсадный стук сердца. С сорочки и волос натекла лужа. Но сухое прогретое дерево быстро впитывало влагу.

— Эй, ты только не усни.

— Не усну, — покачала головой. — Мне ещё платье вернуть надо.

После воды тело страшно отяжелело. Вся нахоженная за день усталость накрыла, словно крышкой. Ольга едва поднялась. Отжала подол. Вода с коротких волос капала на плечи, стекала по подсохшей спине. Посмотрела, как он прыгает, вбивая мокрые ноги в узкие джинсы.

На набережной по-прежнему почти никого не было. Ольга нашла платье и шагнула в него, мысленно готовясь натянуть все эти юбки, кружева и жесткий корсаж. Игорь подоспел вовремя. Но затянуть шнуровку оказалось не так просто, как распустить. Он ругнулся раз, другой.

— Слушай, иди так! Петли слишком узкие.

— Позвольте мне.

Сидевший на скамейке мужчина поднялся и шагнул к ним. Ольга узнала Олега Николаевича. В руках он держал её сумку и пакет с одеждой. Свой синий камзол он сменил на клетчатую рубашку и джинсы.

— Вы принесли мои вещи! Спасибо, — Ольга улыбнулась и облегчённо вздохнула.

— Да. Только здесь негде переодеться, — он развёл руками. — Придётся вернуться в университет.

Смотрел он доброжелательно и в то же время цепко. Смотрел на Игоря за её спиной. Тот передёрнул плечами, засунул руки в карманы — валяйте, мол. И пошёл, подобрав на ходу оставленную на песке полуторалитровку минералки.

Шнур входил в петли с трудом, но сноровки у Олега Николаевича было больше, он не сдавался — тянул.

— Новые, ещё не разношенные, — говорил с усилием. — Я вижу, вам не очень понравилось... Танцевать.

— Меня Наташа попросила. Но вы правы — сложно. Жарко, неудобно. На любителя. А я не он.

— А я вот втянулся. Отдушина. И тело в тонусе. Не хуже тенниса. Стареть надо бодро, — закончил он. — Всё, можно идти.

— Спасибо. Я босиком, — качнула она головой на протянутые чулки.

— Вам нехорошо стало на жаре?

— Да. Мне нужно было к реке, — Ольга странно повела головой, словно прислушивалась к чему-то внутри себя.

Через калитку они вернулись в университетский двор. После репетиции здесь было до сих пор многолюдно. Кто-то играл, молодежь обступила парня с гитарой. Кто-то катался на скейте. Шуршали колёса. Олег Николаевич проводил её в кабинет на первом этаже. Там было темно и прохладно. Старое здание, пол, выложенный плиткой. Толстые стены, полукруглые широкие окна. Ольга проучилась здесь пять лет. В этом кабинете у них шли совместные пары с юристами, что-то из истории. Или латынь. Рассеянно думала она, вытягивая поочередно руки из рукавов. Затем позволила подсохшей сорочке упасть на пол. Нырнула в свой зелёный штапельный сарафан. Босоножки оставила в пакете. Провела рукой по спутанным волосам.

Вышла во дворик. Олег Николаевич сидел на скамейке, уперевшись локтями в колени, подбородком — в сцепленные пальцы. Задумчиво смотрел на плитку под ногами.

— Я готова, — Ольга шагнула к нему. — Платье оставила там на стуле. Надеюсь, я его не испортила.

Он выпрямился, скользнул взглядом по её босым ступням и выше — по коленям, кроме платья — до плеч.

— Пойдёмте, — не торопясь, поднялся.

— Я прогуляться хочу.

— Хорошо.

Они шли исхоженным ещё в юности маршрутом — по Ленина, по Советской. Молчали.

— Вам не больно? — он вскользь посмотрел на её босые ноги.

— Что? — Ольга очнулась и замерла.

— Снова нехорошо? — он заглянул в её бледное лицо с лихорадочными тёмными глазами.

— Я...

Как объяснить ему, что меня зовёт река? Тот, молодой... Игорь... Не спрашивал, просто вёл, душой считал или больной, но вёл. А этот... Слишком крепко на ногах стоит — не оторвать. А может, это и хорошо? Так и надо. Я удержусь за него. Заглушу этот зов в голове.

— Холодно, — она обхватила плечи руками, выдавила улыбку.

— Я живу вон там, — он кивнул, — через дорогу. Ольга, — помедлил.

— Что?

— Я знаю вас давно. Заочно. Через бабушку. Моя дружила с вашей.

Ольга кивнула.

— Моя умерла два года назад.

— Моя ещё раньше. Расскажите о себе, пока идём. Мне кажется, вам надо поговорить.

— О себе? — она подавила горький смешок. — Мне тридцать семь, я учительница в лицее. Была. Уволилась вот... Замужем тоже — была. Почти семь лет. Жили хорошо... Много путешествовали. Но... Знаете, так бывает, что всё вроде бы хорошо, всё есть. Но словно какой-то зазор остался незаполненным. И в него... Дует. Понимаете? — Она с сомнением заглянула в его лицо, он кивнул. — Не всегда. Но регулярно. Особенно весной. После зимы. Когда вы-

идешь после уроков, а солнце бешеное, март, грязь эта, бычки везде, клочья снега, всё серое, пыльное. И всё равно красиво. Потому что солнце и небо, облака бегут, зовут за собой. Особенно за городом. У нас окна на лес были... Жизнь чувствуется иначе. Всё вокруг оживает. И ты становишься... Тоже живая. Вот тогда в этот зор особенно дует. Сквозит. Если я приезжала в Т., сюда, к родителям, то тоже — сквозило. И казалось, вот-вот я пойму, чего же мне не хватает. Но не успевала, — она развела руками. — Жизнь бежала дальше, отпуск, поездки... Моменты уходили.

— Да, я понимаю.

Они перешли по пешеходному и завернули во двор, остановились у подъезда.

— Подруги говорили — роди ребёнка. Но он не хотел, — Ольга отвела со лба прядку волос. — Мы хоть и поздно поженились, но всё жили для себя... Это вы тоже понимаете?

От потока слов в голове её прояснилось, и к ней вернулась былая колкость.

Но Олег Николаевич лишь невозмутимо хмыкнул, засунул руки в карманы.

— Я человек старой закваски, Оля, — усмехнулся. — У нас было не принято — для себя. Но я и не святой. Два развода. Сын. От первого брака. А сейчас, считай, вообще вышел в тираж, — он миролюбиво улыбнулся. — Подниметесь? Не передумали?

— Не передумала.

Она сидела на диване, подобрав озябшие, вымытые от уличной пыли ноги. В комнате было сумрачно — за окном росли огромные тополя, но она попросила не зажигать свет. Эта квартира была очень похожа на ту, в которой она росла. Темное полированное дерево столика и «стенки»: полки с книгами (она глянула мельком, классика, фантастика, профлитература) и сервант. Диван и кресла обновленные. А паркет, выглядывающий из-под ковра, тот же самый. «Ему сносу нет», — любила говорить мама.

Олег Николаевич принес две дымящиеся кружки с чаем. Поставил на журнальный столик.

— Добавил мяту, — пояснил он.

Ольга рассеянно кивнула. Глаза её снова нехорошо, тревожно блестели.

— Я готов слушать дальше, — он сел в кресло, подался вперёд, уперевшись локтями в колени.

— Не знаю, о чём говорить, — она облизнула сухие губы, попробовала обжигающий чай.

— Мне показалось, вы что-то ищете.

— Реку, — выдохнула она, отставила чашку и откинулась на спинку дивана. — Реку, что была, но иссякла. Но я слышу её.

— А что тот парень?

— А-а-а, он... Он учил меня дрейфовать. Я его случайно встретила у карьера, там, за городом, когда искала... Вы думаете, я сошла с ума?

— Я думаю, вам нужна помощь, — Олег Николаевич смотрел внимательно и немного грустно.

— Больница?

— Участие, внимание, забота — как вам привычнее. Вижу, чай вам не по вкусу пришёлся. Из напитков у меня остался только кофе и коньяк. Хотите?

Она рассмеялась.

— Хочу. Давайте даже без кофе.

Он принёс початую бутылку и две хрустальные рюмки. И воспоминания вновь нахлынули на неё. Студенческие шатания по весеннему городу в компании местных рокеров, разговоры о музыке, а больше о жизни, стихи, свои, чужие, шутки про «Александра» (бутылку коньяка со звучным названием). «Мы с «Александром»». Она перевела взгляд на стол. Здесь «Коктебель». И резной хрусталь. Тоже до боли знакомый. Тот бокал, что она в сердцах приложила

об пол, был раритетным, коллекционным. Свекровь подарила. Разбился он на удивление легко. Звучно. Как и их брак. Бряк — и всё.

«Ты сумасшедшая!» — отшатнулся муж, когда она вслед за первым отправила на пол второй, и тарелку, и графин, и...

«Да, — почти пропела она. — Не жди, что я исцелюсь, исправлюсь, поумнею. Ничего не жди! Иди. Уходи!»

С каждой новой разбитой вещью внутри сквозило всё сильнее. Ширился, ширился зазор в груди. И нечем его было заполнить. Пус-то-та.

Коньяк окрасил прозрачное, резное нутро в нежно-янтарный. Ольга пригубила. Тепло. Жадно потянулась ещё. Поперхнулась. Грудь сдавило. Рюмка выскользнула из руки, покатила на ковер. Не разбилась. Ольга, замерев, смотрела на неё.

Олег быстро, пружинисто — совсем как в танце — поднялся, пересел к ней на диван. Стрём рюмку с пола в ладонь, поставил на стол.

— Ольга.

— Ничего мне не говори. Ничего, — вытолкнула она с трудом, едва отдышавшись от кашля.

— Хорошо, — ладонь легла ей на плечо. — Хорошо.

Даже ласка, даже тепло... Не смогли. Ольга смотрела, как белая занавеска колышется сквозняком у балконной двери. Не помогли, а лишь, наоборот, усилили то, что занялось прежде. Тревожный ищущий зов. Приди, приди. Это вода? Или я сама? Зову себя. Пробую то, чего раньше не позволяла. Дрейфовать учусь. Она вспомнила тихое покачивание на воде, ладонь под спиной, тишину неба. И тишину внутри. Вот тогда не сквозило. Но я снова не успела понять, что для этого надо!

Ольга встала с дивана, подошла к балкону. Через белую штору просвечивали деревянные рамы в сливочно-белых разводах старой краски. Под напором воздуха ткань прильнула к лицу, груди, животу.

Что я ищу? Почему слышу ту запертую воду? Может, стоит просто сказать ей (и себе!) — иди! Беги. Живи. Наполняй эту песчаную яму, мой берега! Пробуй. Больше не лги себе, что всё хорошо, не притворяйся. Поверь той силе, что проснулась в тебе и покоя не даёт.

Вот что тебя зовёт!

Так дай ей ход. Впервые за всё это время поверь. Что ты можешь. Что ты знаешь: плывут облака караванами, несутся облачные стада, почки весной раскрываются от силы и тепла. От силы (твоей!) и тепла (тебе подаренного!). Ты не верила. Ты спала. Прячала лицо в ладонь. Плакала от бессилия и пустоты. Но вскрывается весной река. И под дождём тех хрустальных осколков вскрылась твоя душа.

Ольга отвела занавеску в сторону, шагнула на балкон. Металлические рамы, припыленные стёкла, какие-то вёдра, коробки, рюкзак, приваленный к стене. Пепельница из старой консервной банки, полная окурков. Наверно, копят здесь годами. Уминаются, оседают пеплом. Она протиснулась мимо хлама, потянула на себя створку. Свежий воздух раннего предрассветного часа окатил её плечи и грудь. Внизу за тополями ярким пятном выделялась новенькая детская площадка. Она помнила этот двор совсем другим — с древними скрипящими качелями и горкой. Приходила сюда к кому-то в гости. Вспомнила и Олега теперь. Олежка — так звала его бабушка. Он был лет на десять-одиннадцать старше, внук закадычной бабушкиной подруги. Учился, уехал, женился, приехал. Потом она перестала запоминать, да и с бабушкой разговоры стали короткие, общались чаще всего по телефону...

Она стояла перед окном, пока розовые отсветы зари не легли на стёкла соседнего дома. Всё тело покрылось легкими мурашками. Пора. Тенью вернулась в комнату, натянула сброшенное платье, в коридоре на ощупь нашла свою сумку и пакет с обувью, вышла, притворив дверь как можно тише. Внизу на лавочке обулась. И пошла по ещё сонному городу домой.

2. Плотина

Дома она проспала шесть тяжёлых дневных часов, пока город мучили зной и духота. Вышла под сизое от туч небо. Парило. Ветер тянул песок и клочки бумаги по тротуарам. Ольга закрепила шнурки на кроссовках и пошла к плотине.

Разговор с родителями напоминал диалог из абсурдной пьесы. Ольга сначала не поняла ни осуждающее молчание отца, ни неодобрительные, но сдержанные вздохи мамы, скользила взглядом по их лицам, не в силах зацепиться: что она сделала не так? А потом вспомнила, что не сказала им про развод. Они всё ещё подгоняют её под прежнюю мерку, под прежнюю жизнь, которая оказалась пустой коробкой, нет, рамкой. Всего лишь красивой рамкой.

«Я ничего не должна Антону. И он мне тоже. Да, давно уже. Вот так, да. Теперь врозь. Мне не жаль, мам. Не хотела вас расстраивать, поэтому не сказала сразу. Да и просто — забыла».

«Как так — забыла!»

«Как дерево забывает лист, сброшенный осенью».

«Что такое ты говоришь!»

«Не знаю... Я лучше пойду прогуляюсь. Где мои кроссовки?»

Ольга шла, не торопясь, без прежней лихорадочной мути в голове. Теперь ей просто хотелось получше рассмотреть то место. Плотину, котлован. Она хорошо помнила реку у старой купеческой дачи — быструю, мелкую. Солнце танцевало бликами. Ивы полоскали ветви. Сейчас всего этого нет. Дача сгорела несколько лет назад, а река... Реку сгубила плотина. Заперли воду, осушили. Ольга вытерла вспотевший лоб рукой, пожалела, что не взяла воду с собой — торопилась из дома выйти. Сегодня было пасмурно — впервые за несколько недель, но по-прежнему очень жарко, душно. Тучи вон ползут. Да вот только грозы отгремят вокруг, а в Т. не заглянут. Как всегда.

Она с облегчением зашла в лесополосу. Шум трассы остался позади. Когда она вышла из-под сени леса, её снова встретила тишина. Техника молчала, не было слышно ни рокота моторов, ни старающихся перекричать их голосов людей. Обеденный перерыв? Выходной?.. Она подошла к обрыву и посмотрела вниз. Экскаватор и бульдозер замерли между куч песка. Дно карьера покрывала вода. Кое-где она поднялась уже до середины мощных гусениц, ещё немного — и подступит к кабине.

Река! Река вернулась! Мутная, тёмная, со щедрой песочной взвесью.

А там что? Ольга посмотрела на плотину. Что там за ней? Когда-то там должна была быть запруда, но река продолжала мелеть, и когда русло окончательно пересохло, то с этой стороны вырыли карьер. Но теперь река вернулась! Она снова посмотрела вниз, себе под ноги, — песчаные кучи торчали из воды, как макушки великаньих голов. Зачем вообще нужно было строить плотину? В практически приграничной зоне. На мелкой речке, вокруг которой сады, дачи, а в основном степь. Чья это затея? Какого безумного градоначальника? Заглохший проект родом из 90-х? Или свежая авантюра? Типа тех, когда после выкладки «экспертов» отчислялись деньги, а потом всё сливалось? Поначалу муж, смеясь, рассказывал ей, как это делается. Потом перестал. Она слушала молча, без улыбки, не понимая: зачем? для чего?

«Так делаются деньги», — бросил он один раз, разозлившись, и рассказывать о работе перестал.

Здесь тоже хотели сделать деньги? Она окинула взглядом всю площадку. Абсурд.

— Привет.

Ольга обернулась. Игорь. Всё те же джинсы, майка, взъерошенные волосы. Похоже, он бессменный сторож этого места.

— Привет. Что там произошло?

— Грунтовые воды. Михалыч предупреждал, — он усмехнулся, подошёл ближе. — Но его не слушали.

Ольга кивнула.

— Река возвращается.

— Как ты и хотела.

— Почему она так обмелела?

— Мусор, слив отходов, ила всё больше, движения меньше.

— А плотина?

— Что плотина?

— Её для чего строили?

— Не знаю. Она давно здесь, мы ещё подростками по ней лазили. Сторож бухал. Молодёжь часто тусовалась. Года два назад о ней вдруг вспомнили, но река пересохла уже, поэтому копать начали, особо не заморачиваясь. Хочешь туда? — он кивнул на бетонную полосу, узкую, наспех построенную, с ржавыми ограждениями по верху и чёрными дырами сухих сливов.

— Хочу.

— Пошли!

Он повёл её прямо по песчаному обрывистому склону, который вчера Ольга предпочла обойти — через лес. «Я знаю, как пройти, шагай прямо за мной». Ольга старалась не смотреть вниз, в мутную воду. Песчаные ручейки срывались там, где от кроссовок оставались слишком сильные следы. «Быстрой», — Игорь протянул ей руку, вытаскивая на широкую полосу из щебёнки, ведущую к бетонному забору с сизой облезшей дверью. Кирпичная кладка возле двери выкрошилась усилиями времени и любителей полазить по заброске.

— Здесь можно перелезть. Я подсажу, если надо.

— Лучше помоги спуститься.

— Ладно.

Он взобрался легко, на раз-два, перекинул ногу, весело подмигнул ей и ухнул вниз, завалившись на бок. Ольга вскрикнула. Мальчишка! Тронула шершавую стену рукой. В детстве она лазила невысоко, осторожно, всегда шла последней, чтобы не толкали и не торопили. Она не доверяла шатким камням. И слишком самоуверенным парням. Здесь вроде невысоко. Всего метра полтора. Я спрыгну. Удар отозвался гулом в пятках и ладонях. Ольга поморщилась, выпрямилась, отряхивая руки. Игорь шутливо присвистнул, отступая в сторону:

— А как же страховка?

— Оказалось ниже, чем я думала, — Ольга улыбнулась и медленно пошла вдоль ограждения.

Остановившись в середине и долго смотрела на воду внизу. Игорь стоял, прислонившись спиной к ржавым прутьям, шедшим от одного бетонного столба к другому. Он смотрел на неё. Ветерок шевелил её короткие тёмные волосы, лицо было спокойным и собранным.

— Как быстро поднимается! — Ольга порывисто обернулась. — А что будет, если она дойдёт до шлюзов? — Она снова повернулась к реке и, наклонившись, посмотрела на дыры внизу.

— Не знаю. Заслонки закрыты, скорее всего.

— Воде некуда идти. Вместо русла теперь яма и барханы. Кто отвечает за всё это?

Он пожал плечами.

— Меня нанимал Алим. А теперь ни Алима, ни налима, — и он посмотрел через плечо на воду. — Ого, уже метра два будет.

— Чем ты занимался до стройки? — Ольга встала рядом с ним, прислонилась спиной к ограде.

— Таксовал. Грузил, разгружал, ремонтировал окна. А, ещё курьером. Пару месяцев.

— А живешь где?

— В садах, — он улыбнулся. — Пока лето. Старый домик. Старый диван. Яблони и вишни прямо в окно.

Ольга кивнула, улыбаясь.

— У моих родителей такой. За Токарёвкой. Нравится тебе такая жизнь?

— Какая? — он запрокинул голову, потянулся, вскинув руки.

— Ну... Бесцельная.

— Бесцельная? — он попробовал рукой верхний прут ограды за спиной, но садиться на него не стал. — Почему? У меня есть цель.

— Какая?

— Это моя великая тайна, — он улыбнулся, наслаждаясь её озадаченностью. — Ты вот думаешь, я простой выпивоха-разнорабочий, без образования, без дома и, значит, без цели. Ты права — корочек у меня нет. Только справки, — он рассмеялся. — По два курса в колледже. Фотограф. Компьютерщик.

— Ты учился на фотографа? — она удивленно тряхнула головой. — А почему бросил?

— Да так... Влез в долги. Технику продал. Перевёлся.

— А где ты учился?

— В Ч. В колледже сервиса.

— Надо же! Я там работать начинала.

— Ага. Я тебя помню, Ольга Валерьевна.

— Ты?.. — Ольга повернулась к нему, недоумённо нахмутив лоб.

— На моём потоке ты ничего не вела, но я тебя запомнил.

Она покачала головой.

— Не может быть! Хотя это было давно... Сколько тебе лет?

— Тридцать.

— Врешь.

Он рассмеялся и, оттолкнувшись от перил, встал прямо перед ней, раскинув руки, — ну, смотри.

Ольга смутилась. Парни, конечно, стареют медленнее, но не могла же она ошибиться на десять лет!

— Ладно, верю.

Она хотела отойти, но он буквально поднырнул под её взгляд — нет, ты посмотри. Посмотри на меня. Ольга вздохнула, сдалась. Голубые глаза в выгоревших светлых ресницах, чуть вьющиеся от жары волосы надо лбом, улыбка, оживляющая всё лицо. Абсолютно незнакомое лицо. То ли оболтус, то ли шут, то ли герой чьего-то романа.

— Значит, ты меня запомнил, — Ольга обернулась к воде, прислонилась правым боком к ограде.

— Да.

— Я сильно изменилась?

— Нет.

— Да, — она задумчиво провела рукой по шершавой от ржавчины перекладине. — За это время не было ничего, что меня изменило. Почему я совершенно не помню тебя?

— Какая разница.

— Пятнадцать лет прошло...

— Твоей бесцельной жизни.

— Что?! — она обернулась так резко, что перила жалобно скрипнули.

— Ты сама только что сказала, что не было ничего — пустая жизнь была. Помнишь, ты спрашивала, что будет, если вода поднимется? Вот она поднялась. Но плотина в обратную сторону не работает. А с этой стороны русло разрыли, насыпали песка... Это будет просто карьер со стоячей водой. Он не станет рекой. Недостаточно вернуть воду, надо ещё дать ей путь.

— Нет, — она зажмурилась и тряхнула головой. — Нет. Так не будет.

— Плотина заброшена. Заслонки закрыты. Да и воды пока маловато.

— Так открой их! — она ударила ладонями по перилам.

— Пока вода не поднимется до шлюзов, никто ничего делать не станет.
 — Вы заперли воду, вы рыли землю! — она снова и снова ударяла ладонью по ржавому пруту. — Глупо, бесцельно, просто так!
 — Я ничего не рыл, успокойся.
 Он стоял, засунув руки в узкие карманы, покачивался с пятки на носок. Ольга перегнулась через перила и отчаянно всматривалась в тот берег, где высились кучи вырытого песка, перекрывшие старое русло.
 — Так не должно быть, — упрямо повторила она.
 — Пошли отсюда.
 — Иди. Я останусь.
 — Как хочешь, — он легко развернулся и пошел вдоль ограды, но не обратно — к двери, а в противоположную сторону.

Ольга всё смотрела и смотрела на воду. Серую, мутную, подымающуюся со дна. Упрямую воду. Ей не хватает силы. Нужны дожди, чтобы вода поднялась ещё выше и смыла все преграды. Много-много небесной воды для топкого дна. Ну почему, почему грозы обходят город?! Она ещё сильнее навалилась на перила. Воде нужна дорога. Мне тоже очень нужна она...

Ржавый прут под её рукой резко ушёл в сторону, выскочил из пазухи. Ольга потеряла равновесие, дыхание перехватило, она видела, как осколками старого зеркала вода приближается к ней. Железные прутья резанули по животу, по ногам — она летела вниз.

3. Дождь

Дождь шёл вторую неделю. Резко похолодало. Но Олег Николаевич не роптал, он любил, когда свежо. Спал по-прежнему с открытым балконом, белая занавеска скользила бахромой по паркету. А вот к стуку капель по карнизу не сразу привык. «Если так пойдёт дальше, — шутил он с коллегами, — то придётся переименовать город в Макондо». Впрочем, такое лето уже было, в 2014-м. Из всего, что тогда было, вспоминалось легче всего именно бытовое, обыденное — холодное дождливое лето.

Олег Николаевич посмотрел на парня, сидящего перед ним. Откинутый на спину капюшон толстовки, ёжик светлых волос, палевые пятна щетины на щеках и взгляд, как тогда на пляже, — чуть насмешливый, но беззлобный. Они укрылись от дождя в домике на игровой площадке, сидели за столиком друг напротив друга. Парень ждал его у подъезда.

— Мне нужно поговорить с вами. Об Ольге.

Первым желанием было двинуть в плечо и пройти, хлопнуть дверью перед чересчур любопытным носом. Но он знал, кто вытащил Ольгу из воды. И эту правду в угол не запихнёшь.

— Идём, — мотнул головой. — Она без изменений, в коме.

— Это я знаю.

— Прогнозов не дают, — Олег Николаевич протиснулся между столом и скамейкой, сел, подождал, пока парень устроится напротив. — Сотрясение, хотя внешних травм нет.

— Она не успела удариться. В воду она упала уже в отключке. Воды наглоталась, это да. Но у меня получилось вытрясти из неё почти всё. Вода вышла, а она даже глаз не открыла.

— То есть остановки дыхания не было?

— Не знаю. Может, и была. Её вырвало водой, она кашляла, дышала. Но не проснулась потом.

Олег Николаевич развёл руками.

— Я не врач.

— Я тоже.

— Так чего вы от меня хотите? О чём пришли говорить?

— Вы видели её накануне, говорили с ней... Наверно, знаете, что она искала реку. Я думаю, вода в карьере не просто так поднялась — именно тогда,

когда она её искала. Ольга как-то связана с ней. Пока воде не будет выхода из карьера, Ольга не очнётся. А пока она спит, идёт дождь. Воде нужен путь.

— Это бред.

Парень откинулся на спинку скамейки, посмотрел внимательно, сказал очень медленно.

— Вы же были... достаточно близки. Неужели не поняли?

— Что я должен был понять? Да, она была немного не в себе, встревожена, её лихорадило... Я думал, ей нужна забота.

Он покачал головой.

— Свобода. Забота — после.

— Ну, тогда мы оба ошиблись. И я, и она, — Олег Николаевич вздохнул. — Это была очень странная встреча.

Парень напротив кивнул.

— Возможно. Сейчас важно другое. Надо выпустить воду из карьера. Я уже обошёл всех, кого можно, но концов не сыскать, кто в отпуске, кто просто забил. А дожди идут, вода поднимается.

— Хорошо, что я могу сделать?

— Надо вернуть реку в старое русло. Не ждать, пока смоем всё — берега, плотину. Я был на карьере, там начали ставить отводную трубу, но бросили. Деньги кончились. Хотя осталось немного. А ещё можно открыть заслонки на плотине. Вода как раз на уровне шлюзов. Она найдёт себе путь.

— Допустим, я тебе поверю.

— А мне больше и не надо, — быстрая улыбка озарила его лицо. — Ваша задача — заслонки, моя — доделать отводную трубу. Там немного подкопать, даже техника есть.

Олег Николаевич задумчиво оперся подбородком о сцепленные в замок руки.

— Заслонки, говоришь... А если Ольга не проснётся, а дождь прекратится сам собой?

— Она проснётся, только если мы сделаем так, как я говорю. Готов поспорить, — парень обезоруживающе улыбнулся и накиннул капюшон, готовясь шагнуть обратно под дождь.

— Погоди. А почему именно я? У тебя что, кореша нет, который бы просто открыл эти заслонки?

— Нет. Даже если бы был. Нужен тот, кто будет не просто делать... Кто будет знать, для чего. Вы и сами это поймёте, как только перестанете твердить: это бред. Просто вспомните Ольгу. Она ведь вам очень близко показалась.

Олег Николаевич кивнул и тоже вышел под дождь. Монотонный, то усиливающийся, то затихающий. Сходить, что ли, посмотреть на этот карьер?

Но он развернулся и, тяжело ступая по лужам, пошёл домой.

В тёмной прихожей стянул куртку с отсыревшими плечами и спиной, стряхнул её, разулся. Прошёл на кухню. Лампочка светила тускло — жёлтым светом, опять забыл выключить, уходя. Задумчиво постучал банкой кофе по столу, но передумал, вернулся в комнату, протиснулся на балкон. Посмотрел на переполненную жестянку с окурками, поморщился и вытянул новую из пачки.

Курил долго, стоял, облокотившись на раму открытого окна. Прохлада не обволакивала зябким коконом, а лишь приятно освежала лицо. Пару раз он глубоко вдыхал сырой воздух. Смотрел, как капли стекают по плотным кожистым листьям. Асфальт внизу был сплошь покрыт лужами. Вода уходила плохо. О том, что с Ольгой случилось несчастье, он узнал от Наташи. Танцорши и коллеги по вузу.

«Что Ольга делала там — на карьере? — недоумевала она. — Плотина же заброшена, хорошо хоть, парень этот рядом оказался... Да, это действительно хорошо».

Дома нашел в бабушкиной записной книжке номер телефона, созвонился с матерью Ольги. Она рассказала то же самое. А потом добавила: «Что ж, это

неудивительно, что мы ничего не понимаем, не знаем. Она ведь даже о разводе ничего не сказала! Случайно узнали — к слову пришлось. А ведь у них, похоже, давно с Антоном неладно было. Я позвонила ему, а он... Молча выслушал, попросил держать в курсе. И всё... Почти семь лет вместе. В ноябре годовщина была бы...»

Хороша задачка. Что он мог узнать о женщине за один танец, один вечерний разговор и одну ночь, больше напоминавшую... сход лавины. Или потоп. Тебе кажется, ты только пробуешь воду, приноравливаешься, а она настигает волной, не спрашивая, не рассуждая, захлестывает с головой и отступает, совершенно чужая, непонятная, непонятая. Ах-ах, вот и ты дошёл до сравнений с водой, с рекой. Он стряхнул пепел в банку. И это уже не кажется тебе таким уж бредом. Река разлилась, почувствовала свою силу, теперь ей нужны берега, нужно вернуться в русло, чтобы сохранить себя.

Хех. Придётся-таки найти того парня. И разобраться с заслонками. Он бросил взгляд на лужи, дождик умеренный, самое время прогуляться. До карьера.

Олег Николаевич извлёк из шкафа старую брезентовую куртку (ещё со времен рыбалки, единственного их с сыном общего увлечения) и новые брюки декатлон. Коллеги подарили. Да всё никак не находилась случай. Резиновые сапоги стояли под вешалкой в коридоре. Их-то он еще не успел убрать с весны, как снова пригодились.

Пока он собирался, поднялся ветер, тучи тянулись тёмными полосами через небо, дождь усилился. Олег Николаевич шагал, засунув руки в карманы. Вода веером выплескивалась из-под сапог. В песке на обочине оставались следы, но быстро смывались потоком капель. В лесу стало попроще — как под пологом, ненадёжным, правда, — дунет, и вся накопленная воды хлынет вниз, тебе за шиворот.

К карьёру он вышел, созревший от быстрого шага. Ветер охлаждал мокрое лицо. Подошел к краю, всмотрелся в мутную, рябую от капель воду, из которой торчали верхушки кабин. Мда-а-а. Так и есть. Бросили, концов не сыскать.

Посмотрел на плотину. Вода плескалась высоко, уже перекрыла шлюзы. Перевёл взгляд в противоположную сторону — там высились кучи тяжёлого бурого песка, за которыми было старое русло. Он вспомнил это место. Когда-то здесь бежала речка, то ускорялась, то замедлялась. Но перепад высот всегда был небольшим. Про постройку плотины он и забыл. Кажется, здесь хотели построить что-то типа загородного дома отдыха, и нужен был более разнообразный вид. Точно. Заказчик хотел, чтобы «как саткинские пороги». Но итог вышел иным. Игрушечная плотинка и окончательно обмелевшая река. Да и разрешение на постройку в приграничной зоне так и не дали. Постепенно неудачный проект забылся. Всё вокруг выглядело заброшенным. Особенно сейчас. Утонувшая техника. Изрисованные граффити бетонные стены... И тишина. Трасса далеко. До ближайшего садово-огородного хозяйства тоже прилично. Он словно попал в сон, в котором шум дождя задавал тон, а всё остальное тонуло в нём — в прямом и переносном смысле. «В её сон», — услышал он в голове насмешливый голос парня. Ругнулся и пошёл вправо по обрывистому берегу туда, где песчаные кучи сходились в перемычку. А за ними в овраге неожиданно нашлись люди, над которыми навис со склона маленький экскаватор, весь в глине и грязи. Трое мужчин жарко спорили. Вокруг были сложены трубы, кучки щебня. Всё-таки какие-то работы велись.

Олег Николаевич начал неспешно спускаться к ним. Земля проседала, катилась вниз влажными комьями. В траве на дне стояла вода, приходилось с усилием вытягивать сапоги из чавкающей, раскисшей почвы.

Подойдя ближе, он увидел, что от песчаной кучи в середине тянулся недоделанный дренажный канал. С хорошим наклоном, с укрепленными склонами. А дальше совсем неглубокий, небрежно отсыпанный щебёнкой, пере-

ходящий в старое песчаное русло, поросшее травой. Видно, не думали, что воды будет столько. Ещё немного, и она размочит песок. Возможно, завтра. Или сегодня ночью. Что там по ходу русла? Сады? Неужели правда никому дела нет?

Спор прервался, когда он подошёл ближе. Его недавний знакомец, одетый в брезентовый комбинезон, и два темноволосых горбоносых парня, одетые явно не для земляных работ. Все смотрели на него, хмурясь от стекающей по лицу воды. Облегченная улыбка скользнула по лицу Ольгиного спасителя, он повернулся к тем двоим и что-то коротко с нажимом сказал. Они переглянулись, пожали плечами и пошли вдоль недоделанного канала к наиболее пологому склону, над которым виднелась морда «хаммера». Парень подошёл к нему, стряхивая воду с капюшона.

— Отлично! Спасибо, что пришёл. У нас не так много времени, дождь и не думает утихать.

— Что ты думаешь делать?

— Видишь малыша на склоне? Длины его стрелы как раз хватит, чтобы прорыть середину — там немного осталось, — и вода пойдет в канал.

— Его ж не доделали.

— Это уже не важно. Русло на месте, оно достаточно глубокое.

— Не размочит?

— Не должно, на склонах трава и деревья, а ещё дальше скальные выходы.

— Там прилично воды скопилось, если хлынет...

— Вот для этого мне и нужен ты! Надо сперва открыть заслонки, уменьшить давление. Видел, вода уже в шлюзах? Она пойдёт сперва в ту сторону, за плотину. Перепада высоты там почти нет. Плотину для декорации строили, я уже разобрался, — он потёр ладонями заросшее щетиной лицо, резко вздохнул. — Ну что? Начинаем?

— Как тебя звать-то? — Олег Николаевич, прищурившись, ещё раз окинул взглядом всё — серое небо, бурные склоны, отмытую зелень по краям. Замерший экскаватор с узким ковшом.

— Игорь.

— Олег.

Они обменялись коротким рукопожатием.

— А что там за плотиной, Игорь? Пришла вода?

— Конечно. Но немного, — он смотрел внимательно, нетерпеливо, голубые запавшие глаза сверкали почти лихорадочно. — Всё получится.

— Ладно, Игорёша. Рискнём.

Вокруг неё была тьма и большая вода. А больше ничего не было. Ольга была одна. Без земли, без опор. Ни границ, ни тяжести — ничего. Она была пузырьком. И, конечно, её вынесло на поверхность. Тогда появились руки, ноги, голова. Но тьма и вода никуда не отступили. Среди теней она разглядела самую тёмную. Это была лодка. Она взобралась в неё и легла на спину — как в колыбель. Вода несла её в темноте. Дрейфовать, вспомнила она. Я дрейфую. А потом на небе зажглись огни.

Они становились всё ближе, ближе, слепили. Лодка ткнулась в берег, и Ольга проснулась.

— Очнулась, — услышала она. — Зрачок сокращается, динамика...

Ольга пыталась зажмуриться, уйти от этих голосов, рук, трогающих её за веки, от света, тянущего её из лодки в другой мир. В её мир.

Она лежала тихо-тихо, слушая его и себя. Уже не пыталась вернуться в тишину междумирья и свою лодку-колыбель. Она пыталась найти себя здесь. Вспомнить. Действительность наплывала волнами. В обратном порядке. Вот её нырок-кувырок с плотины, резкий, почти злой разговор с Игорем, стран-

ное мимолётное сближение с Олегом Николаевичем, ещё раньше — развод, увольнение... Осколки, осколки. И река. Река, которая была всегда. У которой она собирала камешки, рыла каналы, потом училась плавать, смешно задирая подбородок. Щурилась на солнечные блики. Возле которой она была счастлива, была собой... Она становилась всё дальше. И Ольга тоже — от самой себя. Строила стену из стремлений, достижений, значимых в глазах большинства, но не её собственных (хотя она и убедила себя в обратном). Строила хорошо. До тех пор, пока река, её живая река не иссякла, придавленная этим грузом. Но теперь плотина вскрыта! Река снова течёт свободно, моет песок, несёт ил и строительный мусор.

Ольга вздохнула и открыла глаза. Белые световые колбы. Гудят. Желтоватые стены. Провода. Стойка для капельницы. Она повернула голову. От этого усилия комната начала вращаться. Реанимация. Ольга снова зажмурилась.

Она начала дремать, когда в палату пришли. И переложили её на каталку. Колёсики дребезжали по бетону, её голова мелко вздрагивала в такт на подушке.

— Ничего, девонька, скоро ножками пойдёшь, ножками...

— Давайте в 207-ю, — гаркнул другой голос над ухом.

В 207-й она осталась одна. Накатила слабость, но уснуть не получалось — на границе яви и сна появился настойчивый звук: шурх-шурх, стук. Отскочило, покатилося. И опять: шурх-шурх, стук. Посильнее. Звякнуло стекло. За окном раздался смех.

Ольга дышала размеренно. На выдохе повернулась на бок. Через два спустила ноги. Медленно-медленно села. Ждала, когда в голове прояснится. Сползла с кровати. По стенке шаг за шагом подошла к окну. Кажется, миновала вечность. Но звук не умолкал. Шурх-шурх, стук. Кто-то бросал камешки. Дребезжало стекло. Она прижалась к нему. Внизу на газоне прыгали двое, махали руками, увидели её, закричали. Она улыбнулась, повела ладонью в ответ. Оба. Вдвоём. Ну, конечно. Кто бы ещё... Поверил, что... Что у неё есть река. Своя собственная. Живая. Ольга увидела, что деревья, и асфальт, и кирпичные стены — всё мокрое, серое. Но дождь больше не капал. Вода нашла себе путь. И я тоже. Она приложила ладонь к губам, а потом к стеклу. Спасибо. Спасибо. Что были рядом, что не прошли, что услышали — меня, когда я сама себя ещё не слышала.

Теперь я знаю, куда мне идти. За водой по старому руслу, по песку, по камням в степь и тишину, в одиночество — без пренебрежения и осуждения, без страха. Я знаю, что можно отдавать свою силу и возвращать её. Только лгать не надо. Убеждать себя, что всё хорошо. Можно сбрасывать шкуру. Быть нагой. Выступать из вод — как Венера. Падать в них и дрейфовать — как Офелия. Позволять воде уносить всё отмершее. Больше не бояться глубины: воды и себя. Как хорошо знать это! И ещё то, что есть те, кто умеет так же — нырять, находить пути, вызволять из тьмы.

— Ну вот, теперь ты смеешься, — он довольно откидывается на спинку стула, руки сцеплены в замок на затылке, нога закинута на ногу, светло-голубая паутинка одноразового халата расплзается, и через неё видно чёрные джинсы и толстовку. — Значит, не зря мы месили грязь.

— Не зря. Как вы угадали, какое окно моё?

— Никак. Мы именно наугад кидали. Но подошла к окну только ты.

Он улыбается, качается на стуле. Ольга молчит и перебирает цветы, сваленные копной на одеяло. Мышиный горошек, львиный зев, ромашки, колокольчики. В городе снова солнечно. Лужи просыхают. Вишни наливаются, а весь остальной огород загублен, — жаловалась мама.

— Передай и ему спасибо, — говорит Ольга. — Вы — последние рыцари.

— Что?

— Ланселот и Дон Кихот. Или наоборот. Просто передай, хорошо?

— Ладно. Я пойду.

— Иди, — Ольга смотрит на цветы, в её глазах плещется река — вся в солнечных зайчиках. — Меня скоро выпишут. Увидимся.

— Ага, — он встаёт, вытягивает цветок из кипы на одеяле. — Приходи, будем есть вишни, не вставая с дивана.

И, подмигнув, выходит. Вихрем слетает по лестницам, голубую паутинку халата сдувает с плеч, он бросает её комком в ведро. Одаривает пропустившую его медсестричку цветком и с облегчением выходит на крыльцо приемного покоя.

С того момента как перестал идти дождь, и он бросил торжествующий взгляд на своего товарища-скептика — не удержался, — он ощущал себя часовым механизмом, у которого кончается завод. Но упрямо продолжал идти. Вытягивал сапоги из грязи. Когда сменил их на кеды, ничего не поменялось — внутри. Очень хотелось дойти до своей конуры в вишнёвом саду и лечь — так, чтобы ветки свешивались через раму к изголовью. Дело сделано. Река свободна. И горе-Ромео, нет, Ланселот или — как она там сказала? — Дон Кихот, в общем, бесцельный чудаков готов повесить плащ на крючок. Рядом с фотоаппаратом и гитарой. Чтобы лежать и просто есть вишни, не вставая с тахты, и слушать рок, пока мир делает очередной виток.

Клавдия Шарыгина

Звезды около моста горят...

мама и закат

крово-красный закат
такая заезженная метафора очень глупо
ничего получше придумать не смогла
прости я только учусь
поставь дефис
крово-красный закат
а как же заглавная буква
Крово-красный закат
так и дальше что давай давай
Крово-красный закат
томит мое сердце.
я был бы рад,
опять букву маленькую написала давай исправляй
Я был бы рад,
признаться честно,
закат бы этот прекратить,
но не могу. Я человек,
не бог, а человек.
Всего лишь крохотное создание на огромном камне
да и бога никакого нет
тебя посадят за оскорбления чувств верующих
это литература мама
почему такая рифма странная
мне так нравится это верлибр
верлибры будешь писать когда в рифму научишься
так вот же у меня почти все в рифму
мне не нравится
а без разницы мне-то нравится
как ты смеешь матери грубить глупая
ты еще маленькая я лучше тебя знаю
мама ты меня достала дай мне самой стихи писать
я тебе столько денег даю а ты мне так говоришь

Клавдия Шарыгина (2004) — родилась в Москве. Училась в НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики), в школе дизайна. Стихи печатались в журналах «Звезда» и «Юность». В «Урале» публикуется впервые.

я не хотела тебя обидеть но мне реально надоело
что ты все время ко мне пристаешь что бы я ни делала
я тебя не звала вообще
зато я тебя позвала обед есть
суп уже остывает а ты тут сидишь бред какой то пишешь
может мне важнее этот бред чем чертов суп
ты можешь хоть когданибудь сделать то что я тебя прошу
нет
ладно я выливаю суп раз он тебе не нужен
ну мам не надо я когда захочу поесть сама его возьму
и когда же это будет
скоро
точно
да
ну ладно я ухожу
закрой дверь пожалуйста

зимнее

там мусорка забита что делать не знаю
зачем эта дура опять взяла большую пепси
иногда люди так похожи друг на друга что я путаю их
иногда я думаю что мама не заметит что-то а она замечает
заледенелая земля это больно потому что можно поскользнуться
я сломала кусочек ногтя пока писала письмо
мои стихотворения без названий потому что я не хочу его придумывать
машины на светофоре говорят я собью тебя если будешь смотреть в телефон
ей страшно она не хочет быть убитой машиной
под поезд она упасть тоже не хочет даже если ради Толстого
я рву заусенец на пальце и что-то чувствую
всё вокруг меняется от белого к жёлтому от жёлтого к розовому от розового
к серому
а она меняется? или меняется только её рост?
шнурки развязываются будто назло мне назло мне назло мне
я не пишу про любовь потому что никогда не знала её по-настоящему
а кто вообще знает что-то по-настоящему если всё вокруг это когнитивные
искажения
мне говорят что нужно искать какие-то выходы из положения
что нужно любить и быть любимой
мамочка мамочка пожалуйста не надо
я люблю тебя я люблю тебя я люблю тебя и только тебя
я отмываю руки от липкости я засыпаю под звуки аккордеона
дверь в метро очень тяжёлая я не могу её удержать
я называю себя поэтессой она называет себя поэтом
у неё нет времени завязать шнурки она боится что эти ниточки застрянут
где-то в эскалаторе
да я скоро подойду к школе или нет не скоро я опаздываю
у нее идет кровь из пальца она моет его под холодной водой где-то в туалете
ей жалко бомжей на улице но она не может ничем помочь действительно
не может правда
ей все говорят что внутри неё прячется огромный потенциал и она молча
верит
но на самом деле внутри неё органы сопли и еда
на холоде у меня насморк а летом я не могу заткнуться

зачем ты гуляешь в холод я не понимаю ты придурочная так же заболеть можно
я не хочу опять идти к психологу он меня раздражает
мама я прошла уже столько я не могу просто сдать сейчас
я кусаю мороженое потому что мне никого не жалко
я читаю книгу из кодификатора и тут же отвлекаюсь
она не поняла формулу по алгебре но сидит и молчит
её пальцы застряли в двери когда папа её захлопнул
надо чем-то закончить но чем я не знаю
мне не больно когда меня критикуют мне больно когда меня критикуете вы
понимаю что вы не можете ничего сделать но я не хочу идти дальше
в этом стихотворении было больше рифм но я оставила только одну
вы говорите я не умею писать стихи что стихи должны быть с рифмой
ботинок попал в снег так что носок промок на кончиках пальцев
ей хочется сделать снежного ангела но она боится заболеть
нет ничего страшнее чем заболеть и остаться дома
мама говорит мне спокойной ночи и просит убрать телефон

люблю смотреть на то, как пассажиры спускаются мне навстречу по эскалатору
а я стою и поднимаюсь
у каждого свои вкусы, интересы
и как-то одновременно и интересно и страшно от того, как жизнь проходит мимо
чья-то чужая жизнь
кто-то каждый день встает рано и идет в заполненный такими же
человеками вагон
он едет на работу или в школу
а может, в музей посмотреть новую выставку современного художника
может, он не любит современное искусство, а его любимый художник айвазовский
может, он обычно не ездит в метро, но его велосипед сломался
или пошел дождь
может, он завтракал
или голодает
может, он ходит к врачу только по поводу простуды
а может, мы уже виделись с ним у психолога
может, каждое утро он целует свою дочку
может, он чайлдфри
или бесплодный
может, он плачет каждый день
а может, он счастлив
вдруг он читает те же книги, что и я
или вообще не читает, а только слушает музыку
может, он боится людей вокруг
может, он влюбился в меня
я с ним больше не встречусь.
а может, встречусь?

звезды
около моста горят
подними голову
и
окажешься
в космосе
лети лети человек
через запад на восток через север через юг возвращайся сделав круг
лишь коснешься ты земли
быть по-моему вели
нет не так
заново
лети лети человек
ни о чем не думай и не приближайся к солнцу
постучи по оконцу
и не возвращайся
хорошо
теперь поверни голову
что ты видишь?
я вижу деревья
они
рыжие
от фонарей
как на картине романтика
всё вокруг меня
это вселенная
это мир
недоступный
но такой близкий
не могу больше держать голову и опускаю её
что ты видишь?
москва реку
она
во льду
я могла бы пройти по этой воде
но не буду
весна близко?
да
сегодня в окно светило солнце
неприятно
оно светило прямо мне в затылок
я бы ушла по этой реке
далеко
далеко
и не вернулась бы
в шукино
уже поздно
знаю
а ещё я знаю что скоро утки вернуться
и что проблемы уйдут
уверена?
нет
но

мне
хочется
верить
что этого никогда не было
я
больше
не
боюсь
смерти
я не боюсь потерять всё
не боюсь остаться одной
ведь это
невозможно
надо мной небо
звезды
облака
солнце
деревья
птицы
я
никогда
не
буду
одна

Елена Забелина

Туннель

Повесть

Трасса М4

Самолет встал как вкопанный, и некоторые пассажиры сразу повскакали со своих мест.

Аэропорт Платов, Ростов-на-Дону.

Дарья, следуя рекомендации оставаться в креслах до приглашения к выходу, смотрела из овального окошка на соседний аэробус и вдруг сделала для себя открытие — самолет похож вовсе не на птицу. Он похож на акулу. На серую тупорылую акулу с крыльями-плавниками и раздвоенным хвостом, пара мазков по корпусу красным и синим не в счет. И Дарья почувствовала себя внутри такой же акулы, и захотелось сию минуту выйти вон.

— Не торопитесь, все равно ждать выдачи багажа, — предостерег ее сидевший рядом пассажир.

Она отправила сообщение водителю по имени Иннокентий, которого нашла через известный онлайн-сервис. Он подждал ее в аэропорту, чтобы взять попутчицей в Волгоград. Прямого рейса из Екатеринбурга в город-герой давно уже не было, и Дарья предпочла ночи в вагоне поезда на машине, которая, как обещал водитель, займет не более пяти часов.

Наконец стоявшие наготове пассажиры двинулись к выходу. На улице их приняла удушливая желтая жара. Но в просторном терминале прилета, где Дарья высматривала на транспортере свою дорожную сумку, было темно и прохладно, и ей снова показалось, что она внутри огромной рыбы, у которой вынуты внутренности, а скелет образован металлическими конструкциями, поддерживающими потолок.

На выходе к ней сразу подошел Иннокентий — узнал по фото, которое она ему выслала. Под два метра ростом, плечи как из гладкого камня. Он ей кивнул, склонился с прямой спиной и, не прибегая к словам, перехватил багаж из ее рук. Дискбол. С точными экономными движениями. С непоколебимым лицом.

Они шли к машине, она вслед за ним, глядя в его спину-плиту. Только сейчас Дарья заметила, что Иннокентий — какое многосложное имя — прихрамывает на левую ногу. Он открыл ей дверцу: «Прошу!», и она впервые услышала его голос. Негромкий и шероховатый, как будто к нему примешивался еще и шепот.

«Фольксваген туарег» был явно возрастной, однако выглядел ухоженным. Ловко маневрируя, водитель вывел внедорожник на трассу и задал ему крейсерскую скорость.

Елена Забелина (1959) — родилась в Челябинске. Окончила философский факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Работала литературным редактором, журналистом. Публиковалась в журналах «Урал» и «Сибирские огни». Автор книг «Черный ящик» (Екатеринбург, 2005) и «Ideafree» (Екатеринбург, 2017). Живет в Екатеринбурге.

Дарья сидела рядом с Иннокентием на переднем сиденье, и они слегка соприкасались — его плечи были гораздо шире спинки водительского кресла. Не поворачивая головы, лишь скашивая в сторону глаза, она рассматривала его в несколько приемов. Свежевыбритая щека. Шрам-щербинка над бровью. Россыпь серых веснушек на скуле. Чуть опущенный уголок твердых губ.

Ей почему-то очень хотелось с ним заговорить, как со случайным попутчиком в поезде, но он ничем не обнаруживал желания общаться.

Трасса М4 «Дон». Степной пейзаж с неброскими возвышенностями и неглубокими низинами. Пыльный зеленый. Пегий желтый. Белесый голубой. Расставленные по зеленому фигурки домашних животных. Поля подсолнухов, медленно поворачивающих вслед за светилом свои круглые головки с коричневыми серединками и желтыми флажками по кругу.

Водитель, глянув в зеркало, чтобы перестроиться, бегло улыбнулся Дарье. И она подумала, что эту мимолетную улыбку можно счесть за приглашение к разговору. Или хотя бы за согласие на разговор.

— Были в Ростове по делам?

— Нет, друга навещал. Я в отпуске. — Длинный пробел между словами. — Друг в Грушевской живет, в трех километрах от аэропорта. — Снова пробел, молчание. — Пожалуй, тогда и я спрошу: а вы с какой целью направляетесь в Волгоград?

— Вступить в права наследства и продать квартиру, оставшуюся от мамы. Полгода назад она умерла от ковида. В Ванкувере, Канада.

— Сочувствую, простите.

— А я даже на похороны не смогла попасть.

— Ну да, границы были на замке.

Впервые за много лет Дарья назвала Кэтрин мамой. Незадолго до отъезда в другое полушарие та сказала дочери: «Зови меня Кэт», поскольку ей предстояло переместиться в иную языковую реальность. К тому же ее друг был на пять лет моложе, и в его присутствии Даше казалось неуместным называть его спутницу мамой, да и выглядела Кэт рядом с дочерью как старшая сестра.

Кэтрин была из тех, кто никогда не находит себе места здесь и сейчас, чей взгляд ищет там, где их нет. Вскоре после смерти Дашиного отца Кэт обратила взор за океан, куда и перенес ее на своих крыльях новый муж-программист. Дочь она тоже хотела подцепить к этим крыльям, но Даша тогда еще не окончила университет и собиралась замуж.

Волгоградская квартира перешла Кэт от матери — бабушки, которую Даша видела только пару раз в детстве. В последний свой приезд Кэтрин сдала квартиру внаем, а на дочь оформила завещание, что несколько упростило процедуру вступления в наследство.

Обо всем этом Дарья сообщила своему водителю-попутчику, но кратко, в двух словах. А он молчал. Он редко возобновлял разговор сразу, без спешки осваивая сказанное собеседником. И это свободное от многословия пространство Дарье нравилось, как свет и воздух в интерьере.

Они нагнали фуру Shmitz Cargobull с фирменным знаком на бампере — слоником с поднятым кверху хоботом. Фура перекрывала Иннокентию обзор.

Руль влево — газ — вертикальный взлет — обгон — руль вправо, возврат на свою полосу. Крейсерская скорость.

В Канаде Кэтрин вроде бы обрела свое место. Овеянная морским воздухом, плененная ванкуверскими парками и непривычным бытовым комфортом, она поначалу легко мирилась с трудностями newcomers — вновь прибывших. Им все при встрече улыбались, не то что на Урале, где люди угрюмы, как камни. Она даже завела подружку-канадку. Но программисту, прежде чем он устроился более или менее по специальности, пришлось два года возить пиццу. Канадская подружка, охотно бывавшая у Кэт в квартире, взятой в ипотеку, по-здешнему mortgage, на всю оставшуюся жизнь, не приглашала русских к себе в дом. А

когда Кэтрин допустила непростительную ошибку, перепутав гендерную принадлежность ее брата (или все-таки сестры?), дружба и вовсе иссякла.

Даша в Канаде не бывала, Кэтрин в Россию прилетала раз в три года. С началом пандемии это стало невозможно — надо было не только наскрести денег на подорожавшие билеты, но и отсидеть по возвращении две недели в карантине в специально отведенном для этого отеле, стоимость проживания в котором едва не превышала расходы на перелет за океан.

А прививку от ковида Кэт так и не сделала, сколько ни уговаривала ее Даша, только повторяла:

— У меня девять жизней, как у кошки.

Оказалась — одна и короткая.

— Приятель мой ростовский тоже переболел ковидом, — произнес наконец Иннокентий. — Очень тяжело, еле выкарабкался. Вдобавок у него съехала крыша. Ходит теперь по улице в двух масках и очках, в перчатках, в шляпе. А дома постоянно моет руки или протирает антисептиком.

— Невроз навязчивых состояний.

— Так сходу, да еще заочно, ставите диагноз?

— Профессия — клинический психолог.

Он глянул искоса, наверное, желая оценить, насколько ее внешность соответствует профессии, и Дарья мельком увидела себя в его зеркале. Легкие волосы, тонкая, карандашная, линия профиля, зыбкая улыбка. Не соответствует или соответствует не вполне. Разве что взгляд — испытующий, сканирующий объекты слой за слоем.

— Понятно. Хм. Кое-какие познания в вашей сфере я имею. Однажды даже проштудировал учебник по психиатрии.

— А вы военный, — утвердительно сказала Дарья. И уточнила: — отставной.

— Потомственный военный. Отец был генерал и дядька — генерал. Я дослужился только до майора.

Бабочка-лимонница врезалась в лобовое стекло, брызнула желто-зеленая кровь.

— Теперь в войсках есть штатные психологи, занятия проводят, снимают посттравматический синдром. А раньше каждый... хм, со своими скелетами в шкафу разбирался сам.

— Бывали там?

— Там — это где?

— На войне.

— Первую чеченскую кампанию застал еще курсантом. А ко второй как раз подоспел... Последнюю войну мне удалось благополучно пропустить.

— Комиссовали? — спросила она, вспомнив про его хромоту.

— Нет. По другой причине. Служить в газете я мог и с травмой.

Поля солнцеклонников. Свободное от слов пространство. И вдруг:

— Да я не против поболтать. Я не горячий эстонский парень.

— А, это тот, кто отвечает на вопрос, в какую сторону Москва, проехав сотню километров в противоположном направлении?

— Ну да. Только давайте будем избегать... хм, некоторых тем.

— Каких?

— А тех, к которым сводятся литературные сюжеты: любовь, война. Не то что бы я опасался их обсуждать — просто у меня нет права голоса по этим вопросам.

Они еще не знали, что скоро о войне вообще нельзя будет говорить. Вернее, можно, но только как о покойнике — хорошо или ничего.

Дарья воспользовалась его тактикой — сделала долгую паузу. Потом спросила:

— Вы родом из здешних мест?

— И да, и нет. Отец из Волгограда, мама из Москвы. А я в Хабаровске родился. Отца переводили с места на место.

Очередная бабочка расплющилась о лобовое стекло.
 — Ответ на следующий вопрос: живу один.
 — А я об этом спрашивать не собиралась.
 — Ну, значит, я бегу впереди паровоза.
 — Убежденный холостяк?
 — Да нет. Женат был дважды. С первой супругой развелся. Вторая... —
 разрыв в цепочке слов, — ... вторая умерла.
 — Сочувствую, простите, — зеркально, как Иннокентий в начале разгово-
 ра, ответила Дарья.
 — Это случилось давно.
 — А дети?
 — Дочь замужем в Москве. И у них сын трех лет.

Сдвиг влево — взлет — обгон — сдвиг вправо — крейсерская скорость.

Он не спросил, каков семейный статус Дарьи.

Ее муж Павел не желал учиться не только на чужих, но и на своих ошибках. Он запускал проекты, как запускают в небо воздушных змеев, и ни один из них ему не удалось осуществить. Каждый раз после неудачи, неотвратимость которой была очевидна заранее, Дарья предлагала мужу устроиться по специальности, полученной в университете, кстати, весьма востребованной. Тщетно. Кое-какой начальный капитал, доставшийся от родителей, он быстро растерял, стал брать кредиты. И Дарья радовалась, что квартиру, где они жили, отец отписал ей по дарственной, так что у них с Павлом не было общей недвижимости, которую можно заложить. Иначе они бы рисковали оказаться в комнате или в съемном жилье. Правда, до описания имущества дело не доходило ни разу, но бывали времена, когда она высчитывала каждую копейку, покупала дочери либо сладости, либо фрукты и вязала ей свитеры, зная, что молодежь не жалует вещи hand-made. Сама же Дарья с удовольствием их носила и сейчас была в авторской майке со сложным узором.

Собравшись брать кредит под очередную перспективную идею, Павел предложил Даше развестись, чтобы в случае неудачи ей не пришлось расплачиваться с его долгами. Она согласилась — устала подстилать соломку. И хотя ни тот, ни другая вроде не думали расставаться, вскоре обоим стало ясно, что от их семьи осталась только пергаментная обертка, от легкого соприкосновения с бюрократическими процедурами рассыпавшаяся в прах.

Дарья сказала:

— И я живу одна. После того как дочка со своим парнем отбыла в Москву. Теперь, продав пусть невеликую волгоградскую недвижимость, она выдаст дочери денег на первый ипотечный взнос — та собралась купить в Москве квартиру вместе со своим другом, а возможно, и будущим мужем. Выбор Маши Дарья оценивать избегала — телу ведь не прикажешь, — однако призывала хорошо подумать, прежде чем приобретать с кем бы то ни было общую собственность, тем более в кредит.

«Фольксваген туарег» летит между подсолнечных берегов, будто и нет сцепления с дорогой. Ровно, как двигатели лайнера, набравшего высоту, гудит мотор. Автопилот хранит молчание.

И Дарья не заметила, как задремала.

Очнувшись она от странного видения — Рыцарь печального образа с копьем наперевес мчится на ветряную мельницу, вращающую крыльями. Дарья открыла глаза. По сторонам дороги на равном удалении друг от друга, как в лесопосадке, высятся гигантские ветряки. Белые гладкие стволы, вверху — пропеллер с тремя длинными и тонкими пиками-лопастями. Некоторые медленно совершают круг, подобно часовым стрелкам, другие замерли — часы остановились. От тех, что замерли, почему-то исходит угроза.

— Ветроэлектростанция, ее недавно ввели в строй, — пояснил Иннокентий.

Опять они нагнали фуру с изображением трубящего слона.

Руль влево — ускорение — обгон. И великаны, предки которых олицетворяли у Сервантеса силы зла, остались позади. Они уже свернули с трассы М4

На Волгоград

Три часа пополудни. Водитель заехал на заправку. И Дарья вслед за ним вышла из машины.

Обезоруживающее солнце. Пекло.

Напоив свой «туарег» и отогнав его в сторонку, Иннокентий предложил перекусить. Он взял трехслойный бутерброд из клейкого батона, а Дарья только кофе.

— Не употребляете вредную пищу?

— Можно сказать и так, — ответила она и достала из сумки зеленое яблоко.

Он допивал свой кофе и впервые смотрел на нее не искоса, а прямо, неотрывно. Разглядывал, как разглядывают самого себя в зеркале. Потом спросил:

— А сколько лет вашей дочери?

— Двадцать один.

— Не может быть. Хотя... когда я в первый раз увидел жену одного кавказского знакомого с двумя девочками, лет девятнадцати и трех, подумал, что это ее младшая сестра и дочка. Но оказалось, дочкой была первая, вторая — внучкой. Мадина дочь родила в пятнадцать, а та — в шестнадцать, сделав мать бабушкой в тридцать один.

— Маша появилась, когда мне было двадцать два.

— И у меня дочь Машка. А вы почти моя ровесница. Вот никогда бы не подумал!

— ...И очень рано выпорхнула из гнезда, едва исполнилось восемнадцать, — продолжила Дарья. — Не доучилась в университете, уехала в Москву. Достала я ее своей опекой — крыльями хлопала, все отслеживала, прощупывала, простукивала. Знала, что так нельзя, — психолог, однако, — но не могла избавиться от страхов. Сама и виновата, теперь вот угрызаюсь.

Водитель Иннокентий сгреб со столика бумажные стаканчики из-под кофе, подложку от бутерброда и выбросил в урну. Сказал, уже не глядя на Дашу:

— Вы ничего не знаете про угрызения совести. И про чувство вины.

Они вернулись в машину. Разгон и крейсерская скорость. Светлые бабочки, крылатые дон-кихоты, бьются о лобовое стекло.

Никто не может вытащить сам себя за волосы, психолог в том числе. После того как Маша улизула от нее в Москву, Дарья взяла несколько сеансов у своего коллеги, с которым прежде не была знакома. Он нырял в глубины ее подсознания, собирал со дна детские воспоминания, выкладывал их перед ней, предлагал раскрыть раковины и достать моллюсков. И все склонял Дашу признаться в гневной обиде или хотя бы в досаде на беспечную мать, оставившую ее одну еще не оперившейся, не готовой к самостоятельной жизни; он полагал, что Даша стала матерью супертревожной в противоположность Кэт. Но как бы Дарья ни желала угодить доктору, честно отработывающему свой высокий тариф, она не находила в себе ни большой обиды на Кэт, ни тем более гнева. Единственное, в чем она могла сознаться, так это в том, что с матерью они не были особенно близки.

Верный диагноз поставил Даше бывший муж Павел — все-таки он неплохо изучил ее за пятнадцать совместных лет:

— Ты просыпаешься и сразу же включаешь перископ, осматриваешь все вокруг, выискиваешь, чего бы испугаться.

Дарья не знала толком, что такое перископ. Прочитала в Википедии: оптический прибор для наблюдения из укрытия. Труба с системой зеркал. По-

нятно. Но почему она так часто прибегала к ней? Доискиваться ответа в недрах подсознания долго не пришлось. Она сама прекрасно его знала: невроз навязчивых состояний. Навязчивого страха. Ей требовалась поминутная уверенность в безопасности близких, не достижимая никем, нигде и никогда. А точнее, уверенность в том, что она делает все для обеспечения этой безопасности. Поэтому убрать перископ на антресоли, тем более выбросить его на помойку Дарья не могла.

Она загадала: если они еще раз обгонят трубящего слона, знакомство с Иннокентием получит продолжение в Волгограде. А он надолго замолчал. Вот, наконец:

— И что нам скажет доктор Фрейд о чувстве вины?

— Так вы же отказали мне в праве голоса по этому вопросу.

— Погорячился.

— А разве эта тема — не табу?

— Да нет. Если обсуждать ее теоретически.

— Ок. Есть разные виды вины, например, экзистенциальная вина.

— В учебнике психиатрии такого не встречал.

— Конечно, нет. Это философы придумали. Вина перед собой. Когда человек не выполняет свое предназначение.

— Ага, хотел я быть историком, а поступил в военное училище, следуя семейной карме. Правда, на отделение журналистики. Ну да, неискупимая вина.

Светлые бабочки все бьются и бьются о лоб «фольксвагена туарега». Похоже, чешуекрылые решили разом совершить самоубийство. Водитель сбрызгивает стекло, запускает дворники, но желто-зеленые потеки остаются.

— Переживание вины — частая причина неврозов, — продолжила мини-лекцию Даша. — Словосочетание «груз вины» неслучайно. Она ощущается как тяжесть, рюкзак с камнями. Главное, чтобы камень на спине не превратился в камень на шее.

У каждого доктора есть такой рюкзачок, не исключение и Дарья. После университета она несколько лет провела на приеме в районном психиатрическом диспансере, но профессиональная деформация развиться у нее не успела. Она принимала людей, а не пациентов и даже ходила к некоторым на дом, сколько бы ее наставник, многоопытный главврач, ни повторял: больные — не друзья тебе, даже не подопечные, держи дистанцию.

Однажды ее пациентка с диагнозом «шизофрения» не явилась на плановый прием, а ей следовало выписать очередную дозу препарата, который удерживал ее от срыва. Дарья наблюдала Ольгу Алексеевну три года. Высокая, с мужеподобной фигурой треугольником и кротким бледно-голубым лицом, она отсиживала положенные часы в библиотеке, неделями пустовавшей из-за падения спроса на бумажную книгу. В первый раз Ольга попала в стационар вскоре после смерти матери. Они жили вместе в тесной однокомнатной квартирке, где не помещались две кровати, и спали на половинках раскладного дивана. Ольгу тогда забрали с рабочего места — она явилась в библиотеку в ночной сорочке, пройдя по улице в плаще.

На последнем приеме она вдруг спросила у Даши:

— Вам нравится оттеночек «пыльная роза»? Мне очень, он такой нежный. Я приобрела чудесный гарнитурчик. В том магазинчике и ваш размерчик есть.

Дарью насторожили обилие уменьшительных суффиксов и Ольгин голос — обычно тонкий, жиденький, он сменился на низкий, хрипловатый, как будто переключили регистр. Наверное, эти два голоса находились в ней одновременно. И гардероба было два, один для нормы — ботинки, брюки-джемперы, другой для схода в параллельную реальность — красная мини-юбка, допотопные клипсы из цветного стекла, туфли-шпильки, на которых у нее подгибались колени.

— Да-да, зайду, мне как раз нужно нечто в этом роде, — профессионально усыпила ее бдительность Дарья и тут же вклинила: — А вы принимаете лекарство?

— А как же, — прохрипела Ольга, поправляя пыльный капроновый цветок в волосах, — даже не сомневайтесь!

Но Дарья знала, что пить лекарство она бросила или собирается бросать. Через пару недель в диспансер позвонила Ольгина соседка. Ночью пациентка включала на всю катушку записи Олега Погудина, сладкоголосого исполнителя романсов. Дарья пошла по адресу.

Она издали увидела Ольгу на балконе — голую в январский день. Подойдя ближе, Даша сообразила, что та в бикини телесного цвета, точнее, цвета мясного сока. Стоит, закинув ногу на перила.

Даша окликать ее не стала. Взбежала на пятый этаж, позвонила, постучала в дверь. Ей не открыли, хотя она почувствовала, что Ольга подошла, стоит за дверью.

— Ольга Алексеевна, — пропищала Даша кукольным голоском, — вы обещали показать свой новый гарнитурчик.

— Э, нет. Врешь — не возьмешь, — пробасили из-за двери. — Ты пришла не одна, в кустах у тебя гориллы. Открою — тут же вломитесь. Как в прошлый раз.

Даша действительно однажды уговорила Ольгу лечь в стационар, выманив хитростью из квартиры, но к помощи санитаров она не прибегала. Потом навестила ее в палате с решетками на окнах — безучастное, оглушенное психотропными препаратами существо. Ольга раскачивалась из стороны в сторону, сидя на кровати и закрыв ладонями уши. Но на Дашу она глянула вполне осмысленно и сказала плоско, без интонации:

— Добилась, чего хотела. А ты могла бы здесь побыть вместо меня, подружка? Давай-ка поменяемся. Ложись на мое место.

Даша села на стул у кровати и взяла Ольгу за руку. Та руку не отдернула, но смотрела мимо. А когда Даша выложила яблоки и апельсины, филе куриной грудки и салатик, приготовленные накануне, Ольга подняла ясные глаза:

— Не делай добра — не получишь зла.

Тогда Дарья восприняла это как заслуженную угрозу. Но позже поняла, что зло угрожало вовсе не ей.

В то январское утро она снова и снова стучала в дверь:

— Ольга Алексеевна, я одна. Посмотрите в глазок.

— Не открою. Ты скажешь, я не умею одеваться. Обвинишь меня в безвкусице. Да, я пыльная роза! Но я вас всех заставлю на меня смотреть!

— Да вы простудитесь, не сможете продемонстрировать свои наряды!

— Не лезь ко мне! Уйди! — заверещали из-за двери еще каким-то новым, обоюдоострым голосом.

Даша стояла под дверью, прислушиваясь к звукам, доносившимся из квартиры: что-то там происходило, передвигалось, потом замерло, снова стукнуло — и вдруг как будто рухнул тяжелый предмет. Дарья с силой толкнула дверь, та поддалась — оказывается, все это время была незапертой. Вбежала в комнату — под потолком покачивалась намертво привинченная люстра с обрывком шелкового шарфа. Опрокинутая табуретка. Рядом тело. Бесформенная и уже бездыханная груды.

Главврач, которому Даша положила заявление на стол, долго уговаривал ее остаться. А напоследок сказал: «В нашей работе, как и в любой другой, надо просто выполнять свои обязанности. Не нужно причинять добро».

Все лобовое стекло забрызгано зеленой кровью. А впереди — фура Shmitz Cargobull, на заднике маленький слон вздымает хобот.

Руль влево — взлет — обгон — возврат на свою полосу.

Они уже въезжали в город-герой Волгоград. Пора было спросить:

— Сколько я должна за бензин?

— Нисколько.

— Как это?

— Я денег не возьму, — повторил Иннокентий через долгий прозел. — Мне нужен психотерапевт. Не проведете со мной несколько сеансов?

Дарья, следуя его примеру, взяла паузу. Она на самом деле сомневалась, что сможет с ним работать. И трудность не в пустотах в разговоре, они, напротив, помогают разредить воздух и, прежде чем ответить, осмыслить сказанное. Дарья не чувствовала в нем пациента, которого приходится выворачивать наизнанку, чтобы показать больное место. Ежа, свернувшегося в неприступный шар. Улитку, что выпускает только усики из раковины. Быка с косящими глазами.

Новый знакомый представлялся ей измученным слоном, который не решается признаться, чем он болен. Дарья догадывалась чем. Но не была уверена, что ему нужен доктор. Она давно считала его девиз: помоги себе сам.

— А как же табу? — подала она голос.

— Табу придется отменить. Вот только я не знаю, как.

— Давайте попробуем, — согласилась Дарья.

Иннокентий подвез ее к дому, где риелторша сняла ей студию, поскольку в выставленной на продажу квартире оставались прежние жильцы. Квадратная двенадцатизэтажная коробка на проспекте Ленина, идущем параллельно Волге, была раскрашена со вкусом, в бежевый и шоколадный. Иннокентий поднялся вместе с Дарьей на девятый этаж, занес вещи в студию и распрощался. Риелторша, переговорив с Дарьей о предстоящих делах, тоже вскоре ушла.

Дарья огляделась. Стандартный интерьер, но кухня оборудована на длинном и широком балконе, застекленном от пола до потолка. И этот аквариум без воды прицельно простреливает солнце.

Вид на останки метизного завода, разрушенного в Сталинградскую битву, после войны восстановленного, недавно зачищенного под жилую застройку. Одиночные трубы, горы щебня и песчаного грунта, как после бомбежки. Справа Мамаев курган со знаменитой статуей Родины-матери на вершине.

Дарья встала под душ, развесила и разложила в шкафу вещи. Перекусила в суши-баре, прошла мимо квартала многоклеточных высоток, через ухоженный парк с аттракционами и мороженым на каждом углу и спустилась с крутого откоса к реке. Вдоль тропинки в жженой траве колыхались гигантские рыжие чучела. Иссохшие репейники.

Волга текла спокойно и неотвратимо. Небесно-голубая лава.

Пляж был галечный. Дарья вошла в воду, с виду чистую и прозрачную даже здесь, в черте города, и немного отплыла от кромки. Река подхватила ее охотно и властно, понесла вниз по течению, и она погребла к берегу, забыв, о чем предупреждал ее Иннокентий: «Дальше пяти метров не заплывать. Снесет, да еще в водоворот затянет».

Вернувшись в студию, она пила чай на балконе — в аквариуме с подсветкой. Быстро темнело, и Родина-мать как будто увеличивалась в размерах. Днем статуя из серого бетона казалась восставшей из пепла, а ночью, освещенная прожекторами, реяла над курганом ангелом в белых одеждах. Разъяренным ангелом. С мечом разящим. С искаженным отчаянным криком лицом, пусть с балкона лица и не было видно.

Сеанс

Утром за тонкими шторами свет пыльно-розовый, нежный — солнце не бьет в окна наотмашь, они выходят на запад. Но пробуждение Дарье дается с трудом. Вроде бы лето, телесная радость. Выйдешь беспечно на кухню-аквариум, глянешь в окно — а там пепельный ангел с занесенным мечом.

Первую половину дня Дарья провела у нотариуса. В полдень позвонил Иннокентий:

— Поедем на природу, там и устроим сеанс.

— На пляж? На пляже не получится поговорить.

— Не на городской. Туда, где не каждый день ступает нога человека. На Гнилой ерик.

— А что такое ерик?

— Даже слова такого не знаете?

— Нет.

— Узкая протока, соединяет озера, заливы, реки, например, Волгу и ее левый рукав Ахтубу. Еще оросительный канал. Азиатский вариант — арык.

— А почему этот ерик Гнилой?

— Никто не знает. Когда-то так называли.

Они переправились на левый берег Волги по «танцующему» мосту. Через полгода после пуска он вдруг завибрировал, закачался, и его закрыли на ремонт еще на год. Но теперь мост был невозмутимо спокоен. Это рассказал Дарья Иннокентий, а потом спросил:

— Вы, доктор, не боитесь ехать со случайным знакомым неизвестно куда? А вдруг пациент окажется буйным? Вы ведь не знаете, кто я такой. Хотите, предъявлю вам паспорт и служебное удостоверение?

— А где вы служите?

— Начальником охраны в банке. Точнее, службы безопасности. По выходным вожу экскурсии в музей Сталинградской битвы. Там у меня тоже документ имеется.

— Так вы еще и специалист по военной истории?

— Можно сказать и так. Вышло в сборниках несколько статей.

— Удостоверений никаких не нужно. Не чувствую от вас угрозы, по крайней мере, для себя.

— Уверены?

— Вполне. Я редко ошибаюсь. А то была бы профнепригодной.

— Ну, да, конечно. А я вот проницательностью похвастаться не могу. Совсем не разбираюсь в людях. Особенно в женщинах.

— То есть вы признаете, что женщины тоже люди, — подколола его Даша. Пробел между строками.

— А разве я похож на женоненавистника?

Иннокентий свернул с трассы и припарковал свой «туарег» на площадке, где уже пеклись под солнцем несколько машин. Сквозь заросли проблескивала вода.

— Это и есть ерик?

— Нет пока. Местная достопримечательность. Сейчас увидите.

Он провел ее к небольшому озерцу, обрамленному ивами и кустарником с блеклой листвой. У берегов его поверхность скрывали листья овальной формы, гладкие и плотные. Над ними высились на крепких стеблях розоватые резные чаши, сквозь их фарфоровые лепестки просвечивало солнце.

Цветущий лотос Дарья видела впервые.

— Да, это красота растет только в стоячих водоемах с илистым дном, — сказал ее экскурсовод.

— Когда б вы знали, из какого ила рождаются цветы, не ведая стыда...

— Когда бы вы знали из какого сора... Ну, и так далее. Ахматова. Представьте, знаю.

— Кто бы сомневался.

— С тропинки не сходите. Тут еще змеи водятся.

Про змей он снова ей напомнил, подъезжая к ерику. Он ведь не знал, что в ее случае это излишне — у Дарьи давно вошло в привычку сканировать окружающее на предмет опасностей как явных, так и скрытых. Опасностей в зародыше. Перископ работал круглосуточно и без сбоев.

Однако пресмыкающиеся им не встретились. На берегу протоки, прямо на песке, сидел орел. Когда они приблизились, он неохотно расправил крылья и взлетел.

Гнилой ерик не оправдывал своего названия. Лиственный светлый лес по берегам — дубки, осинки, вязы. Вода не вполне прозрачная, даже чуть зе-

леноватая, как замутненный абсент, но пахнет чистой горечью, полынью и шалфеем.

Дарья разделась первой и пошла к протоке, не оборачиваясь и не смущаясь тем, что Иннокентий смотрит ей вслед. Разглядывает. У кромки она приостановилась, вошла в воду по щиколотку, потом по колено. С опаской и предубеждением, как всегда в незнакомом месте.

— Тут нечего бояться.

Она обернулась. Иннокентий следовал за ней, прихрамывая. Без одежды, в плавках он не казался таким уж накачанным. Мышцы у него не бугрились, образуя анатомический рельеф.

Они проплыли по протоке довольно далеко. Он впереди, широко взмахивая руками, она за ним вслед. В воде, свежей и чистой, — Дарья это чувствовала и носом, и кожей — дрейфовали одиночные листья, спаленные солнцем.

Ни души. Над ериком носятся чайки, предвестники близкого дождя, но в небе ни облачка. Лиловое мерцание шалфея у самого берега. Наполовину затонувшая коряга. Между сучьев — змеиная голова.

Дарья вскрикнула. Его реакция — секунда:

— Что?

— Змея!

— Да это же черепаха.

Подплыли ближе: черепаха соскользнула с коряги и скрылась под водой.

Они сидят в тени плакучей ивы. Над ериком просвистывают чайки. Трава у берега сочно-зеленая с вкраплением пунцовых кисточек вьюнка. Дарья срывает одну кисточку, вплетает в волосы, распущенные после купания. Напоминает Иннокентию:

— Нам надо, наконец, поговорить. У нас же выездной сеанс.

Она не чувствует в нем пациента, но выполнять договоренности должна.

— О, да, давайте проведем сеанс.

Чайки кричат требовательно, страстно.

Он обнимает ее одной рукой за плечи, слегка притягивает к себе. И притормаживает:

— Да или нет?

— А почему бы нет?

...Муж распластывался на ней, как лягушка, согнув ноги в коленях и руки в локтях, и расплющивал своей невеликой тяжестью. Теперешний ее партнер, сосед по кабинетам в клинике неврозов, усаживал наездницей, верхом. А этот дискобол, опершись на ладони, навис плитой, но не давил, напротив, как будто защищал от опасности. Закрывал своим телом от артобстрела.

Они лежат на песке, ее голова у него на плече — на гладком, согретом солнцем камне.

— Иннокентий. — Даше хочется произносить его имя. Вслух и про себя.

— А как зовут тебя друзья? Наверное, Кеша?

— Так называли папа с мамой. Друзья иначе.

— А как же?

— Не догадаешься.

— Из твоего имени можно надумать много слов.

— Хочешь сыграть в эту игру?

— Давай: кий, иннок, кон, неон.

— Тон, некто, кот, кино.

— Ток, тоник, кит, отек.

— Тик, никотин, никто. Кент.

— Кент?

— Парень, друг, приятель, — через пробел: — Друзья зовут меня Кеныч.

— Кеныч... — с удовольствием произнесла Дарья и провела рукой по его твердокаменной груди и животу, плоскому, как плато. Но не гладкому, как камень. Левый бок изуродован, кожа перекручена и стянута в воронку. Никогда прежде Дарья не видела след от огнестрельного ранения.

Они искупались еще раз. Черепахи не было на коряге.

Подъезжая к городу, Кеныч сказал:

— Я приготовил для тебя домашнее задание. Записал на диктофон. Отправлю аудио тебе на почту. Ок?

Даша подумала — есть в этом смысл, как в его долгих паузах в разговоре. С глазу на глаз с собеседником, в том числе с пациентом, хочется задать вопрос, высказать суждение, что-то уточнить, повернуть в другое русло. Даже если умеешь слушать, а Дарья умела, всегда срабатывает первая мгновенная реакция, и она редко бывает верной в отличие от неосознанной оценки лица другого пола как возможного или недопустимого сексуального партнера.

Она включила запись. Шероховатый, как на залюбленной пластинке, голос.

Этот город называется Москва...

Я второй год учился в Академии. Хотя уже тогда всерьез задумывался о том, как бы из армии свалить. После Чечни не оставалось никаких иллюзий насчет возможности честной военной журналистики (это тема отдельная, углубляться не буду). Я даже проштудировал справочник по психиатрии, изучил некоторые симптомы, чтобы симулировать маниакально-депрессивный психоз. Теперь это вроде называется биполярным аффективным расстройством. Но соскочить ведь нелегко, тем более без последствий. С таким диагнозом на гражданке ты никому не нужен. Да и вообще надо было доучиться, чтобы потом уйти в отставку хотя бы подполковником.

Я был давно женат, Машке исполнилось двенадцать. Женились мы с Катюшей по залету. То есть женился я — из ложно понятого офицерского долга. Мы, курсанты, и девчонок-то толком не видели. Сразу после школы — в училище. Опыта ноль. Что это за зверьки такие — женщины, понятия не имел. Но Катюша вовсе не хотела меня нарочно подловить, так получилось. Никогда не женитесь по залету, господа офицеры.

Семья была со мной, в Москве, и жили мы в квартире моих родителей — отец уже вышел в отставку, и они с мамой переехали в загородный дом в Мытищах.

Катя сама познакомила меня с Владой, они вместе работали в школе. Первого сентября я забирал их с учительских посиделок. Жена попросила подвезти подругу — конечно, почему бы нет.

Вечер был неподный, по-летнему теплый. Девушки шли к машине через школьный двор. Катюша, как обычно, в брюках и, по случаю праздника, в блузке с архитектурными излишествами — оборками, рюшечками или как это у вас называется. А Влада в платье с крупным и необычным рисунком. Я и сейчас этот рисунок помню: слоники, пальмы, негритянки с кувшинами на голове. И цвета очень яркие: на белом — черный, желтый, красный, зеленый. Может, на ком-то это платье выглядело бы вульгарно, а Владке шло. Она часто цитировала Сальвадора Дали — за точность, конечно, не ручаюсь: «Хороший вкус, которым так кичатся французы, совершенно бесплоден, зато дурной плодотворен». Владка была в Фигерасе, в музее Дали. Она много где бывала — в Париже, в Риме, в Барселоне. А я за границей ни разу не был. Точнее, был, только не в качестве туриста. Но не об этом речь.

Шла она в этом этнографическом платье, слегка покачивая бедрами, как бы поддерживая равновесие, точно сама несла на голове невидимый кувшин. Светлые волосы забраны в узел. Загорелая, ноги длинные, руки тонкие, грудь торчит заостренными бугорками, как у негритосок на ее платье. Как уж она вела уроки, я не знаю — у старшеклассников точно на нее вставало. Впрочем, в школу она попала случайно и задержалась там ненадолго.

Я вышел из машины и открыл перед Владой заднюю дверцу, а Катя села спереди, рядом со мной. Они переговаривались между собой и пересмеивались, а я поглядывал на Владку в зеркало заднего вида. Набухшие, чуть вывернутые губы, серо-зеленые глаза. Зрачки вдруг кратко вспыхивают голубыми болотными огоньками — казалось, она мне сигналит, как сигналил друг другу водители, предупреждая о гаишниках.

Дома я спросил жену:

— А эта Влада замужем?

— В процессе развода. Она всегда в процессе — замужества, развода или поиска новых отношений.

В следующий раз я увидел ее только под Новый год, и снова с нележкой руки моей жены — мы оказались в одной компании. Платье на ней опять было фантастическое, вроде простое, одноцветное зеленое, но так облегало-обтекало, что хотелось немедленно поглотить ее вместе с этим платьем и туфельками под змеиную кожу.

Пришла Владка с сопровождающим, иначе этого рыжеватого веснушчатого мужичка не назовешь. Она ставила его перед собой, если желала от кого-то отгородиться, и отодвигала, когда он ей мешал.

Я вышел на балкон покурить. Совершенно трезвый. Я редко пью в гостях, чтобы не вызывать такси. Не люблю ездить с кем-то за рулем. Сам и только сам.

Следом вышла на балкон и Владка. На плечи она накинула шубку, а мне хорошо было в одной рубашке. Температура плюсовая, обычное дело для московской зимы. Все таяло, струилось и парило в новогоднюю ночь, и потому казалось, что совершенно невозможное возможно. Недопустимое допустимо. Если зиме позволено стать в декабре весной, то почему же мне нельзя быть с этой женщиной? Ничего невозможного нет. И никому не видно из освещенной комнаты, чем мы занимаемся на темном балконе.

Когда мы оттуда вышли, ее сопровождающий взмолился:

— Владушка, нам пора.

— Нет, милый друг, это тебе пора. А я останусь, — ответила она и стала задвигать его в коридор. Не знаю, уехал он или нет, во всяком случае, куда-то пропал. Может, затерялся в двухсотметровой московской квартире. Как и Катюша — болтала где-то с подружками или помогала хозяйке разносить горячее.

А Владка взяла гитару и спела песенку, показавшуюся мне знакомой. Но песенка была не из нашего времени. Из времени моих родителей. Потом я вспомнил — в Хабаровске у нас в гостях напевал ее один безвременно влюбленный лейтенант.

Этот город называется Москва.
Эта улица, как ниточка, узка.
Эта комната — бочонок о два дна.
И сюда приходит женщина одна.

Меж ключиц ее цепочка мерзлых бус,
он губами знает каждую на вкус,
он снимает их, как капельки с листа...

Ну, и так далее.

Мы с Владой танцевали. Бусы у нее были вовсе не мерзлые. Не мелкий жемчуг. Она носила крупные, массивные украшения, и они были ей к лицу. А я не мог надыхаться ее запахом, смешанным с хорошими духами, — запахом спелого, даже чуть переспелого, заморского плода.

И кому была завещана в века
эта бронзовая тонкая рука?

Из той же песенки слова.

А потом жена сказала, что устала, и я повез ее домой. А сам только и думал, как бы вернуться в ту квартиру. Не сомневался, что Влада там и ждет меня. Решение нашлось быстро. Я незаметно вытянул сотовый из кармана и тихонько спустил под сиденье. А дома стал искать, не нашел, попросил жену набрать мой номер — конечно, звонка мы не услышали. Тогда я сказал Катюше, что, видимо, забыл телефон в гостях, придется туда съездить.

— Так поезжай утром, не к смерти грех, — попыталась отговорить меня жена.

— Нет, утром неудобно, можно хозяев разбудить. Первого вообще никогда не знаешь, кто спит, кто бодрствует, — слукавил я. И мигом слинял. Тогда я еще не умел отказываться от того, чего делать нельзя, даже если очень хочется.

А про грех у Кати получилась оговорка по Фрейдю — подсознание, видно, подсказало ей, к чему идет дело.

Конечно, Владка была там.

И понеслось. В марте мы уже снимали квартиру.

Медленная река

В субботу у Дарьи не было нотариальных дел, и Кеныч предложил поехать на Дон.

— Это же далеко!

— Да нет, от Волгограда девяносто километров. У нас ведь целый день. Пожарим шашлыки. Ок?

Дарья не возражала. На Дону она никогда не бывала.

— Не хочешь поговорить о том, что мне вчера прислал? — спросила она дорогой.

— Нет. Пока нет. Сегодня пришло еще. Позже обсудим. Все сразу.

— Ок, как пожелаешь, — сказала Даша и про себя вздохнула с облегчением. Она не представляла, как с ним говорить. Но знала, что общепринятые инструменты вроде «колеса эмоций» Плутчека, которыми ей приходилось пользоваться в клинике неврозов, здесь не сработают точно.

Они свернули с трассы — несколько бабочек-лимонниц и в этот день расплющились о лобовое стекло, — проскочили дачный поселок, еще один, потом станицу и выехали на степную грунтовку. В придорожной траве Дарья углядела рыжеватых зайцев, прыснувших в подсолнечное море. Листались поля и перелески — и вдруг взметнулись впереди пустынные барханы.

Кеныч остановил свой «туарег». Дальше шла песчаная колея.

— Надо колеса приспустить, а то увязнем.

— Эй, ты привез меня в Сахару?

— Нет. Это Голубинские пески.

— А где же Дон?

— Да в паре километров, совсем недалеко. Наука утверждает, что пустыня здесь появилась из-за последнего оледенения. Сюда тянулся с севера край ледника — так называемый донской язык. Льды стали таять, воды понесли с собой песок, он постепенно оседал на дно древнего Дона. Потом русло реки сместилось, вода ушла, песок остался, и ветры взгромоздили его в гряды. А Голубинскими пески назвали потому, что в Дон напротив впадает речка Большая Голубая. Там же станица Голубинская.

Кеныч ехал не слишком медленно, но очень ровно между колеями и плавно притормаживал перед малейшим поворотом. Водитель он был искусный — Дарья, сама водившая неплохо, отметила это еще в первую поездку. Она спросила:

— А можно немного погулять по пустыне?

— Конечно, только найду место, где остановиться. Чтоб был уклон, иначе нам потом не тронуться. Вот тут, наверное.

Они вышли из машины и поднялись на ближайший бархан. Кое-какая растительность в пустыне присутствовала. Сухие веточки с пыльными соце-

тъями, будто их вынули из гербария и вставили в песок. Полынь и ковыль. Струйками дыма поднималась серая трава. Встречались и оазисы — в низинах из-под песчаного пласта тянули воду длинными корнями ольха, березки, карликовые сосны.

— Смотри, — позвала Дарья Кеныча, — ящерица почти совсем бесцветная! Альбинос? Мутант?

— Да никакой не мутант. Просто мимикрирует, притворяется песком, чтобы не стать добычей.

— Добычей чьей?

— Не знаю. Может, ящериц едят змеи. Может, еще кто. Каждый чья-то добыча. Пойдем, покажу тебе один экспонат.

— А что там?

— Снаряд от 150-миллиметровой гаубицы.

— Времен Отечественной?

— Ну, да. Сто раз уже звонил, чтобы забрали, сегодня глянул — он и ныне там.

Они прошли по пустыне метров двести, и Дарья увидела огромную рыжую кеглю, открыто лежавшую на песке. Снаряд даже не слишком заржавел, отливал бронзой на солнце.

— А если взорвется? — ужаснулась Дарья.

— Да нет. Если не трогать. Не дай бог, найдут мальчишки, начнут колупать... Но здесь никто особо не бывает. До ближайших поселков — Песковатки и Рюмино довольно далеко.

Они вернулись на твердую дорогу и поехали к реке. Кеныч устроил свой «туарег» в прибрежном леске, и Дон открылся им сначала бледно-серой полоской между ветвей.

День был неяркий, в матовой голубоватой дымке. Берег напротив с полукружьями меловых откосов, разделенных ложбинками, напоминал арочный мост. А Дон — серо-зеленая вода — тек медленно, над чем-то размышляя.

Не успели они расположиться, как их уединение нарушили. Сначала накатила звуковая волна. Впереди подбитого «жигуленка» несся гудящий рой попсы. Орущее «ведро на колесах» остановилось метрах в тридцати, разом открылись дверцы, спереди вывалились два крепких с виду юнца, один явно навеселе, другой, тот, что был за рулем, тоже не вполне трезвый, а сзади выкатились две девицы.

— Как же они сюда попали? — удивилась Дарья. — По песку ведь только на внедорожнике проехать можно?

— Тут есть и другая дорога, вдоль берега. Но не нравится мне это соседство. Похоже, задиристые щенки, из тех, что гавкают не по делу.

Кеныч оказался прав. Он раскладывал походный брезентовый столик, когда один щенок, сильно подвыпивший, вдруг двинулся в его сторону.

— Эй, дядя, ты занял наше место! Давай, вали отсюда.

— А что, вы это место оплатили в небесной канцелярии? Или забронировали онлайн? — вежливо поинтересовался Кеныч.

— Чего-чего?!

Второй щенок сунулся в багажник и достал битку.

— А так что скажешь, дядя?

И оба пошли на Кеныча. Сзади хихикали и вихлялись девицы.

Кеныч задвинул Дарью за спину, велел:

— Иди в машину! — каким-то чудом у него в ладони оказался ключ. — И заблокируй двери.

Она повиновалась, не раздумывая. Но не успела сделать и трех шагов, как сзади раздался вопль. Дарья обернулась — оба щенка опрокинуты навзничь, валяются на песке, и битка с ними. Девицы скачут и визжат.

— Уходим, — сказал Кеныч, поднял битку и отбросил далеко в кусты. — Мало ли что еще им в голову взбредет. Не хочу с малолетками связываться.

Щенки и их подружки крутятся около своей машины, тихонько тявкают.

— А если они двинутся за нами?

— Туда на «ведре» точно не проехать. Увязнут.

На новом месте Кеныч снова разложил столик, расставил стулья. Даша вошла в реку, немного проплыла вдоль берега, совсем не ощущая движения воды.

Кеныч сказал:

— Тоже пойду окунусь. Не боишься остаться одна?

Даша не боялась. Она давно была одна.

Кеныч переплывал на ту сторону. Не торопясь, размеренно, в темпе медленной реки. Дарья отслеживала его голову над водой — зрение у нее было острое, перископ работал исправно. Выйдя наискосок от их лужайки — каким бы кротким ни был Дон, а течением сносило любого пловца, — он помахал ей и прошел по берегу обратно довольно далеко, чтобы вернуться туда, где вступил в воду. И это удалось ему с ювелирной точностью.

Дымились угли в мангале, румянились шашлыки. Сырые кусочки баранины, которые Кеныч ловко насаживал на шампуры, выглядели жирноватыми, но снятые с огня оказывались сочными и нежными, из них вытапливалось сало. Кеныч нарезал помидоры и огурцы, разложил зелень — за всем этим он утром съездил на базар.

— А как насчет десерта? — спросил он, не глядя на Дашу и не прикасаясь к ней. Она обняла его сама, поцеловала в щербинку над бровью.

После сеанса сказала, проведя рукой по твердокаменному телу:

— Ты мой герой, — с интонацией, лишённой всякого пафоса. С улыбкой в голосе. Но только потому лишь, что опасалась — вдруг Кеныч поморщится, скривится. На самом деле у нее не вызвал бы доверия мужчина, который без смущения признался бы, что не владеет никакими навыками защиты, не говоря уже о боевых искусствах.

Он не поморщился. Как всегда, помолчал, дав протечь времени. Протянул к ней руку, осторожно взял за подбородок, повернул к себе ее лицо:

— Красота — не страшная сила. Страшная сила — герои. Был у меня один кент. Супервоин. В первый раз я увидел его на плацу — он демонстрировал технику «маятника». Качался на бегу из стороны в сторону, как Нео в «Матрице».

— Чтоб пулю не словить?

— От пули не увернуться. Скорость пули 900 метров в секунду. Чтобы сбить с толку стрелка. Когда бегущий молниеносно меняет скорость и направление движения, противник не успевает вовремя нажать на спусковой крючок. Только занятия закончились, кента как ветром с плаца сдуло. Потом он мне сказал, что не выносит открытых пространств.

Байки о нем ходили разные, по большей части невероятные, но была и правда. Боевики захватили больницу, там вместе с гражданскими лежали несколько раненых и этот кент с простреленной ногой. Ребят кого поубивали, кого стащили в подвал, а кента приковали к железной кровати, заперли и поставили пару юнцов сторожить. Наверное, раздумывали, как бы его со вкусом прикончить. А он оторвал от кровати спинку, вырубил парней, забрал ключи от наручников, отцепился, свернул охранникам шеи и на одной ноге ушел. Ему объявили личный джихад. Назначили награду за поимку.

— Погиб?

— Да нет, живой. Фамилию и имя сменил. Помогли сменить. Построил себе дом-крепость. С двумя линиями обороны — забором внутренним и внешним. С окошками под потолком — бойницами. Там даже днем темно.

— Это тот самый, из Ростова, что опасается ковида?

— Ну да. Ты же у нас как в воду смотришь. Пойдем в нее окунемся. Не в кровь, а в воду.

Обратно они поехали через прибрежный лес, минуя пустыню. И снова встретили донских знакомых. Их «жигуленок» свалился правым боком в ка-

наву. Одна девица сидела за рулем, другие трое пытались его толкнуть. Колеса верещали и прокручивались, двигатель хрипел из последних сил.

Кеныч остановился, вышел из машины. Толкавшие замерли, глянули в его сторону с опаской. Оба парня немного протрезвели.

— Бросьте. Бесполезно. Только резину сожжете. Есть у вас трос?

Щенок, тот, что задирал Кеныча, полез в багажник.

— Цепляй, — велел ему Иннокентий, а второму сказал:

— Садись за руль. Я тронусь — жми на газ. Нежно.

С первой попытки «фольксваген туарег» плавно вытянул «жигуленка» на дорогу.

Парни отцепили трос.

— Вы нас простите, — сказал один.

— Спасибо вам, — сказал второй.

— Не стоит, — ответил Кеныч и опустил стекло.

На въезде в город Дарья спросила:

— Домашнее задание сегодня будет?

— А как же! Уже отправил.

Предмет искусства

Первое время с Владкой я чувствовал себя слоном в цирке. Ходил за ней по пятам без веревочки, ждал ее команд и беспрекословно выполнял. И это доставляло какое-то особое наслаждение. Какой-то новый вид наслаждения.

Вдоволь наигравшись, Владка милостиво согласилась выйти за меня замуж, но предупредила:

— Только не обольщайся, милый друг, штамп в паспорте ничего не значит. И борщей от меня не жди.

Готовить она умела. Но не готовила. У моей Кати не очень-то получалось, ей это было не дано, но она хотя бы старалась. А с Владкой мы ходили по кафешкам, заказывали роллы или пищу на дом. Потом я собирал тарелки и составлял в посудомойку — приобрести ее Владка велела сразу, как мы съехались.

Она позиционировала себя как женщину-праздник. Праздник, который не всегда бывает с тобой.

Я подал на развод. Катя, прежде такая покладистая, смиренная, резко озлобилась, истерила, не давала видеться с дочкой. Если бы жена просто молча смотрела с укором, я бы ужасно угрызался, а так она почти избавила меня от чувства вины. Вины перед брошенной женой. Но не перед дочерью.

Отец на меня тогда страшно осерчал. Считал, что я обязан сохранить семью. Вообще у нас с ним были разногласия по многим существенным вопросам. Если бы я при его жизни уволился из армии, он на порог бы меня больше не пустил. Но странно — когда у него исчерпывались аргументы, он говорил: «Не разрушай мою картину мира!», и это звучало скорее не как требование, а как просьба, даже иногда мольба. Формальная верность жене тоже была элементом этой картины. А мама меня строго не судила. Считала, что Катя взяла меня обманом. Хотя, конечно же, ее жалела. А Машку обожала.

Мама и убедила Катю, что нельзя отсекал от дочки отца. Но когда мне удавалось встретиться с Машей, я не знал, как с ней быть. Мы ходили в кафе, пару раз в театр. Когда не живешь со своим ребенком каждый день, трудно придумать, о чем с ним говорить. Спрашиваешь: «как дела в школе?», прекрасно понимая, что ее волнует совсем другое, только ты не знаешь что. Тем более если это девчонка.

Потом и эти жалкие встречи прекратились. Катюша вышла замуж за... австралийца и Машку забрала с собой. Она ведь, как и Владка, учила детей английскому, неплохо его знала. Вот и скачала мужа из интернета. Никогда мне не понять таких браков. Как можно сойтись по фото? Если не чувствуешь запах женщины.

А моя кошка Влада тем временем гуляла сама по себе. И все встречные мужики на нее глазели, я это точно знал. Она и не скрывала:

— Так и будет, привыкай! Красивая женщина — всеобщее достояние, принадлежит всем и не принадлежит никому. Как предмет искусства.

Супервысокая самооценка! Не такая уж она была и красавица. Блондинка ненатуральная — волосы обесцвечивала. Губы накачивала. И желудок у нее часто расстраивался. Но даже в запахе с грубыми нотами дезодоранта, оставленном ею в туалете, было что-то влекущее — всюду за ней тянулся этот чертов шлейф.

Шлейф из феромонов.

Однако праздник по имени Влада бывал со мной все реже и реже. Я часто отсутствовал, ездил в командировки от одной известной газеты. Но даже когда бывал в Москве, она не баловала меня своим обществом. Все больше встречалась с подругами, а наряжалась, как на свидания. Тогда еще не пришла мода на эти безразмерные балахоны. Оверсайз это у вас называется. Может, теперь и Владка бы это носила. И к платью вместо легких туфелек надевала бы кроссовки. Хотя я сомневаюсь. Кроссовки с джинсами — конечно. А с платьем... по-моему, ужасно: как будто дама наступила босиком в выцветшие коровьи лепешки и тащит их на своих ступнях.

Дома Владка иногда брала гитару, нехотя тренькала и пела тоже тихонько, вроде про себя:

И лишь одна ерунда его сводила с ума,
Он любил ее, она любила летать по ночам.
Он страдал, если за окном темно,
Он не спал, на ночь запирает окно,
Он рыдал, пил на кухне горький чай,
В час, когда она летала по ночам.

А Владка поет себе и поглядывает ласковым и нежным инквизитором.

Выбросит язычок, облизнет свои негритянские губы — и я снова умер. И все простил, даже ее ночные отлучки. И не думаю о том, что она, конечно же, спит со своим мелким олигархом, к которому устроилась, уволившись из школы. С держателем каких-то офисов и складов.

Отдельно взятый рай

Утром они пошли на Мамаев курган. Солнце еще не жгло, а только слабо трепетало сквозь листву пирамидальных тополей, и спектр его был нежно-зеленый и бледно-желтый. Но по мере того как они поднимались к вершине по двумстам, по числу дней Сталинградской битвы, гранитным ступеням, в этом спектре проявлялись красноватые оттенки; и алая волна шла не от солнца — солнце заслонял крылами ангел с мечом разящим.

В зале Воинской Славы света не было, его заполняла другая субстанция — вязкая бурая мгла, и сквозь нее проступали на стенах имена 35 тысяч погибших. И вился факел в проросшей из подземелья руке.

Они вышли, постояли на площади Скорби около матери, склонившейся над телом сына, слепленной не из бетона — из спекшегося пепла.

Обычно разговор возобновляла Дарья. Здесь первым вступил Кеныч:

— У них не было выбора. Пришлось им стать героями. Сделали гвозди из этих людей, не было в мире прочнее гвоздей.

Обрыв строки. Молчание.

— Мой прадед тут воевал, Сергей Александрович. Вместе с полковником Виноградовым вел переговоры о капитуляции в штабе генерала Штрекера. Свободно говорил по-немецки, служил переводчиком.

— Расскажешь?

— Нет. Лучше дам почитать. У меня есть про это статья.

Пару часов Дарья провела у нотариуса, а после Иннокентий повез ее в гости к своему дяде, брату покойного отца. Они с женой жили в коттедже в тридцати километрах от Волгограда.

Выходя к Кенычу из нотариальной конторы, Дарья в очередной раз увидела себя в его зеркале. Длинная юбка, расписанная райскими цветами, майка топленого молока, туфли-балетки. Он ею любовался, не скрываясь.

— У нас в семье два генерала — отец и брат его Слава, — напомнил он Даше по дороге. — Отец был военный классический, служил там, куда родина посылала, к счастью, в точки хоть и удаленные, но не слишком горячие. Благополучно закончил карьеру в Москве. Он был старший. А младшего брата родина послала сначала в Афган, потом в Чечню. Остался жив только чудом. Отец называл его «Славка-булатные-яйца».

Молчание. Крейсерская скорость. Две бабочки-лимонницы расплющились о лобовое стекло.

— Семь лет назад дядя Слава досрочно вышел в отставку. Не спрашивай почему. Сейчас у него охранная контора в Волгограде. Это он меня в банк к своему приятелю устроил.

Они подъехали к небольшому двухэтажному коттеджу под красной черепичной крышей. Генерал вышел из ворот им навстречу. Невысокий, худощавый. Рыжие усы, седые виски. Лыдистые, очень светлые глаза на сильно загорелом, оранжевом, лице. Он обнял Кеныча за спину, не дотянувшись выше, а Даше подал твердую сухую руку:

— Станислав Алексеевич. Можно без отчества, детка.

Он посмотрел на нее так же, как Кеныч — Даша увидела себя в зеркале, и отражение ей польстило.

В саду вокруг дома — летнее пиршество цветущих растений: лиловые кусты лаванды, ванильные друзья гортензий, весь в белых звездочках клематис, виноградная лоза с созревающими красноватыми кистями по изгородям и стенам и, конечно же, розы — нежные пленительные розы всех теплых оттенков спектра.

— Вот, оборудуем рай на отдельно взятом участке, — сказал генерал. Он еще помнил о дерзновенном плане построения социализма в одной отдельно взятой стране, а Даша с Кенычем, наверное, нет. — Растения у жены как дети. Она с ними беседует, хвалит их или сердится, если завянут, плачет.

Дядя с племянником пошли к курившемуся мангалу, а экскурсию по саду продолжила генеральша — кареглазая, с южным улыбчивым голосом тетушка Анна.

На клумбах и стриженных лужайках бьют фонтанчики — система орошения у генерала работает, как часы. В прудике, каменной чаше, мог бы плавать веселый резиновый гусь — красные лапки, оранжевый клюв. Вот-вот из-за дома выскочат дети — непременно мальчик и девочка — с лебедем, черепахой, с какой-нибудь еще надувной игрушкой и запустят их в пруд. Магия лета.

Но никаких детей не было.

Генеральша показала Даше дом — можно подумать, ей предстояло здесь не раз бывать. И даже ночевать в горнице, где на широкой кровати дремали подушки в наволочках с цветочным рисунком. Пить чай на веранде с видом на протоку, по-здешнему ерик, на лиственный лес за протокой.

Стол накрыт белой скатертью в увитой плющом беседке. Красно-зеленый натюрморт из помидоров-огурцов. Овощи, запеченные на решетке, — конусы перчиков, диски кабачков, лодочки баклажанов. Сазан на желтом блюде благоухает травами, лимоном, речной водой.

— Мяса мы не едим, — пояснил генерал, — и рыбу тоже. Но подаем гостям.

— И этот член семьи у вас вегетарианец? — спросила Даша, глядя на безразмерного рыжего кота, лисьим хвостом распластавшегося на гравийной дорожке. Казалось, соблазнительные запахи его совсем не волновали.

— Э, нет, он только в виду хозяев такой лапочка. А на вольном выгуле ловит и душит все, что движется. Только что, перед вами, пробежал по двору с землеройкой в зубах. Хладнокровный убийца!

— Он не убийца! — вступилась за кота тетушка Анна. — Он просто хищником родился.

— Конечно, — сказал Кеныч. — Убийцами бывают только люди.

Генерал и генеральша разом посмотрели на племянника. Тревожно и с нежностью. А когда он вышел покурить за ворота, дядя Слава сказал:

— Он классный парень, наш Кеша. Только невезучий. Не обижай его, уралочка. Ничего, если буду говорить тебе «ты»?

— Конечно, — кивнула Даша.

Иннокентий вернулся.

— Человечество необучаемо: воевало, воюет и будет воевать, — говорил генерал. — Пока само себя не уничтожит, если не одумается. Странно это слышать из уст военного, пусть и бывшего, не правда ли?

Ответа он не ждал, а Дарья бы ответила: о том, чтобы услышать подобное из уст генерала, можно только мечтать.

Тетушка Анна собирала посуду, Кеныч составлял ее на поднос и относил в дом. Даша хотела было последовать за ними, но Станислав Алексеевич придержал ее за руку:

— погоди, детка. Скажу еще про Кешу. Ты ничего о нем не знаешь, а сам он не расскажет. Он у нас бессловесный герой. Ездил мать навестить в Москву, спас парня в метро. Подростки пихали друг друга на платформе, один случайно оступился и упал на рельсы. Кеша нырнул за ним (реакция — секунда, вспомнила Даша), подхватил и выбросил на платформу. Чудом успел выскочить сам. Хотели ему вручить какую-то медальку, только Кеша получать ее не стал. Не любит он пафоса, и я не люблю.

Вечер был пылкий, чаю никому не хотелось. На веранде, где могла бы разместиться большая семья, ели арбуз. Еще одну ягоду в полосатой шкурке дали гостям с собой.

«Фольксваген туарег» летит на запад, на бронзовое солнце. Никто больше не бьется о лобовое стекло — у чешуекрылых, наверное, закончился сезон самоубийств.

— Их сын Максим, двоюродный мой брат, в четырнадцатом погиб под Горловкой, — сказал Кеныч, въезжая на танцующий мост. — А с дочерью Оксанкой они общаются по телефону. Редко. Она давно живет с детьми в Киеве, зять служит в украинской армии.

С моста виден ангел с мечом, за ним опускается солнце. Иссиня-черный траурный ангел, выгравированный на медной пластине.

В студии Даша открыла новую запись.

«А поутру она клялась...»

К тому времени я окончил Академию и отправился в Волгоград, как говорится, для прохождения дальнейшей службы. Была у меня возможность остаться в Москве, но, чтобы ею воспользоваться, нужно было... короче, пользоваться я не стал. К тому же я тогда уже по уши погрузился в историю Сталинградской битвы, и мне хотелось оказаться на месте событий.

Владка в Волгограде совсем заскучала. Не для того она выскребалась из уральского Красноуфимска и зацеплялась в Москве, чтобы оказаться в волжской провинции. Весной двенадцатого года она отправилась в Италию, но не от туристической фирмы, а по приглашению подружки Светы, которая уже несколько лет жила в Риме замужем за итальянцем. У них Владка и познакомилась с Пепино, дружкой Светкиного мужа Джанни. Они прекрасно про-

водили время вчетвером, ходили по ресторанам, ездили на Капри, в общем, устроили итальянцы русским девушкам сладкую жизнь. Язык, кстати, Владка знала неплохо. Когда же пришло время уезжать, Пепино уговорил ее сдать билет и снял квартиру для двоих.

Узнав, что Владка не собирается возвращаться, я не особо и расстроился. Мне только непонятно было, как она могла решиться на такую авантюру. Видно, вдохновил Светкин пример. Но итальянец итальянцу рознь. Ни Джанни, ни Пепино не были коренными римлянами. Джанни родом из Флоренции, а Пепино с Сицилии, из какого-то маленького городка, название забыл. А это совсем другое дело. Итальянец северный вполне себе европеец, итальянец южный, как и сто лет назад, исповедует Familismo: где бы он ни был, в выходные едет домой, чтобы присутствовать на воскресном обеде в кругу семьи. Или родители приезжают к нему и проводят у него субботу-воскресенье. Если сынок не женат и у него нет подружки, мама стирает и гладит его одежду, готовит ужин, а если жена или подружка имеется, закатывает скандалы, вздумай та предложить маммоне помыть посуду. Маммоне — это маменькин сынок.

Как только они поселились вместе, Пепино заявил, что Влада должна сидеть дома, ждать его возвращения с работы, наводить чистоту и готовить ужин, как его сицилийские мать и сестры. Ну, и все остальные прелести мужского шовинизма — оставалось только закрыться чадрой. Но сидеть взаперти, когда вокруг благоухает Италия, Владка не могла, она гуляла в отсутствие Пепино, и в вечном городе это сходило с рук легко. Но однажды он привез ее в свой городок, чтобы познакомить с семьей. Вскоре куда-то смотался с друзьями, а Владку оставил скучать с матерью и младшими сестрами, которых она совсем не понимала — они говорили на сицилийском диалекте. Вот Владка и решила выйти одна, хотя семья ей намекала, что делать этого не стоит. Зашла в кафе — там одни мужики, и все разом повернули головы в ее сторону. Но вовсе не потому, что Владка была такой уж неотразимой красоткой, как она сама о себе воображала. Просто не принято на Сицилии женщине заходить в кафе без сопровождения мужчины. Пепино донесли, что Влада выходила без него, тот вспылил и дал ей пощечину. Потом последовало бурное итальянское примирение, но ненадолго. Когда Пепино снова собрался на Сицилию, Владка с ним ехать отказалась. Он взбесился и чуть ли не силой затолкал ее в машину: «Моя женщина должна повсюду следовать за мной!»

Дорогой Владка заявила, что пример сицилийских женщин, в том числе его обожавшей мамочки, ее совсем не прельщает.

Не дай бог сказать сицилийцу что-либо нелестное о его матери — долго не проживешь! Мать подобна Мадонне.

Маммоне затормозил так резко, что едва не вылетел с трассы. Схватил Владку за шиворот и вышвырнул из машины. А сам сел за руль и был таков. К счастью, она смогла дозвониться Светке, Джанни ее забрал. Я выслал ей деньги на обратный билет.

В тот год умер отец, мама была очень плоха. Отпуск я провел с ней в Москве. Только вернулся в Волгоград, и тут является блудная Владка. Волосы пегие — потоптанная трава, глаза пустые. И тяжелейший приступ панкреатита — неделю в обнимку с унитазом. Это итальянское приключение почему-то сильно ее подкосило. Однако она оклемалась и взялась за старое. Но меня это уже мало волновало. Раньше, когда она подставляла щеку для поцелуя, я прикасался к ней с настоящей нежностью, а теперь и мой поцелуй стал скорее формальным, «для галочки».

Июнь четырнадцатого. Я со дня на день ждал, когда меня отправят... ну, ты понимаешь куда.

Однажды Владка явилась под утро. Я курил на балконе, видел, как она выходит из чьей-то машины, а может, из такси. К подъезду не пошла, села на лавку. Я к ней спустился. Владка с лавки встала и пропела — тоненько так, даже визгливо:

А поутру она клялась,
Что это было в последний раз.

И с вызовом, как всегда:

— Но клясться я не буду! Да еще и не утро.

Поднялись домой, Владка в душ пошла. Выглянула оттуда голая, велела по старой привычке:

— Принеси полотенце.

Я взял из шкафа, принес. Она стоит, расставив ноги, — матрос на палубе. И пошла на меня, боками виляет, руки тянет, глаза блудливыми болотными огоньками попыхивают.

Я ее даже не толкнул, просто отодвинул. А она, видно, поскользнулась на мокром полу и с размаху ударилась виском о край ванны. Как в кино.

Пока я ждал «скорую» и полицию, в ее сумке запел телефон. Голосом Владки.

— Этот город называется Москва...

Кому-то из своих хахалей назначила она эту мелодию.

Вот так, Даша. Наверное, ты давно уже обо всем догадалась. Можно было квалифицировать это как несчастный случай или хотя бы убийство по неосторожности. Дядя Слава нанял мне адвоката, поднял все свои связи. Но любого снисхождения я опасался. Если бы отделался минимальным, тем более условным сроком, то никогда бы не изжил свою вину. Стал бы пить или еще что похуже.

Ты говоришь, вина — это рюкзак с камнями. Это бы еще ничего, спина у меня крепкая. Но нет, моя вина — это жжение то ли в груди, то ли между лопаток. Пронзительное, сквозное. Кто-то сказал: боль просыпается вместе с человеком, но не всегда засыпает с ним. Так и моя вина. Никогда не проходит. Иногда усиливается до рези. Русское слово не такое острое, английское точнее: “Guilt”. Звучит как штык, кинжал.

А ирония в том, что мое имя в переводе с латыни означает... Ты знаешь, конечно.

Пока я отсутствовал, Машка окончила в Сиднее колледж, вышла замуж за соотечественника, у них родился сын, а год назад они вернулись в Москву. Мама переписала на Машку квартиру в Плетешковском переулке.

За этот год в Москве я бывал пару раз. Маму навещал, сидел в архивах. Но дочь так и не видел. Ходил вокруг дома, набирал ее номер и сбрасывал, не дождавшись ответа.

Вчера говорил с мамой (он очень бережно произнес это слово). Мама сказала, Машка меня очень ждет.

Туннель

Дарья кликнула Кеныча, он ответил сразу, но голос был другой. Она догадалась, что он нетрезв и не дома.

— Да, я напился, — прошептал Кеныч.

— Ты где?

Молчание. Черная дыра, в которой исчезает время.

— Зачем тебе? У плотины.

— Ты на машине?

— Был... тут она... стоит...

— Как мне тебя забрать?

— Никак. Не надо забирать... сейчас пойду в машину... лягу спать.

— Скажи, куда подъехать. Я все равно тебя найду!

Молчание. Где-то течет вода, уносит все слова.

— Ну, есть тут один съезд.

Даша взяла такси. До места по пустому городу, который тянется вдоль Волги почти на сотню километров, они домчалась минут за двадцать. Таксист свернул к реке:

— Обычно подъезжают сюда.

Даша вышла и сразу же увидела «фольксваген туарег». Но там никого не было. Она позвонила — абонент вне доступа.

Каменноугольная чернота, если бы не цепь огоньков плотины и редкие искры зарниц. Она пошла на плеск ночной воды, маслянистой лавы.

Кеныч сидел на берегу. Рядом притулилась пустая бутылка. Ключ от машины он зажал в ладони.

— Дай ключ, — велела Даша.

Кеныч послушно разжал пальцы.

Даша потянула его за руку, заставила подняться, довела до машины. Прав у нее с собой не было, но все же она решила сесть за руль, назвала навигатору адрес студии.

Пепельный ночной мотылек обследовал лобовое стекло. Кеныч дремал на пассажирском сиденье, Даша его тормошила, говорила с ним, как с раненым: «Эй, только не спи, не закрывай глаза». Спящего дискобола ей не вытащить из машины.

В студии она уложила Кеныча на кровать, села рядом, его голова у нее на коленях. Посверкивают за окном зарницы. Белый ангел парит над курганом. Даше поет колыбельную Кеше, покачиваясь из стороны в сторону, обняв его, сколько хватает рук.

Утром свершилась квартирная сделка. А вечером позвонила Дашина Маша и сказала, что они с другом уезжают в Таиланд — может, на месяц, а может, и на год.

— На что вы там будете жить? — ужаснулась Дарья, сразу не осознав наивность вопроса.

— Mam! Мы с Антошкой можем работать из какой угодно точки земного шара, была бы сеть.

Раньше подобное известие повергло бы Дарью в шок. Но теперь она первым делом подумала, как распорядиться деньгами. Наверное, стоит просто оставить их на счете до лучших времен. Сканирующее подсознание подсказывало ей, что Маша с милым другом осядут в Таиланде на неопределенный срок.

В день отъезда Кеныч с Дашей пошли в Сталинградский музей-заповедник. Она увидела все, что показывают экскурсантам: панораму битвы, руины мельницы Грудинаина, стену Родимцева, дом Павлова, памятник морякам Волжской флотилии. Но от своего персонального гида Даша узнала много такого, чего никогда не услышишь на обычной экскурсии.

А потом они поехали на ерик Саблю. Наверное, если посмотреть сверху, протока своей конфигурацией действительно напоминает это древнее оружие. Но берег Сабли показался Даше самым безопасным местом на Земле. Цвета простые и чистые, как на детском рисунке или на картине художника-примитивиста: голубой — небо, белый — облака, зеленый — трава у воды, желтый — песчаные пригорки на том берегу. Цвета знамен и крови нет нигде. Только малиновые капельки мышиноного горошка на прибрежной лужайке.

Они проплыли по ерику, следуя изгибу его саблевидного русла. Ивовую ветку, свисавшую над водой, обвивала серо-коричневая змея с ромбовидным рисунком — гадюка. Но Дарья даже не вскрикнула. Змея ведь никому не угрожает, если ее не трогать. Пока они с Кенычем вместе, она может выключить свой перископ. Ненадолго. Потому что над ними уже занесли булаву. И скоро они узнают, каково это — каждое утро, просыпаясь, мысленно надевать траур.

Но сейчас они обсыхают на солнце. Ее голова у него на плече, на гладком и теплом камне.

— Дарья... У тебя персидское имя... древнеперсидское. Я вчера посмотрел.

— Изначально оно было мужским. Имя Дарий носили трое страшно воинственных персидских царей.

— Не хочу про царей. Давай-ка лучше сыграем в слова.

— Дарья — короткое имя. Много слов не придумаешь.

— Вот тебе три: ряд, яр, дар.

— А еще ад и яд. — Она слегка куснула его за мочку уха.

— Сладкий яд.

Он заигрывает с ее волосами, потом с ее рукой, потом...

Они лежат под серебристым тополем на взгорке над протокой. Небесный шелк, золотистый и синий, скользит сквозь листву.

— Туда я больше не пойду, — говорит Кеныч.

— Туда — это куда?

— Туда. Уж лучше оказаться там, откуда недавно вернулся.

— А если она — та, о которой нельзя говорить, вернее можно, но только хорошо или ничего, — сама придет к нам?

— На ядерную державу никто не нападает, — безо всяких пробелов ответил Кеныч. — И закроем на этом тему.

— «Лето прожить, не подумав о смерти», — строчкой уральского поэта согласилась с ним Даша.

Мимолетное райское облачко в небе — и такое же в зеркале ерика. Ветерок развлекает листву. Молодая змея соскользнула с ивовой ветки и плывет по протоке, вертикально вращаясь в воде.

Вечером он проводил ее на вокзал — билет до Ростова Даша приобрела еще в Екатеринбурге, — а сам отправился в аэропорт, чтобы первым утренним рейсом вылететь в Москву.

Поезд тронулся, все заняли свои полки. Даша открыла музейный сборник и прочитала о Кешинном деде-переводчике, сопровождавшем полковника на переговорах с генералом Штрекером. О том, как они шли к развалинам, где помещался окруженный советскими частями фашистский штаб. Под дулами немецких автоматчиков, которых держали на прицеле советские солдаты. Мимо заледенелых трупов. Под какофонию железной перестрелки.

В купе погасили свет. Соседка Даши опустила шторку, и их всосала черная воронка туннеля, оставив одно измерение — время. Даша хотела было приподнять шторку, но побоялась помешать спящим. И тогда ее обвил ужас, то сжимавший, то разжимавший кольца в такт перестуку колес.

Под утро шторка сама поползла вверх, из-под нее подтекал свет. Плакал ребенок в соседнем купе. Даша слегка расширила щель. Ветряные мельницы в стиле хай-тек медленно вращали пиками против часовой стрелки. Их облепили намертво гигантские бабочки.

В октябре Иннокентий и Дарья встречались в Москве, в Рождество были вместе в уральской столице, и Кенычу с первого взгляда так понравился этот стремительный город, что он перестал уговаривать Дашу переехать к нему в Волгоград.

А дальше — туннель без пустот и просветов. Он будет длиться и длиться, но однажды закончится. Темно-зеленым августовским вечером. С проблеском солнца в листве.

Ольга Фадеева

Дуновенье света

Шершавые стволы, потёки мха,
зиянье синего. Трава ещё тиха,
ещё тушется под взорами небес,
чьим светом осиян оживший лес.
Возри на мя! Бысть свету твоему
в моих потёмках, как в своём дому.
Так ландыш, отряхнувшись от земли,
издалека заводит песнь свою.
Возри!

Дым исчезнет, туман рассеется,
и останется это деревце,
что из отрочества пророчествует,
поднимаясь над плотью сруба —
сердцу пагубой —
мощью дуба
в жизнь по кругу.

...Ещё не свет, но дуновенье света,
низверженного света естество, —
предтеча лунного, затерянного где-то,
так и не подтвердившего родство...
Ступаешь бережно. А что тебе осталось?
Дорога к дому, на твоих глазах, —
когда ещё природа так старалась? —
теперь дорогой стала в небесах.

Ольга Фадеева — родилась в Грозном, окончила географический факультет Казанского государственного университета. Печаталась в журнале «Урал». Автор двух книг: «Камень, трава, песок» и «Встречный свет». Живёт в Екатеринбурге.

На всех достанет птиц.
Порой в глухом забвенье
не замечаем их, равно как — звёзд. Но вот,
настал тишина. Ни щебета. Ни пенья.
И оторопь берёт.

Тот прочитал прикосновенье,
тот чует дух, тот в корень зрит...
Всяк в тесноте благословенной,
открывшись миру, свой творит.
Вот только слух изнемогает —
расслышать сердце норовит.

Может, ложь хороша
там, где мастерски правду играет,
если пьеса берёт за живое,
обычай круша,
и потерянно, каждое слово
к себе примеряя,
с неизжитою болью
в ночи распростится душа.

Вдруг уверишься в том, где на мелочи тратишься щедро,
замирая над каждым вот только расцветшим кустом,
над верхушками трав, что качаются вовсе не ветром,
там ты жизни обязан особенным с нею родством.
Что ни день — чудеса, что ни вечер — со звёздами встреча.
В чём заслуга твоя, что тебя берегут под крылом?
Ну, кусты посадил, ну, подставил, по случаю, плечи...
Разве ж это предтеча тому, что случилось потом?

Я — часть всего, что видело меня
с тем, что увидел я дотолё, —
мы прирастаем поневоле,
в ответ препятствий не чиня.
В пересеченье взглядов я,
то — целый мир,
а то — не боле,
чем порошок бытия.

Коротко на лету обнять чужую руку,
там — другую, и — ещё...
а между непрестанно удерживать
и отпускать...
касаться и отстраняться...
Где-то поздним уже вечером
пройтись самовластно
по волосам у правого виска,
не встречая сопротивления,
и улечься на постамент колена
подушечками пальцев вниз
в извечной готовности взлететь.

На камне мох. Затеяливая вязь.
Невольное: откуда ты взялась?
Но мне дороже всё-таки ответ:
А что не так, где мха покуда нет.
Здесь те же пыль и влага, наконец.
А что с теплом?
Тепло всему венец...

Бочажок воды зелёной,
лист зубчатый лебедеды,
белые стволы на склоне
близ звезды...
Ты прошёл когда-то мимо.
Отчего теперь — незримый —
снова где-то рядом ты?

...Видно, каждый по-своему прав,
наособицу силу являя.
Только участь завидней иная
там, где музыкой мир утешают,
между равными силу отдав.

Простодушием не греша,
пребывая в нём дни и ночи,
след эскизный карандаша
за чертёж почитать рабочий.

Затемно, не безнадежно
всякий солнца ждёт.
Безрассудчно-безбрежно
свет его грядёт —
в паутине на заборе жемчуг перечтёт,
в разношёрстном птичьем хоре
искрою сверкнёт...
Но из всех даров бесценней
то, что видим мы
наши собственные тени
как частицу тьмы.

Чуть колеблется чаша пруда,
и вода, в гребешках замирая,
превращается в серую стаю —
каждый сам по себе —
навсегда.
Чтоб потом, позабыв холода,
целым стать, а не серою братьей,
раскрывая друг другу объятья,
и опять — навсегда...
Навсегда.

Посадочных огней
родные голоса:
ты — на земле. Точней, —
жизнь продолжается.

Вверх по течению —
взлёты-падения —
утлым судёнышком,
вёсельным ходом...
ласкою солнышка,
светом на донышко,
от непогоды, за непогодой,
то в одиночку, то хороводом,
лишь бы — по курсу больших пароходов.

Наталья Закожурникова

Дебют

Рассказ

«Киса! Я давно хотел вас спросить
как художник художника:
вы рисовать умеете?» —

*Илья Ильф и Евгений Петров,
«Двенадцать стульев»
(В редакции Марка Захарова)*

Четверг начался, как обычно. Пока я умывалась, рассуждала о том о сём. С утра у меня преобладают философские настроения: жизнь течёт, как вода из крана, пенится и исчезает, как мыло с рук. Времена меняются вместе с зубной щёткой и всё такое прочее. Разглядывая в зеркале свою физиономию, подумала, что в субботу, а это через день, буду отдыхать. Ну, как отдыхать — варить, мыть, стирать, стелить, убирать, гладить, короче, предаваться всяческим женским увеселениям. Светит мне игра для девочек под названием «Золушка». Из раздумий вырвал телефонный звонок. «Чой-то как-то рановато?» — удивилась я. Ещё больше удивилась, увидев на дисплее, что звонок от моего директора. Обычно он меня не беспокоит по пустякам, тем более утром, так что в ответ на моё «привет, Иван Андреевич! — я услышала милое «доброе утро, Наталья Васильевна!» Это меня слегка насторожило. Хотя директор и был довольно милым, но с утра в четверг это выглядело довольно подозрительно.

— В субботу соревнования, вы сможете участвовать? — сразу, с места в карьер (молодой наш директор, резкий) начал Иван.

— В субботу? В субботу, в принципе, могу — протянула я, вяло удивляясь, как мои мысли насчет предстоящей тусклой субботы облекли форму и уже стали трансформироваться в нечто более чем забавное.

— Вот и замечательно, я вас записываю! Нужна команда, два человека, мужчина и женщина!

— Хорошо, — ответила я. Перспектива игры в золушку окончательно пропала, и я слегка воодушевилась.

— В субботу, в девять! Жду! — сказал директор и чуть не бросил трубку, наверное, на радостях, что я согласилась. Так, стоп! А на что я согла-

Наталья Закожурникова — окончила Уральский педагогический университет. Пишет стихи и прозу, имеет более сорока публикаций в различных изданиях. Выпустила два сборника стихов, сборник рассказов. Живет в Верхней Синячихе, работает в школе учителем.

Публикация осуществляется в рамках проекта «Мастерские» Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

силась? Соревнования, да ещё в паре, — наверное, какая-то эстафета, подумала я. Стало лестно, что меня приглашают, что прошла какой-то отбор, и я спросила:

— А кто мой партнер? В соревнованиях?

— Игорь, он согласен!

Игорь был у нас один, и он полтора месяца назад сломал ногу. Не то чтобы слегка, а капитально так, сломал бедро. Я представила, что мы с Игорем участвуем в парных соревнованиях по бегу на костылях, или же надо будет катить инвалидную коляску на скорости?

— А что мы с ним должны делать?

— Как что? Играть!

— Играть? — тут я окончательно запуталась. Игра с Игорем в паре на костылях не вязалась ни с одним из пришедших на ум видов спорта.

— Ну да, — не унимался разошедшийся Иван, — в шахматы!

— Так я, это, в шахматах только ходы знаю — удрученно выдавила из себя я. Перспектива стать субботней золушкой опять замаячила на горизонте.

— Это все, что нужно для игры в шахматы, поверьте мне, бывшему шахматисту! Наши конторские даже названий фигур не знают, не то что как они ходят! Я вчера офисных дам проверял: показал им коня — они сказали: «Ой, какая лошадка хорошенькая!» А про слона мне не поверили, какой же это слон, раз хобота нет! А соревнования обязательные, этап Спартакиады района! Вы, Наталья Васильевна, понимаете, у главы всё на контроле! Да и престиж предприятия, опять же.

— Ну, ладно, — промямлила я, — постараюсь.

— Уж конечно постарайтесь, Родина вас не забудет! — пошутил директор и, радостный, что собрал команду, отключился.

Я в задумчивости оделась, выпила кофе. По дороге на работу прикидывала, что и как. Ходы я знаю, это верно. Книжка детская по шахматам у меня есть, я её лет в восемь читала. Но вот играть... Ну не умею я масштабно мыслить! Пробежать там, отжаться или ГТО какое-то там сдать — это да, это пожалуйста. А вот шахматы... Я даже дочке своей семилетней проигрываю, а она, счастливая такая, кричит: «Мама, тебе опять детский мат!» А мне что детский, что взрослый. Мат, он мат и есть. Тоже мне, спорт называется!

С такими мыслями не заметила, как добралась до работы, а потом меня закрутила лихая круговерть событий, и я успешно забыла и про субботу, и про шахматы, и про квитанцию в почтовом ящике.

В пятницу, когда раздался звонок от шефа, я вспомнила, что же меня мучило со вчерашнего вечера. Завтра же соревнования!

— Ну, как настроение? — издали начал директор.

— Да всё хорошо, спасибо, — осторожно ответила я.

— Завтра в девять приходите, мы на вас очень надеемся! — сказал Иван и назвал адрес.

— Да, конечно, буду с превеликим удовольствием! — пролепетала я.

— Ну, тогда до завтра! — И Иван Андреевич повесил трубку, а я призадумалась.

Назад дороги нет, отступить — не в моих правилах. Так что я смело зауглила «основные правила игры в шахматы». Начав читать нудную статью, которая начиналась с экскурсии в историю шахмат и интересных картинок, я закрыла вкладку. Набрал новую, «как хорошо играть в шахматы», — с первых слов поняла, что надо 1) правильно расставить шахматы, 2) сходить e2-e4, если белыми, и e7-e5, если черными, и 3) развивать легкие фигуры, захватывая центр. Осознав, что знание — сила и победа почти в моих руках, я со спокойной совестью почитала книжку, посмотре-

ла сериал, выпила пару чашечек чаю с вкусняшками и уснула, полностью подготовленная к завтрашнему дню.

Утром подумала, что надеть на мероприятие. В новом сериале «Ход королевы» героиня, чемпионка по шахматам, всегда носила что-то в клеточку. У меня в клеточку была только розовая фланелевая пижама. Решив, что такой фасон не подходит, надела полосатый свитер. В зал для игры пришла первая и в нерешительности застыла в дверях. В углу, с надеждой и облегчением, заметила фигуру в чёрном. Это был распорядитель игр, командир всех этапов Спартакиады Влад. Не Цепеш, но тоже в чёрном, со своеобразным чувством юмора. По национальности он был турок, а вёл себя порой, как индийский раджа.

— Здравствуйте, кого я вижу! Вы, что ли, Наталья Васильевна? Играть научились?

Я приосанилась и важно кивнула в ответ. Зал постепенно стал заполняться народом. Все выглядели по-разному, но самым колоритным был мой партнер по команде. Игорь вошёл с грустным лицом, тяжело вздыхая, вальяжно опираясь на костыли. Многие друг друга знали, а когда появились судьи и стали расставлять шахматы и доски, я совсем приуныла. Разрядила обстановку моя тёзка, истинная блондинка не только по внешности, но и по сути, Наталья. Она кинулась помогать судьям расставлять фигуры, так как не любила сидеть без дела и была вулканом, ну, если не страстей, то неиссякаемой бестолковой энергии и громкого хохота. Я, глядя на неё, тоже решила помочь. Когда мы закончили, то победно взглянули друг на друга, ибо круто справились, как прям настоящие специалисты! Тут же раздался крик: «Кто это сделал»? Это кричал мужчина в костюме, при газтуке. «Зачем? — продолжал он вопрошать, картинно воздевая руки. — Кто так смог поставить фигуры?»

— Я, — нимало не смущаясь, сказала Наташа.

— Вы? — язвительно сказал мужчина. — А позвольте узнать в таком случае, как вас зовут?

— Наташа, — ответила та и засмеялась.

— Ах, вот оно что, Наташа, — не удержавшись, улыбнулся тот в ответ. — Вот что я вам скажу, Наташа, вы, видимо, с шахматами не очень-то и дружите! — А это тоже вы? — спросил он, указывая на доски, которые выставляла я.

— Нет, это уже я, и меня тоже зовут Наташа, — пришлось сознаться мне.

— Ах, Наташи, ну что ж вы так! Нельзя ставить фигуры вверх ногами! — попенял нам мужчина и стал переставлять фигуры в понятном ему порядке.

«Подумаешь, — проворчала Наташка, — я последний раз в школе играла, главное, что слона с конём не перепутала, и ладно». Я согласно покивала и решила от греха присесть в уголок.

— А это вы зачем? — продолжил бушевать мужчина.

— О, это не нам, — сказала Наташка.

Пиджак потрясал шахматными часами над головами начавших играть для разминки парней. Забрав часы, он велел всем сесть тихо и не двигаться. Потом прошел к центральному столу и представился. Это был тренер по шахматам, спортсмен-разрядник и главный судья первой категории на наших соревнованиях Алексей Петрович Загорулько. В своей пламенной речи он кратко прошелся по истории шахмат, рассказал об основных правилах этой чудеснейшей игры, показал, как пользоваться часами, и рассадил нас по парам согласно командной заявке. Игорь страдальчески скривился и прокостылял на указанное ему место. Я пошла следом. Моей соперницей оказалась Наташка. Для начала мы сделали селфи на фоне шахмат, по-

том сфотографировали друг дружку и попросили Влада запечатлеть нас за игрой. Потом решили начать игру. У меня были белые, с первым ходом не было проблем, как учили, e2-e4! Стало совсем интересно — надо было после хода нажимать на кнопку часов и следить, чтобы время не кончилось. Партия состояла из десяти минут игрового времени у каждого. Я быстро загнала в угол Наташкиного короля и поставила мат. Вспомнив, как мы играли в детстве с братьями, я уронила короля на бок и подняла руку.

— Я всё, выиграла, король противника повержен, — радостно объявила подскочившему Алексею Петровичу.

— Это что, это как! Нельзя трогать короля, нельзя рубить короля! — Он замахал на меня руками, поднял черного короля, успев поглядить ему бок. Потом быстро перевел часы и приказал: два хода назад, игра продолжается, партия не окончена. Играть по правилам!

После этого я сникла и долго думала над каждым ходом. Когда у меня кончилось время, мне засчитали поражение. Наталья не скрывала своей радости, я же загрустила. Игорь глянул на меня укоризненно — он-то выиграл почти идеально!

Следующую партию я решила провести по правилам — развивать легкие фигуры. Девушка напротив была очень милой, улыбаясь, «съела» моих коней, слонов, трёх пешек, ферзя. Когда я начала волноваться, она сказала: «Вам мат, спасибо за игру». Влад успел нас сфотографировать, но это меня уже не радовало. Мы снова пересели, мне досталось играть опять белыми с тихой женщиной Галиной. Настроившись, я собралась, согласно совету из интернета, выводить свои пешки в линию и, захватывая центр, вероломно напасть на короля.

— Мат! — объявила Галина на восьмом ходу.

— Мат, — обречённо согласилась я.

— Детский мат! — радостно, на весь зал, закричал подскочивший Алексей Петрович Загорулько. После первой партии с повержением шахматного монарха он не выпускал меня из виду, видимо, боясь, что я опять что-нибудь эдакое выкину.

Следующая партия была проиграна из-за нехватки времени, и дальше мне тоже не очень-то везло. Советы из интернета не действовали, мои соперницы отказывались делать глупые ходы, подставляться под моего ферзя и бояться моих пешечных атак. На последующем перемещении внезапно оказалась за пустым столом. «Вот, даже играть со мной никто больше не захотел», — уныло подумала я, ковбуря носком ботинка линолеум под столом.

— Наташа, у вас победа досрочно! — объявил невесть откуда взявшийся главный судья. — Дело в том, что ваша соперница не явилась, снялась с соревнований и поспешно куда-то ушла! Вам присуждается три очка!

— Спасибо, — удивилась я. — А могу пока выйти?

— Можете, отчего ж не можете, вы ж не ваш партнер по команде, — захихикал Загорулько. Встав из-за стола, я поплелась к выходу. Мне было немного грустно и оттого слегка необычно. Сев в коридоре на лавочку, я задумалась. Сегодня суббота, все пошло совсем не по плану! Эх, а если бы! Но тут мои размышления прервал гвалт голосов, и из-за двери выглянул Влад.

— Наталья Васильевна, хватит сидеть! Награждение, идите быстро в зал!

— Иду, иду! — И я пошла смотреть на лучших шахматистов нашего района, которые выиграла все игры, прочитав все умные книжки по шахматам, включая «Теорию и практику шахмат» Александра Панченко, и не исключено, что они все посещают шахматный клуб!

В зале люди стояли, сдвинув стулья, а судья Алексей Петрович Загорулько объявлял, кто какое место занял. Я задумалась, разглядывая его

галстук в клетку, с забавными шахматными фигурками, изображавшими, по-видимому, детский мат. Вдруг меня подтолкнули, и я услышала свою фамилию.

— За второе место награждается команда в составе... — Тут называют мою фамилию и фамилию Игоря. Думая, что это ошибка, не хочу сначала выходить на награждение. Но меня опять подталкивают в спину, и я выхожу на подиум вместе с Игорем для получения грамоты и медали за второе место. После общего фото подхожу к Владу, распорядителю игр.

— Никакой ошибки, всё верно! Это командный зачёт, а Игорь не проиграл ни одной партии, выиграв даже у прошлогоднего чемпиона района!

— Как так, наш Игорь?

— Игорь раньше занимался шахматами, а когда сломал ногу, за полтора месяца отточил своё мастерство практически до гроссмейстерского! — назидательно выговаривал мне наш индийский раджа. — И если хотите знать моё мнение, ваша игра была недостойна этой медали! Будь моя воля, я вам бы её не отдал!

— А кому бы отдал?

— Никому, но раз уж так решил главный судья, она ваша.

— Ну, уж нет, дудки! — сказала я. — Если бы меня не было, Игорю бы поставили баранку — за второго игрока! А так мои очки сыграли важную роль! Остальные наши дамы даже названий шахматных фигур не знают, не то что как конём или там слоном ходить! А пешка вообще, если захочет, может ферзём стать и короля победить! И у Наташки я всё равно почти выиграла!

В ответ Влад скривился и ничего мне не ответил.

Вечером мне позвонил директор и проорал в трубку:

— Я все знаю, поздравляю со вторым местом! Теперь-то мы точно выиграем Спартакиаду!

— А Влад сказал...

— Да плевать, что он там сказал. Главное, что вы молодец. Игорь тоже хвалил, говорил, что было здорово! Что-то там с королем!

— Да, спасибо, всё нормально!

— Ну, я верю в своих людей, — сказал Иван и отключился.

А я смотрела на медаль и думала, что главное — идти к цели, не падать духом и всё такое прочее. И да, у меня теперь есть учебник по шахматам, хоть я и знаю, как фигуры ходят!

ДРАМАТУРГИЯ

Ярослава Пулинович Человек ростовский *Пьеса-монолог*

Действующие лица:

Егор — 30 лет.

ЕГОР. Это все слишком зашло в тупик, мама... Это все слишком зашло в тупик. Давай уже признаемся друг другу, ты всю жизнь растила из меня маменькиного сынка, и я им так и вырос. Мама, я должен сказать тебе... Я записываю тебе это сообщение. Тебе, скорее всего, передадут его через полтора года. Мама, знай, со мной все хорошо. Да, я немного потерял контроль. Но сейчас я стабилизировал управление. Сейчас все идет по плану. Тут очень комфортно, мама. У меня достаточно еды, воды, воздуха. Я чувствую себя отлично. Я совершенно ничего не боюсь, более того, я уверен, что это все какое-то недоразумение...

Мама, я тут подумал. Я хочу сказать тебе. Мама, просто спасибо за все... Нет, правда. Ты всегда говорила, что я ничего тебе не должен. Потому что ты меня всегда просто любила. Ты всегда меня ужасно любила. И когда я разбил твой любимый заварник, и когда я украл у тебя из кармана деньги на мороженое.

Ты воспитывала меня одна. Это сейчас я понимаю, как тебе было тяжело, как невыносимо, наверное, было работать в том ДЕПО. Но тогда я так обижался на тебя, мама... Этот бесконечно уставший взгляд, эти поджатые губы, когда я не помыл посуду, этот вздох, полный разочарования. И ты знаешь, я старался стать лучше ради тебя. Я делал вид, что не старался, но это было неправдой. Я старался. Я приходил домой и пылесосил ковер. Хотя я не понимал — зачем пылесосить ковер, особенно там, в углу, под диваном, если его давно пора выбросить. Ты никогда не объясняла мне, зачем нужны ковры, зачем нужно есть водянистые щи с кусочками мерзкого вареного лука, зачем нужно даже в выходные вставать в семь утра и ни минутой позже, зачем нужна дача, на которой мы выращиваем этот мерзкий лук... Я это понял уже потом, когда вырос. Это было нужно для того, чтобы ты не боялась. Этот ковер, и дача, и даже выращенный на даче лук хватали тебя за руки и не давали поднять голову вверх. Потому что, мама, если бы ты подняла голову вверх, ты бы увидела мириады звезд над головой, и ты бы поняла, насколько огромен мир, насколько велика Вселенная. Она не бесконечна, как принято считать, ученые давно опровергли этот факт, но она громадна, она велика настолько, что для нас, людей, все равно что бесконечна.

А я любил смотреть на небо. Помнишь, в ту осень, был сентябрь, ты повезла меня на дачу копать картошку? Нам нужно было выкопать много-много

Ярослава Пулинович — родилась в Омске, выросла в Ханты-Мансийске, окончила Екатеринбургский театральный институт (семинар Н. Коляды). Многие пьесы поставлены в России и за рубежом. Публиковалась в журналах «Урал», «Современная драматургия» и др.

ведер картошки, чтобы пережить зиму. Тогда, в моем детстве, зимы были долгие, тягучие, как самодельные ириски из сгущенки. Может быть, это изменения климата, а может быть, искажения памяти, но сейчас зимы как будто скукожились, стали короткими, быстрыми. А тогда они длились вечно. И вот в преддверии той зимы мы копали с тобой картошку, а потом, когда уже стало темнеть и ты заторопилась на автобус, я, сидя на ступеньках нашего дачного домика, вдруг поднял голову вверх. И сначала я просто рассматривал проступающие на небосклоне первые звезды, я рассматривал луну и темные пятнышки кратеров на ней... Я тогда уже знал, что такое космос, я читал про него книги, я читал про него в «Науке и жизни». И я смотрел на небо... Сначала со скучающим любопытством. А потом я просто сопоставил факты. И ужас поселился во мне. Все эти необъятные, непостижимые небесные тела, и их испарения, и газ, и пыль, и плазма, раскаленные до самых ядер желтые карлики и промерзшие на тысячи километров в глубину ледяные гиганты — все они существовали на самом деле и с дикой скоростью проносились сейчас надо мной, и над нами, и над нашим городом. И им не было никакого дела до меня, до нас, и до нашей картошки, и до предстоящей зимы. Для них не существовало ни прошлого, ни будущего, ни нас, людей. Потому что мы были живы, а они не были живы никогда и не знали ужаса живых. И тогда я понял, что живое немощно перед мертвым. Что мы одни, одни, одни в этой бесконечной и ледяной пустыне... И я заплакал. Ты сразу же подбежала ко мне. Ты подумала, что меня кто-то укусил. А когда я рассказал тебе, почему я плачу, ты засмеялась. «Не думай всякую ерунду, — сказала ты мне тогда, — где наш Ростов, и где твой космос. Никто не знает, есть ли он на самом деле. А если и есть, какое нам до него дело, ведь мы сами в нем не были и никогда не будем. Собирайся, а то опоздаем на автобус, и придется ночевать здесь». Ты потрепала меня по волосам и покачала головой: «Умник!» И было что-то горделивое и одобрительное в твоей интонации.

Так я стал «умником». Я чеканил на уроке родной истории: ««Эсэсовцы дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер» расстреляли и замучили сотни мирных граждан — стариков, женщин, детей, особенно в Пролетарском районе города Ростова — на 36-й линии, около детского дома, был убит 61 человек, на углу 40-й линии и улицы Мурлычева фашисты открыли огонь по очереди за хлебом, убив 43 человека — стариков, женщин и детей, на Армянском кладбище гитлеровцы расстреляли из пулеметов до двухсот местных жителей. В парке имени Фрунзе зверски убили Витю Черевичкина и его голубей. Весь мир в конце 1941 года обошла фотография фронтового фотокорреспондента: среди группы расстрелянных мирных жителей, прислоненных к стене дома, сидит мертвый мальчик, а на ладонях его рук сидит белый голубь. Это был Витя Черевичкин...» Учителя кивали головами в такт моим ответам и ставили мне пятерки.

Ты любила Ростов, мама. Ты всегда гордилась, что ты — ростовчанка, русская, гражданка самой большой и справедливой в мире страны. Ты говорила мне, что Ростов — велик, он отец городов русских, он южная артерия страны. Ты говорила, что Ростов большой и границ его ты сама не знаешь. Что есть такие районы в Ростове, где ты никогда не была, и никто из твоих знакомых не был. Мы дважды ходили кататься на чертовом колесе, мы поднимались с тобой на высоту, и я это видел своими глазами — Ростов действительно бесконечен, его границы не заканчивались нигде, его районы тянулись бесконечно, и я видел на самом кончике высоты, что все, что есть в этом мире, — бесконечный Ростов-на-Дону. Однажды я спросил тебя, мама: «А там, где заканчивается Ростов, есть ли что-то еще?» И ты ответила: «Есть еще Москва». И сжала мою руку.

Я окончил школу и поступил в Москву. Сначала на исторический... Потом на журналистику. Потом на философский... И жизнь моя становилась все грустнее и грустнее, мама. Все было не то, все было не так. Необъяснимая тоска пожирала меня изнутри. Университет казался бессмыслицей. Будущая

жизнь тоже казалась бессмыслицей. Что мне с этой жизни? Она промелькнет, и не заметишь. Ну, хорошо, допустим, у меня будет образование, потом будет какая-то работа, будет семья, будет ребенок, будет собака, будет квартира в ипотеку, даже без ипотеки... и что? Что дальше? Зачем все это, для чего, для кого, кому это нужно?

Так я стал алкоголиком. Утро мое начиналось в двенадцать часов дня. Я просыпался с перепоя в очередном общежитии, в очередной четверке, и думал, что хочу умереть. Потому что пространства от комнаты до туалета в общежитиях были огромны. Но пока я эти пространства преодолевал, я становился и бодр, и весел. Я думал, что умираю, но, дойдя до туалета и проблевавшись как следует, я осознавал, что жизнь, в конце концов, так и начинается. Через боль и страдания. Есть ли хоть один великий творец на земле, который не познал этот путь тяжелых испытаний? И мне становилось так весело, что снова хотелось умереть.

Я шел на оставшиеся пары. Я слушал остатки лекций, и к трем часам дня я окончательно разочаровывался в жизни. Так я существовал до шести. В шесть я ужинал, обычно сырками и хлебом. Потом шел на Воробьевы горы встречать закат. И там все случалось. В полночь мне снова хотелось жить, мама! Они были разные, но все с одинаковыми глазами. Я говорил ей: «Большинство из звезд, которые ты видишь сейчас, — это всего лишь свет, долетевший до нас спустя миллионы лет. Он все еще летит к нам, а сама звезда давно уже умерла. Такие дела, малыш». И я говорил ей: «Черные дыры — это кротовые норы во Вселенной! Представь себе листок бумаги. Нарисуй линию от точки до точки, от одного конца листа до другого. Большое расстояние, правда? А теперь согни листок. Соедини точки. Гораздо меньше! Это и есть принцип кротовой норы во Вселенной. Такие дела, малыш!» И я говорил ей: «Такие дела, малыш, мы одни в космосе, вероятность возникновения жизни во вселенной один к десяти в тысяча восьмидесятой степени, такие дела, такие, малыш, дела».

Все было прекрасно и волшебно, как одна длинная московская летняя ночь. Пока я не проснулся в кровати с мужиком. Ты знаешь, мама, я даже не удивился. Я даже как-то взбодрился. Это было что-то новое. Мне, собственно, было интересно, что я делаю в постели этого уже сильно немолодого мужчины с явно повышенным давлением. Мы были одеты, как ни странно. Между нами лежала недопитая бутылка виски. Мужик открыл один голубой глаз. Глаз был ясен и весел. Мужик увидел меня и открыл второй глаз. Второй глаз был не так ясен, но тоже, несомненно, весел.

— Извини, я забыл, как тебя зовут...

— Егор...

— Ты знаешь, Егор, я вчера забыл тебе сказать. Ты космонавт, Егор.

— В каком смысле космонавт?

— В самом прямом.

— Извините, я не понимаю...

— Потому что глупый.

Так я бросил пить. И стал космонавтом. Я тебе потом врал, мама, что вот так внезапно получилось — я просто случайно сдал экзамен в Российскую Космическую Академию. Конечно, это все звездех, не было никаких экзаменов. Ну то есть номинально меня куда-то приписали, а на деле... Этот мужик, его звали Игорь Степанович, он влиятельный там, в этих кругах, оказался... И он мне объяснил, что это все большой обман, что на космонавта можно кого-то обучить. Самые крутые космонавты, это не те, кто большие перегрузки может переносить, это все фигня, мама, не такие уж они большие. А это такие люди, которые чувствуют космос. Вот если ты спросишь, что это значит, я до сих пор в душе не знаю, мама. Помнишь, ты посадила косточку авокадо? Это когда я его из Америки в первую поездку тебе привез. И ты сказала, что вкус у него, как у мыла. И есть дальше отказалась. А я убеждал тебя, что это вкусно, особенно с яйцом-пашот. А ты смеялась: «Не матерись!» Потом от этого авокадо осталась косточка, я хотел ее выбросить, а ты сказала: «Она говорит мне —

посади меня». Я тогда еще боялся, что это первые признаки деменции. Но ты посадила эту косточку. Сначала в горшок, потом в теплицу. И косточка проросла. И не только проросла, а еще и вымахала под два метра. И ты смеялась, что вырастила заморского гиганта. Позже я прочитал, что невозможно вырастить авокадо в простой теплице. Вот как-то так и в космосе, мама...

Нет никакой служебной лестницы там. Если ты космонавт, то ты сразу космонавт. Три месяца обучения, и вперед — в космос! Мне сразу на выбор предложили Луну или Марс. И там и там холодно, но на Марсе условия чуть потяжелее из-за отдаленности. Я, конечно, записался на Марс. Самое сложное, как мне сказал Игорь Степанович, это очутиться впервые в открытом космосе.

— Ты либо сразу сдуешься, и тогда мы тебя спасем. Но ты не переживай, это тоже не конец жизни. В конце концов, будешь штатным космонавтом, космические станции обслуживать.

— Нет. Я хочу на Марс.

— Уверен?

— Да.

Игорь Степанович вздохнул. Затем, помолчав, признался:

— Я тоже начинал с Марса. Там же и лишился глаза.

— То есть?

— Вставной. Я тебе завидую. Я больше не летал. И я тебе одну вещь еще скажу, Егор. Наши космические ракеты — самые передовые в мире. В этом не стоит сомневаться. Но ты всегда должен помнить, Егор, что может случиться такой момент, когда все пойдет не по плану. Ты должен быть к нему готов.

Я пожал плечами: подумаешь. Разберемся. Игорь Степанович одобрительно блеснул своим вставным глазом и оставил меня готовиться к полету.

Помнишь, мама, как мы праздновали мой первый полет? И баба Люся с папиной фотографией в черной рамочке пришла. И сказала свой первый тост: «Егорушка, не знаю, какая судьба тебя ждет. А я тебе желаю не забывать, что ты ростовчанин. Высоко взлетишь, больно будет падать. Ты в космос-то взлетай, а про Ростов родной не забывай!» И засмеялась. И все засмеялись, и баба Таня, и соседки Нюра со Светланой. А когда мы уже поздно ночью пошли провожать бабу Люсю и возвращались назад, ты взяла меня за руку, мама: «Сынок, там только Гагарин бывал, неужели и ты полетишь?» И было совершенно незачем и глупо объяснять тебе, что не только Гагарин. Ты посмотрела на меня робко и трогательно, достала из-за пазухи маленькую иконку и протянула мне. На иконке был нарисован суровый дядька с палкой, с длинными волосами и бородой и в шапке, как у Мономаха. «Возьми с собой в космос», — сказала ты. «Ну, мааам», — протянул я, как будто мне снова было двенадцать. «Возьми, пожалуйста, — ты повторила это жалобно и настойчиво, — Это Дмитрий Ростовский, покровитель нашего города. В космосе все пригодится, а уж икона в первую очередь». Терпеть не могу, когда ты говоришь таким жалостливым, тихим голоском, как какая-то нищенка. Да и зачем мне икона в космосе? И с каких это пор ты стала такая набожная? Бога нет, это очевидно. Но ты продолжала смотреть на меня с укором, и я решил не спорить. Сунул икону с дедом в нагрудный карман куртки. Пошутил: «Прикреплю на панель управления. Это будет даже оригинально. Космонавт с иконой». Ты благодарно закивала: «Вот это правильно, сынок. А что — космонавты ведь тоже люди, тоже с божьей помощью летают».

И вот я в ракете. В своей собственной ракете, сконструированной специально под меня! Новенькая гладкая панель управления сверкает серебром посреди кабины, все системы приведены в режим готовности. Красота! Я осматрелся, прикрепил Дмитрия Ростовского на панель связи. Ростовский был явно не в настроении куда-то лететь. Но пусть будет со мной, раз ты, мама, так хочешь.

Ты стояла на поле среди толпы. Ты зачем-то оделась, как учительница, — белая блузка и черная юбка. А я привык тебя видеть в рабочем... И сразу не разглядел. А увидел твое лицо, уже когда взлетал. Оно было растерянным и детским.

Я помню по минутам этот полет. Сначала было похоже, что мы взлетаем на очень резком самолете, который набирает и набирает высоту. А потом было похоже, что ничего не происходит и мы просто висим в воздухе. А потом что-то загудело, зашипело, заплевалась электроника, защелкали огнями кнопки на панели. Меня вжало в кресло, и случилось чувство, что мне снова двадцать, я в общаге философского корпуса, мы с моим другом Васей Быстровым выпили две бутылки «шуйской», сидим на балконе, послушали два альбома «Гражданской Обороны», и неудержимо хочется блевать... А потом случилось чувство, когда я в той же общаге наутро и просыпаюсь после пьянки с Васей Быстровым. Таких пьянок, как с Васей, я не переживал ни до, ни после. В этом смысле философский был единственным факультетом, который оставил во мне хоть какие-то воспоминания. А потом появилось ощущение, что все закончилось и я в космосе. Меня подбросило к потолку. Но это был еще не космос, это была мезасфера.

Поплыли кадры из детства, ударило тяжелым в висок, снова привиделась картошка и наш двухэтажный дом на улице Страны Советов, 4. Привиделась плесень на потолке, с которой ты боролась всю свою жизнь, мама, и говорила, что это от того, что соседи часто моются, и сырость идет через вентиляцию, а это было от того, мама, что наш дом старый, еще довоенный, и в нем просто нельзя было жить.

А потом я летел, летел, летел, мама, и вот я вылетел на орбиту. И я думал, что я испытаю восторг... Что я испытаю такой восторг, что обязательно позвоню тебе, мама. И мы вместе будем радоваться тому, что я уже на орбите, и что я вижу нашу Землю с высоты. И я тебе расскажу, что пролетаю Россию. Помашу тебе рукой, как и обещал. Но я тогда не позвонил и потом не позвонил. Ни разу, пролетая над Россией, я не позвонил тебе, мама. Потому что, мама, там, из космоса, Ростова-то не видать. Он не то что маленький, его там нет, мама. Мама, в космосе нет Ростова. Из космоса не видно никакого Ростова. Мама, я тебе больше скажу, из космоса Россию почти не видать. Мама, понимаешь, Земля из космоса — это такая странная штука. Там нет границ, мама. Там никто никому не принадлежит. Там нет стран. Там есть только маленькие огоньки, настолько маленькие, что даже странно их считать доказательством разумной жизни.

А потом я вылетел в открытый космос. И миллиарды комет, метеоритов и крошечных их осколков понеслись мне навстречу. А земля стала совсем маленькой. В таком состоянии мне предстояло провести три месяца.

Ты, знаешь, мама, я никогда не рассказывал тебе, что такое были те три месяца. Принято считать, что я героически провел девяносто два дня на космическом корабле, после чего благополучно высадился на Марс. Так, кажется, писали на разных каналах. Но я не очень героически их провел, если честно. Я молился Дмитрию Ростовскому. Потом я думал о боге. Потом я думал о богах и Римской империи. Согласись, одиночество, еда из тюбиков и дефекация в пластиковый контейнер располагают к некоторому мистицизму. Потом я понял, что ни бога, ни богов не существует. Потом я думал о самоубийстве. Потом погасла на тринадцать часов панель управления, и я летел в абсолютной темноте при мигающем сигнале SOS на потолке кабины. И в свете этого SOS я видел только свои руки и глаза святого старца, в упор уставившегося на меня. Потом панель заработала. В какой-то момент Марс стал казаться мне недосыгаемой целью, а Земля — чем-то, чего в моей жизни уже никогда не будет.

В последние три дня я совсем уже ничего не мог есть. Марс приближался. Я видел его ярко и четко. Безжизненный мутновато-красный шарик, зависший в невесомости, становился моей реальностью.

Я совершил посадку на склоне вблизи хребта каньона Капрат. Посидел в своей ракете еще пару минут, а затем сунул икону Ростовского в карман, напялил на себя скафандр, открыл дверцу люка, спустился по трапу и ступил на поверхность планеты.

Марс, мама, знаешь, он такой довольно скучный, я тебе скажу. Я ожидал большего, если честно. Там дуют ужасные ветра, там все время происходят пылевые смерчи. Марс почти весь состоит из каньонов и гор. Издалека он кажется нам красным, но он скорее желтовато-тусклый, мама. Унылый — вот самое правильное определение Марса. Унылый. Но есть одна вещь, которую нам относительно Марса надо знать. Забурить и думать о ней каждый день. Раньше Марс был голубым. Как наша Земля. На его поверхности плескались моря, такие же, как наш Азов, и даже больше, его тело пересекали гигантские реки, гораздо шире и глубже нашего Дона. Раньше на Марсе было очень много воды, мама. Была ли на Марсе жизнь, мы этого не знаем. Но, скорее всего, какая-то была. Почти достоверно известно, что на Марсе были бактерии. Возможно, существовали одноклеточные существа. Возможно, даже и многоклеточные... И много-многоклеточные. Возможно, и мы, мама, такие, как мы, жили когда-то на Марсе. Копали картошку по выходным и смотрели «Поле чудес» по пятницам. Занимали друг у друга денег до зарплаты, рожали детей, думали потом, чем их кормить, сплетничали за спинами друг у друга, а на праздники собирались на чьей-то марсианской кухне и пили самогон. Возможно, все это так и было. Только мы об этом никогда не узнаем. Марс под воздействием солнечного ветра лишился своей атмосферы много миллионов лет назад. Так часто происходит с планетами. Все они имеют свой срок жизни. Тонкий слой оранжевой пыли и вечная мерзлота — это все, что осталось от Марса.

И вот еще, мама, что нужно помнить. Если Венера — наше прошлое, то Марс — это наше будущее. Нашу планету постигнет та же участь, тут нет никаких сомнений. Потихоньку начнет скудеть атмосфера. Скорее всего, поначалу мы этого даже не заметим. Высохнут моря, реки и озера. Земля превратится в пустыню. Пылевые бури снесут наши города и наши дома, наши дороги и наши мосты, и даже стелу воинам-освободителям в центре Ростова. Все это превратится в мельчайшую пыль, мама. Мы сами превратимся в пыль, мы станем космическим прахом. Любой космонавт знает об этом, и потому любой космонавт всегда чуточку грустен, даже если весел. Потому что только такие грустные и могут стать космонавтами.

Я уже неделю как ехал в своем марсоходе по бескрайней долине Мари-нер. Дмитрий Ростовский смотрел на меня с иконы печально и строго. Собственно, тут не было ничего необычного, он так на меня смотрел всегда. Но в тот момент у меня не выдержали нервы.

— Послушай, дедуля, может быть, ты уже перестанешь на меня так палиться? — гаркнул я и ударил по крайней левой панели кулаком. В ту же секунду панель зашипела и засветилась голубым.

— Егор, ты жив? Егор, ответь! — раздался голос Игоря Степановича.

— Кажется.

— Егор, это ж надо быть таким идиотом! Это ж надо быть таким непроходимым тупицей! Ты забыл включить кнопку связи на панели марсохода. Мы тут который день все на ушах!

— Э-э-э... Кажется, да.

— Как дела, Егор? Как ты себя чувствуешь?

Я кинул взгляд на Дмитрия Ростовского. Ничего в его выражении лица не поменялось.

— Кажется, хорошо.

— Егор, тут с тобой хотят поговорить журналисты из разных изданий. Дашь им коротенькие интервью?

— Ну... Давайте.

Я проезжаю борозды Кларитас. Еду вдоль каньонов по Лабиринту Ночи.

— Егор, добрый день, вас беспокоит «Нью-Йорк таймс». Скажите, как вы оцениваете вероятность построения человеческих колоний на Марсе?

— Э-э-э... Кажется, им здесь будет не слишком комфортно.

Я поднимаюсь на нагорье Фарсида.

— Егор, здравствуйте, Китай на связи. «Жэньминь жибао», это наша народная ежедневная газета. Егор, как вы думаете, может ли Марс стать дополнительным источником полезных ископаемых для нашей Земли? И если может, какие страны, по вашему мнению, могут претендовать на эти источники?

— Если честно, я не уверен. На Марсе множество самых разнообразных пород. Но нужно быть готовым к тому, что их транспортировка влетит в копеечку...

— Что? Повторите, пожалуйста... В копеечку?

— Да, влетит в копеечку, как говорит моя мама. То есть будет очень дорогой.

— Ваша мама экономист?

— Нет, она водитель трамвая из Ростова.

Я забираюсь на плато Синай.

— Егор, здравствуй. «Вечерний Ростов». Мы тут все, все, абсолютно все очень, очень, очень гордимся тобой! Мы уже назвали твоим именем школу и детский садик и повесили памятную табличку на твоём доме. Егор, ответь, пожалуйста, нашим читателям на один вопрос.

— Да?

— Егор, скажи, а где лучше — на Марсе или у нас, в Ростове-на-Дону?

Я подбираюсь к каньону Ио. Я проезжаю горы Герион. Я буксую в двадцатичетырёхкилометровом кратере Аудеманс. Я ломаюсь. Чинюсь. Еду. Еду. Еду. Я теперь герой, мама. Теперь ты будешь мною довольна. Теперь ты будешь мною гордиться. Я устал. Я хочу домой. Я хочу в Ростов.

И вот спустя еще три месяца я дома. Ты была рада. Меня встречала целая делегация из ростовских чиновников и журналистов. Тебя благодарили. С тобой фотографировались. У тебя спрашивали — как тебе удалось воспитать такого сына, как я. Я купил тебе шелковое платье, которое ты хотела. Я купил тебе зимние сапоги из натуральной кожи. Я забил наш старенький холодильник едой. Мы долго сидели с тобой и говорили, говорили, говорили. Я рассказывал тебе про Марс, а ты кивала головой, а под конец вечера спросила: «Сынок, но неужели и там, в космосе, нет бога? Неужели ты его так и не встретил?» Нет, мама, в космосе нет бога, нигде нет бога, это все сказки, мама, давай-ка будем спать...

На следующий день ты разбудила меня в семь утра и сказала, что нужно ехать на дачу копать картошку. И мы поехали на дачу.

Потом было много полетов. Марс, Луна, Европа, Титан, Ганимед... Все эти путешествия слились для меня в один бесконечный полет. Я стал хорошо зарабатывать, меня стали узнавать на улицах, и Игорь Степанович был мною доволен. Но ты, мама, с каждым днем ты становилась все грустнее и грустнее. И я купил нам новую квартиру в центре Ростова, и я построил тебе новый дом на даче, каменный, двухэтажный, с отоплением и канализацией. И я сдал на права, купил машину и стал сам возить тебя на эту дачу. Но с наступлением августа твои глаза становились все печальнее. И ты, уже не таясь, смахивала слезинки с глаз. Что случилось, мама? Сынок, ничего страшного, просто подходит пора копать картошку. И мне тяжело делать это одной, без тебя. Мама, давай я куплю тебе сто килограммов картошки, если для тебя это так важно. Самой лучшей, отборной, израильской. Нет, сынок, ты не понимаешь, ничто не заменит картошки со своей дачи, выращенной своими руками. Хорошо, мама, давай я найму для тебя рабочих, и они за пару часов выкопают тебе эту картошку. Нет, сынок, мне будет неудобно перед людьми. Что я им скажу? Чужие люди копают мне картошку тогда, когда у меня есть сын.

Так я перестал летать осенью. Зимой ты подвернула ногу, и мне пришлось снова остаться с тобой на Земле. Весной нужно было устанавливать теплицы для помидоров и огурцов и сажать все ту же треклятую картошку. Летом нужно было поливать огород. А еще ты сказала, мама, что мне нужно обязательно жениться, чтобы родить тебе внука. Я стал искать себе невесту на сайте знакомств, но тебе никто не нравился. А я не хотел тебя расстраи-

вать и не говорил, что давно уже встречаюсь с Викой из второго подъезда, с той самой «распущенной курящей девахой», которую ты всю жизнь терпеть не могла. Не то чтобы я любил ее, но мне нравилось это ощущение опасности, чувство, что я хожу по краю. Я снова начал выпивать. Конечно, не в тех масштабах, в каких я пил в университете, те масштабы остались в прошлом навсегда. Так, одна-две банки пива после ужина. Вика и пиво по вечерам заменили мне космос. Сначала мне звонили чуть ли не каждый день с предложениями лететь, я отказывался. Потом раз в неделю, я отказывался. Потом раз в месяц, и я отказывался. А потом наступила тишина... Я растолстел, отрастил бороду и полюбил футбол. Я даже забросил свою дурацкую привычку молиться Дмитрию Ростовскому перед сном. Потому что зачем, когда все и так хорошо? Я тосковал, но не подавал виду. И все бы так и тянулось, если бы однажды мне не позвонил Игорь Степанович.

— Привет, Егор. Скажи, ты решил нас окончательно покинуть или как? — затараторил он в трубку.

— Или как... — промямлил я.

— Короче, есть тема. Полетишь на Луну?

— На Луну? Всего-то?

— Там намечается интересная работа. Не отказывайся. Это твой шанс остаться в десятке первых.

— Я подумаю, Игорь Степанович.

В горле защеколало, по телу побежали мурашки. Мы долго говорили с тобой, мама. Я объяснял, что финансовые мои возможности неограничены. Заработанные мною деньги тают. Мне нужно полететь, чтобы пополнить нашу с тобой копилочку, мама. Ту самую, которую ты подарила мне на десять лет, в виде домика Бабы Яги. Это ненадолго, на пару месяцев, не более. И я вернусь. И приведу тебе жену. И мы родим тебе внука. И будем все вместе копать картошку до окончания дней наших... Ты отпустила меня с уговором, что это в последний раз.

И я полетел. Как и всегда, светилась белым панель управления, как и всегда, потрескивала и попискивала панель связи, как и всегда, с суровым укором на меня смотрел Дмитрий Ростовский. Но только что-то вдруг пошло не по плану, мама. Ракету тряхнуло и понесло в непонятном направлении. Запищала и погасла дежурная панель, а запасная не захотела включаться. Наступила полная беспросветная тьма. Ракету трясло так, что, если бы не ремни безопасности, меня бы размазало по стенкам кабины. В таком состоянии я пробыл несколько часов. Потом загорелась дежурная панель, все системы пришли в рабочее состояние. Я попытался связаться с Землей, но Земля молчала. Я попытался по навигатору понять, где я нахожусь, но это было бесполезно. Навигатор показывал, что я нахожусь в системе Проксима Центавра, что невозможно... Я кинул взгляд на крайнюю левую панель. Мы встретились глазами с Ростовским. Впервые в глазах этого невозмутимого старца я прочитал что-то вроде сочувствия. Вдали показался красный карлик.

И тогда я все понял, мама. случилось то самое невероятное, неподвиженное, невозможное, то, о чем предупреждал меня когда-то Игорь Степанович. Мою ракету каким-то образом сорвало с земной орбиты и унесло за пределы Солнечной системы. Да, я вынужден признать, мама, что я потерял управление. Я потерял контроль.

И вот теперь я лечу, мама, совершенно один сквозь холодную черную Вселенную. А навстречу мне летят и летят кометы, астероиды и другие небесные тела. Я нахожусь в миллионах, в миллиардах километров от Земли, мама, и улетаю от нее все дальше. И я не знаю, когда это закончится, мама. И закончится ли это когда-нибудь. И приземлюсь ли я где-нибудь. И есть ли там кто-то, хоть кто-то, кто сможет меня понять и принять. Я не знаю, где я и кто я, мама. Я не знаю, что важно, а что нет. И важно ли то, что меня зовут Егор, что я родился и вырос в России, в городе Ростов-на-Дону. Я уже не знаю, существует ли Ростов-на-Дону, потому что отсюда, с расстояния нескольких

световых лет, это не так очевидно, мама! И все, что бы я сейчас хотел, — это вернуться к тебе, мама, на нашу гребаную дачу и копать твою гребаную картошку, которой ты вынесла мне весь мозг. Потому что, как ни крути, мама, я человек ростовский, я не могу жить без дачи... Но так не будет больше никогда, мама. Так не будет никогда... Я лечу в неизвестность, мама, и скорее всего я погибну. Мне очень страшно, мама. Мама, я видел такое, чего не видел Гагарин. Чего не видел никто. Мама, меня не страшит космос, меня не страшит одиночество. Мне только страшно, что, если я все же вернусь на Землю, если это когда-нибудь случится, на Земле к тому времени пройдет около четырехсот миллионов лет. И когда я вернусь, я увижу вместо рек, вместо улиц, вместо мостов и площадей только пустынные каньоны, над которыми будут клубиться песчаные смерчи. Не будет больше никакой России, и никакого Ростова, и никакой нашей дачи. И тебя, мама, тоже уже никогда не будет, и не будет никого, кто сможет мне рассказать о твоих последних днях.

Конечно, мне стоит надеяться на лучшее и молиться Дмитрию Ростовскому. Но космонавты — грустные люди, ты знаешь. Ты говорила мне когда-то, когда я был маленьким, что видела меня во сне в генеральских погонах. Ты хотела, чтобы я стал военным. А я стал космонавтом. Прости, мама. Я стал космонавтом, и ничего ты с этим не поделаешь...

Помехи.

Мама, прости, был без связи. Я пересек Проксиму Центавра и вылетел за пределы Млечного Пути...

Помехи.

Я подлетаю к черной дыре, мама. Горизонт событий уже близко. И скоро меня затянет туда. Там я и закончу свое существование. Не расстраивайся, мама, это не самая худшая смерть для космонавта.

Помехи.

Я внутри черной дыры, мама. Меня расщепило на атомы.

Помехи.

Я пересобрался, мама. Дмитрий Ростовский, кстати, пересобрался тоже. Он теперь без бороды и улыбается. Так ему гораздо лучше.

Помехи.

Я пролетел черную дыру насквозь и вылетел в другую Вселенную, мама. Здесь все так же, как у нас, но гораздо лучше.

И еще, мама. Я не знаю, как ты к этому отнесешься. Но я договорился с Викой из второго подъезда, она поможет тебе выкопать картошку. Дай ей ключи от моей машины, она отвезет тебя, у нее есть права, и я вписал ее в свою страховку. И последнее. Когда выкопаете картошку, съядте, пожалуйста, на крыльце нашего дома вдвоем. Посмотрите на небо и помашите мне рукой. Пусть я этого не увижу, но я буду знать, что там, в необъятной бесконечности, есть ты и Вика, есть наша дача и есть Ростов-на-Дону. И мне это будет приятно. Бога в космосе нет, мама, но, может, он есть на земле, ты поищи его там, в углу, под ковром...

Конец

К 300-летию РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Валентин Лукьянин

«Хочется знать, что же ты в самом деле»

Заметки на полях дневника И. Я. Постовского военных лет

Хотел было я заманить читателя сенсацией, даже приготовил фразу: «Дневник Постовского, считавшийся безвозвратно утраченным, нашёлся!!!» Но вовремя сообразил: хоть это событие действительно выдающееся, редкий из читателей, которому попал в руки номер журнала с предлагаемой статьёй, знает, кто такой Постовский. Но и того, кто это имя слышал, вряд ли особо «зацепит» ещё одно подтверждение расхожей (хотя ни разу нигде реально не подтверждённой) «истины», что «рукописи не горят». Так что резонней, я думаю, поначалу ввести читателя в курс дела: кто такой Постовский, почему его дневник военных лет — не просто раритет из семейного архива, а документ времени, достойный общественного внимания, и почему решено было опубликовать не сам дневник, а статью о нём. Такое вступление даст возможность самому читателю решить, для него эта статья или она за рамками его познавательных интересов.

Протеже Ганса Фишера

Сразу обозначу главное: Исаак Яковлевич Постовский — крупнейший советский химик-органик, академик. Он работал на Урале на протяжении более полувека, создал научную школу, получившую мировую известность и успешно развивающуюся по сей день, оказал огромное влияние на развитие химического производства в «опорном крае державы». Неоценим его вклад в укрепление обороноспособности страны в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы.

К сожалению, наша историческая память нынче, как говорится, «оставляет желать», тем не менее имя героя этой статьи не совсем забыто — по крайней мере, в столице Урала. В Екатеринбурге есть улица Академика Постовского. Правда, она совсем короткая — за пять минут можно пройти пешком от начала до конца, — к тому же находится на самой окраине мегаполиса, куда редко добирается тот, кто там не живет. А всё же, если поспрашивать случайных прохожих в центре, то хотя бы один из десяти ответит, что фамилию такую слышал. Однако едва ли даже десятый из десятых может сказать что-то определённое о жизни и трудах учёного. Между тем его имя носит сегодня Институт органического синтеза (ИОС) Уральского отделения Российской академии наук, что даёт наглядное представление о том, сколь почитаем Исаак Яковле-

Валентин Лукьянин — кандидат философских наук, публицист, литературный критик, историк науки, автор многих книг, посвященных истории и культуре Екатеринбурга, и множества статей и исследований, опубликованных в различных российских изданиях. В 1980–1999 гг. был главным редактором журнала «Урал», истории которого посвящена его книга «“Урал”: журнал и судьбы» (2018). Неоднократный лауреат премии журнала «Урал».

вич Постовский в научном сообществе. Но ещё показательнее, что институт создан коллегами и учениками академика для сохранения научной школы Постовского в условиях социально-экономической катастрофы, разразившейся в начале 1990-х. Причём научная мысль, послужившая поводом к созданию ИОС, оказалась столь животворной, что институт не только успешно пережил обрушившиеся экономику страны катаклизмы, но и вышел со своими новаторскими разработками на мировой уровень, стал (скажу шаблонно, зато понятно) «визитной карточкой» УрО РАН.

Фигура академика Постовского интересна ещё и тем, что в судьбе этого учёного своеобразно преломилась история нашей страны в XX веке. Родился он в самом интернациональном городе Российской империи Одессе в 1898 году, а в 1912 году отец увёз семью (жену, почти взрослую дочь Клару и подростка-сына) в Германию. Если отбросить экивоки, связанные с изменчивой конъюнктурой, — чтобы дать Исааку хорошее европейское образование.

В Мюнхене Исаак Яковлевич окончил гимназию; в мюнхенской же технической Hochschule он получил диплом доктора-инженера, после чего два года стажировался в должности приват-ассистента в лаборатории Ганса Фишера — одного из крупнейших химиков XX века, будущего лауреата Нобелевской премии (огромный список научных публикаций академика Постовского начинается с четырёх статей, опубликованных в те годы, одна из них — в соавторстве с самим Фишером). Именно Ганс Фишер порекомендовал Постовского для замещения вакансии, внезапно появившейся на кафедре органической химии Уральского политехнического института.

Последнее утверждение недоверчивый читатель может принять за домысел: какое, мол, дело одному из светил мировой науки до проблем маленького вуза, незадолго перед тем учреждённого в далёкой российской провинции? Но так сложились обстоятельства.

Вакансия заведующего кафедрой освободилась вследствие трагической неслепоты: очень талантливый, но и очень ещё молодой учёный С. Г. Карманов, руководивший кафедрой с момента её организации, покончил с собой из-за неразделённой любви к замужней женщине. Рассказ об этой печальной истории дотошный читатель легко найдёт в интернете, пересказывать его здесь было бы неуместно. Для нас важно другое: заменить Карманова на заведовании кафедрой оказалось просто нечем.

Руководители УПИ не преминули обратиться за помощью к саратовскому профессору В. В. Челинцеву. Читатель, конечно, удивится: а Саратов тут при чём? Однако резон был очевидный. Во-первых, в предреволюционные годы Владимир Васильевич работал в Московском университете, и так случилось, что он руководил дипломной работой С. Г. Карманова (Сергей Гордеевич окончил Московский университет в 1916 году); весть о нелепой гибели талантливого ученика он принял близко к сердцу и готов был помочь, чем может, сохранить оставленную им кафедру. Во-вторых, Челинцев был крупной фигурой в своём профессиональном сообществе и, надо полагать, не понаслышке знал всех химиков-органиков высшей квалификации, работавших тогда в стране. Увы, немного их было, и все они, как и он сам, были при деле. И всё-таки Челинцев не отступил: исчерпав «домашние» возможности, он обратился за советом к Гансу Фишеру, у которого в своё время стажировался, готовясь к профессорской должности в Московском университете. Это было, кажется, ещё в 1913 году, но с тех пор деловая связь между бывшим стажёром и его наставником не прерывалась.

Когда пришло письмо из Саратова в Мюнхен, срок стажировки Постовского у Фишера подходил к концу, ему предстояло выбрать место для дальнейшей работы. Были разные предложения — и из германских фирм, и из других европейских стран. Фишер, конечно, понимал, что российская глубинка для занятий наукой — не лучшая альтернатива для перспективного учёного, но о письме Челинцева не умолчал. И, надо полагать, был несказанно удивлён, когда узнал, что на семейном совете Постовских приняли решение: Исаак поедет в Россию!

Переезд из тёплой и благоустроенной баварской столицы в холодный и деревянный Свердловск, где не было ещё тогда ни трамвая, ни водопровода, ни канализации, человеку, воспитанному в представлениях нынешнего потребительского общества, может показаться настоящей катастрофой, но не сохранилось ни одного свидетельства, что Исаак Яковлевич хоть раз в жизни о том пожалел. Он ехал в Советскую Россию не для того, чтобы комфортно устроиться или хорошо «заработать», а чтобы работать в полную силу своих интеллектуальных потенций: таких возможностей для самореализации, как в стране, превратившейся в тотальную строительную площадку, не было тогда нигде в мире. Потребность души была важнее бытовых неудобств и прочих житейских неприятностей. Уже приближаясь к завершению своего жизненного пути, Исаак Яковлевич порой укорял себя лишь в том, что «разбрасывается». На самом деле, работая в какой-нибудь из западных лабораторий, он мог бы сосредоточиться на одной фундаментальной проблеме (или комплексе смежных проблем) и достигнуть «нобелевского» результата. Однако назовите мне нобелевского лауреата, который сделал бы столь же весомый вклад в несколько научных направлений, ставших базой для наукоёмких отраслей промышленности; подготовил бы специалистов, возглавивших эти направления. Академик Постовский не значится в ряду мировых научных светил, но он несколько им не уступает по масштабу научного наследия. Сравнение с ними просто некорректно: лидер химической науки и химической промышленности в опорном крае огромной страны — учёный иного типа.

Однако представление о масштабе фигуры учёного само по себе не объясняет значение факта обретения его дневника: это отдельный вопрос. Ключевая посылка к его разгадке заключается в том, что время Великой Отечественной войны стало пиковым этапом биографии выдающегося учёного. Поэтому дневник Постовского — не только информация для жизнеописания его автора, но и повод для размышлений о важнейшем этапе истории страны.

«Оборонная» фармацевтика

Ещё в предвоенные годы в лаборатории И. Я. Постовского и под его руководством впервые в мире был синтезирован сульфидин. Впрочем, дело не в том, что впервые в мире (идея носилась в воздухе, вскоре этот препарат синтезировали в Москве, а потом и в Англии); важно, что это было лекарство нового поколения, оно защищало организм от воспалительных процессов и гнойных инфекций. Ещё за сто лет до того врачи знали, что солдаты в большинстве своём умирают не от ран, полученных в бою, а от процессов в организме, спровоцированных этими ранами. Знали — и ничего не могли поделать: у них не было средств, чтобы остановить мучительный и неотвратимый уход своих пациентов из жизни. Поясню для наглядности примером не военным, зато всем известным: если бы у лейб-медика Н.Ф. Арндта был сульфидин, он бы не «облегчал страдания Пушкина после дуэли с Дантесом» (как пишут биографы поэта), а за считанные дни поставил бы его на ноги. Можно лишь гадать, как сказалось бы на развитии русской литературы середины XIX века присутствие в ней живого Пушкина, но не нужно гадать, чтобы оценить значение столь замечательного целительного средства для воюющей страны, где сотни и тысячи солдат ежедневно падают на поле боя под градом пуль и осколков — причём далеко не всегда бездыханными, но почти всегда обречёнными.

Нельзя сказать, что судьба сульфидина в СССР с самого начала складывалась успешно, однако в преддверии неминуемого вступления страны во Вторую мировую войну советские органы здравоохранения уже понимали, что скоро возникнет большая нужда в этом и подобных ему лекарствах. Ещё летом 1940 года Главмедфармпром принял решение о реконструкции Свердловского фармацевтического завода № 8 с целью получения ряда препаратов нового поколения, в том числе сульфидина. Но принять решение, даже «дать поручение», во все времена проще, чем сделать дело. Никто тогда, конечно, не смел «саботировать» решение высокого московского начальства, но на заводе не

было ни аппаратуры для химического синтеза, ни подготовленных кадров, и взять их было неоткуда. Так что дело с переоборудованием предприятия на протяжении полугода почти не сдвинулось с места.

Но в феврале 1941 года в Свердловск приехал недавно вступивший в должность нарком здравоохранения РСФСР А. Ф. Третьяков. Не знаю, затем он приехал, чтобы разобраться с производством синтетических лекарств, или повод к визиту у него был другой; так или иначе, он дважды встретился с автором сульфидина профессором И. Я. Постовским и предложил директору завода С. К. Розенштейну в трёхмесячный срок оборудовать цех для производства сульфамидных препаратов. Андрей Фёдорович был хорошо образованный специалист и, несмотря на относительную молодость (ему было тогда 35 лет), многоопытный организатор, но волшебником он не был, и нужное оборудование и специалисты не появились из его рукава. Так что цех для сульфамидных препаратов не был готов ни к 5 мая (назначенный наркомом срок), ни к роковому 22 июня.

Пожалуй, в одном отношении визит наркома всё-таки помог делу: руководство Уральского индустриального института (УИИ, впоследствии УПИ) убедилось, что профессор И. Я. Постовский не «подрабатывает» на химфармзаводе, а выполняет важное правительственное задание. И когда «внезапно» началась война (хоть все знали, что она вот-вот начнётся), для налаживания производства стратегически важных лечебных препаратов на химфармзавод № 8 был отправлен «десант» с кафедры органической химии УИИ во главе с заведующим кафедрой.

Вузовские работники не имели производственного опыта (и на этой почве там порой случались нешуточные конфликты), но, в отличие от производственников, хорошо знали, что с чем, как и в какой последовательности должно вступать в реакцию, чтобы получился нужный результат. Поэтому за отсутствием необходимого заводского оборудования они смогли для начала наладить производство высокотехнологичных препаратов в эмалированных вёдрах, тазаках, горшках — а всё же не в колбах и пробирках: другие объёмы, — и первые сотни жизней раненых солдат, привезённых в уральский тыл с поля боя, были спасены. Мало того, что они возвращались к жизни: вполне оправившиеся от ран пациенты уральских эвакогоспиталей возвращались на фронт. Пока отработывалась промышленная технология и расширялась линейка сульфамидных препаратов, из Подмоскovie под предлогом эвакуации привезли химическую аппаратуру, на самом заводе благодаря помощи учёных подготовили персонал, и объём продукции вырос настолько, что стало возможным распространять чудо-лекарства уже и за пределы Урала.

Это был научный прорыв, и профессор Постовский был отмечен за него своей первой Сталинской премией (потом была и вторая за весьма эффективное участие в атомном проекте). Но это был также и человеческий подвиг, за который он и члены его научно-практического «десанта» получили высокие правительственные награды.

Дневник найден, хотя и не был потерян

Я работал над книгой об академике Постовском и все эти обстоятельства и факты достаточно хорошо знал, ибо они запечатлены в архивных документах, печатных источниках, в воспоминаниях участников и свидетелей. Однако в одном из телефонных разговоров дочь учёного, доктор химических наук, профессор УрФУ Анна Исааковна Суворова, упомянула, что в годы войны отец её вёл дневник, который, к сожалению, утрачен. Она рассказала, что много лет спустя после войны (когда именно, Анна Исааковна уже точно назвать не могла) какой-то музей (какой — тоже не помнила) попросил у Исаака Яковлевича этот дневник для какой-то (опять неопределённость) выставки и не возвратил. Грустная история, но у меня она пробудила надежду: ведь если дневник не возвратили — это не значит, что он уже и не существует. Наверняка же где-то хранится.

Вы можете представить, как увлекла меня забрезжившая вдруг надежда узнать об этапном периоде жизни героя будущей книги как бы от него самого! И я принялся искать дневник Постовского во всех музеях и архивах Екатеринбургa, где он предположительно мог оказаться. Но результат везде был практически один и тот же: «Нет, не имеется, даже и не слышали о существовании такого раритета».

В ходе поисков пришла догадка, что, вероятнее всего, выставку устраивал не большой государственный, а скромный ведомственный музей — такие в советские времена учреждались у себя многими производственными предприятиями. Значит, надо поискать следы музея, который наверняка же существовал при Свердловском заводе медпрепаратов, ибо он образовался в 1962 году в результате слияния химфармзавода № 8 — того самого, где под непосредственным руководством И. Я. Постовского в годы войны наладили промышленное производство сульфамидных препаратов, — с пенициллиновым заводом, построенным уже после войны. К тому же завод медпрепаратов в 1960-е годы был очень знаменит. Он первым в области и одним из первых в стране бы удостоен звания «Коллектив коммунистического труда». О нём часто писали в газетах, говорили по радио, его постоянно посещали разные делегации — тысяч по пяти гостей ежегодно, по свидетельству тогдашнего директора Я. И. Изакова; как было справиться заводу с таким потоком любознательных посетителей без музея?

Путь поиска был выбран правильно, но, увы, оказался коротким: очень пожилая женщина, ветеран уже не существующего нынче завода медпрепаратов, рассказала мне по телефону, что музей у завода был, причём замечательный, однако в 1990-е завод приватизировали, и новым хозяевам музей стал не нужен. Моя собеседница видела собственными глазами, как поломанные витрины, планшеты, груды фотографий и прочих бумаг — всё, что недавно представляло славную историю флагмана уральской фармацевтической промышленности, — грузили в самосвал...

Дальше искать было бессмысленно.

Книга моя вышла в свет¹; на презентации, состоявшейся в конце июня 2022 года, я не преминул рассказать об утраченном дневнике... И вдруг где-то вскорее, возможно, и месяца не прошло, раздался телефонный звонок: дневник Исаака Яковлевича нашёлся!

Вообще-то, мне бы раньше следовало сообразить, что дневник — не очень подходящий экспонат для выставки. Выставить в витрине — какой смысл? Положить на столик, чтоб каждый желающий мог полистать и почитать? В любом отношении «не технологично». Здравый смысл подсказывает, что для экспозиции лучше подошли бы фотокопии отдельных страниц, отвечающих замыслу устроителей. Причём желательно в увеличенном масштабе, ибо почерк у Исаака Яковлевича хоть и чёткий, но мелкий.

А ведь подобные фотокопии нескольких дневниковых страниц я видел в домашнем архиве Постовских! Год на них не был помечен, но по содержанию — явно военное время. Не из того ли дневника? И не для той ли выставки сделаны? Тогда получается вовсе абсурд: дневник, который по самой природе своей мало годится для экспонирования в витрине, отдаётся на выставку, а дома оставляются фотокопии его отдельных страниц — зачем?!

Единственное объяснение моей тогдашней недогадливости вижу в том, что тогда я ещё только погружался в тему, а приобщение меня к домашнему архиву и сообщение Анны Исааковны об утрате дневника не совпадали по времени. Когда же дневник оказался у меня в руках, я первым делом нашёл свои выписки из фотокопий и удостоверился: страницы извлечены именно оттуда, запись сделана 11 марта 1943 года. Всё встало на свои места: в музей переданы были, конечно же, фотокопии (отпечатанные, вероятно, в двух экземплярах — второй оставлен дома), их и вывезли на свалку вместе с «хла-

¹ Лукьянин В. П. Исаак Постовский. Древо знания. — Екатеринбург: «Сократ», 2022.

мом», в который превращена была экспозиция заводского музея. А оригинал, естественно, остался дома, и Анна Исааковна могла просто не знать, что, наверно, ещё сам Исаак Яковлевич положил его в чемодан вместе с другими бумагами не каждодневной надобности, когда Постовским пришлось переезжать (по случаю капитального ремонта дома) из одной квартиры в другую. Вскоре Исаак Яковлевич умер, а семье пришлось ещё не раз менять-разменивать квартиры — дело житейское. И нет нужды сейчас выяснять подробности, достаточно оценить главное: чемодан, в котором находился дневник, никем не раскрывался в течение, как минимум, сорока лет.

А в канун 2022 года Анна Исааковна умерла...

Наводить порядок (если вы сочтёте приемлемым здесь это выражение) в опустевшей квартире пришлось по праву и долгу наследницы её дочери (и, стало быть, внучке Исаака Яковлевича Постовского) Елене Алексеевне Чернявской (которая много помогала мне в работе над книгой про её деда). Тот чемодан Елена Алексеевна обнаружила и открыла уже после того, как презентация книги прошла, — в июле или даже в августе 2022 года. Она-то мне и позвонила: дневник нашёлся!

Даже два дневника!

Оказалось, что это даже не дневник, а как бы два дневника, которые Исаак Яковлевич вёл параллельно и хранил вместе. Думаю, и носил их вместе в портфеле, открывая в разных случаях, когда была в том нужда, либо один, либо другой. Назначения у них были разные, но в повседневной жизни учёного они дополняли друг друга. Потому одновременно и нашлись.

Что они собою представляют? Это два больших блокнота, которые Исаак Яковлевич сделал, видимо, собственноручно, разрезав на две части «амбарную книгу». «Амбарные книги» раньше были в широком ходу, нынче их давно уже не видно в продаже — производят ли их вообще? На всякий случай поясню читателю помоложе: это было подобие толстой, листов на двести-триста, тетради формата писчей бумаги. И непременно в прочном переплете.

У гроссбуха, который Постовскому удалось где-то раздобыть, переплёт был из рыхлого грязновато-серого картона, с чёрным тряпичным корешком и уголками из того же материала. По чёрным уголкам и видно, который из блокнотов был верхней частью амбарной книги, а какой — нижней. А бумага внутри обоих — одна и та же: весьма посредственного качества, разлинованная «в линейку».

В блокноте из верхней части «амбарной книги» есть пометки, позволяющие предположить, что вести записи в нём Исаак Яковлевич начал позже, нежели во втором блокноте, ибо первая запись в блокноте из нижней части датирована 27 января 1941 г., а на обороте его титульного листа написано рукой Постовского: «начато Март 1942» (точная дата не указана) и «закончено 1942 г.» (не указан и месяц, но место для того, чтоб вписать название месяца позже, оставлено). Тем не менее на переплёте блокнота из верхней части «амбарной книги» крупно начертана цифра «1», из чего можно заключить, что для Исаака Яковлевича сразу, как только он разрезал «амбарную книгу», они были блокнотами номер 1 и номер 2, назначение у которых было разное.

В верхней части титульной страницы блокнота № 1 крупными печатными буквами написано: «ЛИТЕРАТУРА», а внизу — «Постовский» и домашний адрес. Думаю, это означает, что блокнотом предполагалось пользоваться в разных обстоятельствах (в частности, на лекциях, а лекции ему приходилось читать не только в студенческой аудитории), где-то по случайности он мог быть забыт, и тогда его наверняка возвратили бы хозяину. Блокнот был предназначен для конспектирования статей из новейших химических журналов. Думаю, правомерно назвать его читательским дневником Исаака Яковлевича.

Читателю будет любопытно узнать, что во время Великой Отечественной войны в крупнейших научных центрах страны исправно получали — через нейтральные страны — самые авторитетные зарубежные научные журналы,

в том числе даже из воюющей с нами Германии и стран её блока. Таков был наш тогдашний «параллельный импорт». На этот «импорт» тратились немалые валютные средства, но скупиться не приходилось, потому что научный потенциал ценился у нас как важнейший оборонный ресурс (каковым и был).

Уральский индустриальный институт (УИИ, позже УПИ) тоже был подключён к этому ресурсу, и профессор Постовский, при всей своей занятости, выкраивал время, чтобы прочитывать все журнальные (и книжные тоже) новинки, касающиеся химии, которые получала институтская библиотека. Для него это было примерно то же, что для солдата переднего края держать свой автомат в боевой готовности. А если сказать без экивоков — это диктовалось необходимостью поддерживать в безупречном состоянии главный инструмент своего научного мышления — *химическое мировоззрение* (выражение Постовского). Общая картина мира на уровне химических связей — это для него и глубокий фундамент лекционных курсов для студентов, и контекст осмысления результатов исследований, которыми занимались под его руководством аспиранты и сотрудники, и источник творческой интуиции — ибо что есть интуиция, как не способность *предвидеть* научные проблемы и *предоцущать* пути к их решению?

Все, кто слушал Постовского в послевоенные годы, вспоминают, что профессор на лекциях всегда пользовался карточками с выписками из новейших научных изданий. Выписки он делал, работая в читальном зале библиотеки, а карточки систематизировал в строгом порядке, отражающем его химическое мировоззрение, в своей легендарной картотеке. Соблазнительно предположить, что найденный в старом чемодане читательский дневник Постовского был предшественником той картотеки, но эта гипотеза нуждается в дополнительном подтверждении. Однако нет сомнений, что это явления одного порядка, и, значит, дневник из верхней части «амбарной книги» даёт возможность приоткрыть дверь в творческую лабораторию учёного. Приоткрыть — но не более того, ибо мало у кого получится хотя бы чуть-чуть вникнуть в ход мысли Постовского в том манускрипте. Во-первых, там представлена химическая наука того времени в самых элитарных её проявлениях. Во-вторых, Исаак Яковлевич делал выписки на тех языках, на которых статьи были опубликованы: на немецком, английском, французском, итальянском, редко — на русском. Много ли на нашем научном олимпе химиков-полиглотов? Конечно, барьеры эти можно преодолеть коллективными усилиями, но кто сейчас возьмётся за такую работу, тем более что публикации там законспектированы восьмидесятилетней давности.

В общем, читательский дневник, несомненно, был для И. Я. Постовского важным инструментом повседневной работы, поэтому он заслуживает бережного сохранения как ценнейшая историческая реликвия. Хорошо бы, чтоб нашёлся прилежный и эрудированный историк науки, который занялся бы его изучением, но вряд ли это случится скоро.

А у второго дневника — того, который Исаак Яковлевич вёл в «нижнем» блокноте, — было совершенно другое назначение, только не сразу можно понять, какое именно. Я бы, пожалуй, так сказал: задумывался дневник для одной надобности, но довольно скоро она отпала, однако Постовский продолжал время от времени делать записи, уже не столь определённые по назначению, но зачем-то же они были ему нужны.

Чтобы решиться разгадывать эту тайну, нужно пристально присмотреться к тому, что именно записывал учёный в блокноте номер 2.

«...а может быть, найдётся и читатель»

На картонном переплёте этого блокнота рукой И. Я. Постовского написано: «Дневник научной работы ВНИХФИ и на кафедре». Надпись изрядно затёрта, но читается. Чуть ниже с трудом, но просматривается: «Начато 27.I.42 г.»; эта дата подтверждается записью на первой странице. А титульный лист не затёрт, и на нём чётко видна надпись, позволяющая предположить, что первоначаль-

но «амбарную книгу» предполагалось использовать иначе. Опять-таки рукой И. Я. Постовского написано, а потом зачёркнуто: «тема “Сульфатиазол”. План на I-й квартал 1942 г.» Новое же назначение обозначено так: «Постовский. Дневник работы в филиале ВНИХФИ и на кафедре».

Я не к праздному любопытству читателя зываю, обращая внимание на эти, казалось бы, чисто внешние подробности. Они помогают понять, почему Постовский вдруг решил вести дневник в такое, казалось бы, неподходящее время: война ещё не достигла перелома, тяготы её для тружеников тыла с каждым днём становятся всё более неподъёмными. Исаак Яковлевич перегружен работой: кафедра, деканат, химфармзавод. По свидетельству домочадцев, он, уходя по утрам на работу раньше всех, возвращался уже ночью и пробирался к своему письменному столу, перешагивая через спящих на полу обитателей перенаселённой квартиры: у него оставалась ещё куча дел, с которыми нужно разобраться к завтрашнему утру... И со здоровьем у него уже начались серьёзные проблемы. А теперь ко всему добавлялся дневник — зачем?!

Надпись на титульной странице и дата первой записи как раз и помогают понять — зачем. Дело в том, что как раз в конце января 1942 года ко всем обязанностям Исаака Яковлевича добавилась ещё одна — пожалуй, и ответственной прочих: его назначили научным руководителем Уральского филиала ВНИХФИ — Всесоюзного научно-исследовательского химико-фармацевтического института.

Решение об учреждении филиала наркомат здравоохранения СССР принял ещё в октябре 1941 года. Причиной тому стало создание на Урале химико-фармацевтического производства, столь же необходимого воюющей стране, как производство танков и самолётов. Но фармацевтическая химия в СССР в то время лишь начинала выходить из лабораторных стен в производственные цеха, становление химико-фармацевтических предприятий в глубоком тылу (в частности, в Свердловске и Ирбите) нуждалось в повседневной и очень предметной научной поддержке.

Принять решение — не проблема, но где взять специалистов? Поступили так же, как с предприятиями, выпускающими военную технику: отправили в Свердловск как бы в эвакуацию группу ведущих сотрудников головного московского института. Развернуть коллектив до работоспособного состояния предполагалось за счёт местных кадров.

С директором филиала особых сложностей не возникло: на эту должность назначили сотрудницу головного института К. А. Чхиквадзе. Судя по сведениям, которые можно почерпнуть из дневника И. Я. Постовского, Кетевана Архиповна была квалифицированным химиком (имела степень кандидата химических наук), знала, как устроен и над чем работает ВНИХФИ, умела выстраивать отношения с начальством; словом, для выполнения административных функций в дочернем научном учреждении — лучшего и не придумаешь. Но, чтобы руководить научно-исследовательской работой коллектива, её компетенции было недостаточно, да от администратора того и не требовалось: тем должен был заниматься научный руководитель. В конце января 1942 года приказом заместителя наркома здравоохранения СССР Терентьева научным руководителем Уральского филиала и был назначен профессор УИИ И. Я. Постовский.

Его назначение на эту должность было неожиданным и для москвичей, и для него самого. Вот запись в дневнике 29 января² 1942 г. — Исаак Яковле-

² Для наглядности цитаты из дневника И. Я. Постовского я буду и впредь выделять курсивом, обозначая при этом и страницы дневника, откуда они извлечены. (Страницы пронумерованы самим Постовским.) Номера страниц для читателя этой моей публикации, конечно, значения не имеют, но, надеюсь, они ему и не помешают. А вот для историка науки, который когда-то, надеюсь, возьмётся за изучение дневника, обратившись к его подлиннику, а попутно, возможно, и к этому моему очерку, они точно послужат удобными ориентирами.

вич только ещё вживается в должность: «*Всем в филиале я кажусь случайным лицом, занявшим пост научного руководителя. Чем руководствовался зам наркома Терентьев при назначении — не знаю*» (с. 6). Он был и без того перегружен работой; втиснуть в свой напряжённый график ещё одно ответственное дело казалось для него физически невозможным. Но и отказаться было нельзя: в военное время приказы не обсуждались, а исполнялись. Пришлось приспособливаться к ситуации. Видимо, для того, чтоб держать в поле зрения всё принципиально важное, что совершалось параллельно в двух достаточно многолюдных и функционально пересекающихся коллективах, которые он с того момента возглавлял, Постовский и завёл этот дневник *научной работы* — а иная причина не просматривается.

В сущности, ничего принципиально нового в этом плане он не изобрёл. Прообразы его дневника, к примеру, — вахтенный журнал, дневник экспедиции, классный журнал в школе, да хоть бы и упомянутая амбарная книга, придуманная в незапамятные времена, чтобы записывать в режиме реального времени, что в амбар положено, а что оттуда вынесено; думаю, вы легко продолжите этот перечень. В любом случае смысл один и тот же: не перенапрягая память, держать в поле зрения всю картину течения того или иного процесса. Без того нельзя им управлять.

Увы, лишь на протяжении примерно месяца Исаак Яковлевич более или менее исправно делал дневниковые записи в этом ключе, с самого начала определив для себя простую и наглядную их форму: на левой стороне страницы оставлял свободное поле, на котором отмечал дату, ниже её — фамилии сотрудников (или, случалось, посторонних визитёров), с которыми он в тот день общался по какому-то важному делу. За редким исключением, имён или хотя бы инициалов не указывал, но явно позже, при перечитывании, самым мелким почерком добавлял пояснения: сотр. филиала, ст. лабор. кафедры и т. п. А правее фамилии, уже во всю ширину страницы, кратко излагал суть разговора.

Казалось, эта практичная форма организации своего рабочего времени очень скоро войдёт у него в привычку, но — не случилось. Натуре Исаака Яковлевича всегда претили монотонные, «на автомате», занятия. Даже в науке он увлечённо занимался той или иной проблемой лишь до того момента, когда ему открывался некий алгоритм, после чего перепоручал руководство дальнейшим движением в намечившемся направлении очередному своему ученику, для которого это занятие сулило захватывающие перспективы, а сам устремлялся туда, где угадывалась им новая и нехоженная тропа. Потому, я думаю, практически с первых страниц, а далее всё заметней, Исаак Яковлевич нарушал им же для себя установленный порядок ведения записей. Сначала просто короткие — пять-шесть строчек — заметки на память; но уже и среди них встречаются записи подлиннее: дескать, я предложил сделать эту реакцию таким-то способом, рассчитывая на такой-то результат, и т. п. Потом — всего-то на пятой-шестой странице — он перестаёт оставлять поля: слева указывает дату, под ней — фамилию сотрудника, с которым решалось какое-то дело, а со следующей строки, уже прямо от края страницы, излагает суть дела и принятое (или не принятое) решение. В таком порядке фиксировались другие деловые разговоры того дня. И записи следующего дня делались по той же схеме.

Я упомянул о следующем дне, между тем уже в первую неделю, да почти сразу, записи перестают быть ежедневными, а скоро и вообще утрачивают регулярность. Самая первая сделана во вторник, следующие — в среду и в четверг, а уже в пятницу (30 января) записи нет. Нет записи и в понедельник 2 февраля. 3 февраля в дневнике опять коротко фиксируются текущие события, а затем наступает трехдневная пауза. Ещё через день — пауза уже четырёхдневная. Потом, все ещё в феврале, — десятидневная. А дальше на протяжении целого года вовсе нет записей, которые бы делались хотя бы два дня подряд. Все они разделены паузами, в чередовании и длительности которых никакая закономерность не просматривается: пять дней, потом пять недель, одна неделя, три дня, две недели, шесть дней. Несколько позже — месяц, пять месяцев, три с половиной месяца. Лишь в одном случае за всё время ведения

дневника записи «сгустились»: 10, 11 и 12 марта 1943 года; два дня пропущено — и снова 15 и 16 марта подряд (запомните эти дни). Но после того опять начинаются паузы: одна неделя, две недели, сразу четыре месяца... Последняя запись сделана 6 октября 1943 года.

Я подсчитал: Постовский вёл свой дневник на протяжении примерно двадцати месяцев, но за это время сделал всего лишь 29 записей, датированных конкретными днями: в сумме не набирается даже на один месяц. Причём дни, когда делались записи, разбросаны по отрезку времени между первой и последней записями очень неравномерно. В таком режиме роль «вахтенного журнала», на которую дневник рассчитывался изначально, он сыграть не мог. Думаю, Исаак Яковлевич расстался с этой идеей без сожаления: видимо, скоро почувствовал, что такая «подпорка» его памяти не нужна.

И конкретные имена в качестве непосредственных поводов для дневниковых записей исчезают тоже довольно скоро — на двадцатой странице их уже нет. При этом имён в дневнике не становится меньше: просто теперь они упоминаются не потому, что с кем-то в конкретный день Исаак Яковлевич обсуждал те или иные проблемы, а потому что к проблемам, которыми занимался Исаак Яковлевич как учёный и руководитель научных коллективов, были так или иначе причастны многие сотрудники и должностные лица, их он и называл.

(К слову, имён в дневнике упоминается около семидесяти: работники кафедры, филиала, головного института, медицинских учреждений Свердловска и Москвы, должностные лица и т. п. Кто-то упоминается лишь единожды, мимоходом, а иные — и десять, и пятнадцать раз. Но, отметим и это, ни разу не упоминается кто-либо из домашних, соседей, просто знакомых, не имеющих отношения к его научной деятельности: дневник от начала и до конца остается деловым.)

Записи в дневнике столь же неоднородны и неравномерны, как и распределение их во времени. Есть небольшие — одна-две страницы, но больше таких, что страниц на пять-шесть, а есть и на десять, даже на двенадцать страниц. Прикиньте: половину школьной тетради мелким почерком — в один присест!

И вот что получается: первоначальный замысел дневника себя не оправдал, в том качестве дневник существовал совсем недолго, но, когда это стало очевидным, Исаак Яковлевич блокнот не забросил, а продолжил делать в нём записи — теперь уже не регулярные, а как придётся. В одном месте (на с. 25) он сам себя убеждает, что нужно делать записи хотя бы раз в неделю. В действительности не всегда удавалось и раз в месяц, но даже и с такой периодичностью дневник — уже в новом качестве — по какой-то причине не терял для него своей значимости.

И теперь представьте себе ситуацию: лежат у Постовского в портфеле (или в ящике стола) вместе два блокнота, сделанные из одной амбарной книги. В одном он конспектирует статьи из научных журналов, и это понятно: такие заметки помогают держать в «боевой готовности» его *химическое мировоззрение*. В другом *фиксирует* некие события, происходящие в те же дни вокруг себя или с ним самим. Для того, чтобы руководить научными исследованиями в двух коллективах, это, оказывается, не нужно, тогда ради чего он ведёт этот дневник?

Кстати, я несколько раз употребил это слово — фиксировать. Не сам его выбрал, а позаимствовал у Постовского: *«Для кого пишу? Фиксирую. Может быть, интересно будет самому почитать, а может быть, найдётся и читатель. Что он скажет. Наверное, если он меня знает, его мнение обо мне только ухудшится»* (с. 135-136).

Любопытное признание. Сам Исаак Яковлевич дневник перечитывал, это точно. Иногда, развивая важную для него мысль, ссылался на более раннюю запись. (Думаю, для того он и пронумеровал страницы — видно же, что не сразу, а когда почувствовал, что так будет удобней.) В ряде случаев делал комментарии на полях: дескать, ожидаемая публикация появилась тогда-то, планируемый препарат начали выпускать в таком-то месяце и т. п. При этом, как

правило, назывались даты, когда это произошло и когда вписан комментарий, но все они относятся к тому же периоду, когда дневник был у Исаака Яковлевича рабочим инструментом и находился под рукой. А признаков того, что автор перечитывал дневник после того, как тот перекочевал, условно говоря, из портфеля в нижний ящик стола, я не обнаружил. Хотя наверняка же Исаак Яковлевич его просматривал хотя бы тогда, когда выбирал страницы для выставки в музее. Значит, помнил и дорожил.

Обратите ещё внимание на предположение: «*может быть найдётся и читатель*». Похоже, автор дневника против того не возражал бы, пусть даже при этом пострадала бы его репутация. Наверно, в расчёте на возможного читателя Исаак Яковлевич снабдил некоторые упоминаемые в дневниковых записях фамилии краткими пояснениями: кто есть кто. Не нужно экспертизы, чтоб увидеть: они добавлены позже, при перечитывании.

Но почему ему хотелось, чтобы его записи были кем-то впоследствии прочитаны?

Думаю, он чувствовал, что в опыте его тогдашней жизни есть нечто такое, что не все замечают или кто-то уже в другие времена может ложно истолковывать. Между тем для понимания времени это нечто представляется ему очень важным. Но это лишь предположение, ибо прямо об этом Исаак Яковлевич не говорит.

Но существует, по-моему, и более очевидная причина, заставлявшая Постовского изыскивать в своём сверх всякой меры переуплотнённом рабочем графике хотя бы небольшие просветы, чтоб фиксировать некоторые события, происходящие вокруг и в себе: обдумать, обсудить, определить свою позицию. Дневник как «собеседник» — вариант, тоже известный в истории словесности.

Но, по правде говоря, не так уж важно, какая причина заставляла Исаака Яковлевича вести дневник. Важнее — какие, собственно, события фиксирует он в этом своём дневнике.

«Общей темой являются сульфамиды»

Я одним из первых прочитал дневник И. Я. Постовского в подлиннике, когда он был извлечён из чемодана. Сейчас у меня под рукой его полная электронная копия. И всё же, чтобы не допустить нечаянной оплошности в понимании и толковании этого документа, я прибегнул к помощи эксперта, который, несомненно, более «в теме», нежели автор этих строк. Я говорю об А. И. Матерне. В отличие от меня, гуманитария, Анатолий Иванович — химик-органик, доктор химических наук, профессор. И, что в данном случае тоже очень важно, — прямой ученик Исаака Яковлевича, близко его знал и даже, так распорядилась судьба, общался с ним в последние часы жизни академика.

Анатолий Иванович не только прочитал дневник И. Я. Постовского примерно в то же время, что и я, но сразу же сделал обстоятельный и точный его конспект, подчеркнув при этом любопытные, по его мнению, детали. Этот конспект изучили и одобрили и другие первые читатели обретенного дневника — учёные, тесно общавшиеся с Исааком Яковлевичем и в научной работе, и в жизни, — академики О. Н. Чупахин и В. Н. Чарушин, член-корреспондент РАН В. Л. Русинов. «Апробированный» на столь авторитетном уровне конспект А. И. Матерна стал для меня надёжным «топографическим планом», помогающим более уверенно ориентироваться на обширном острове жизни, давно уже погрузившемся в пучину истории.

Вступаая в заповедную область, я руководствовался ключевой посылкой А. И. Матерна: «Общей темой, вокруг которой выстроен дневник, являются, на мой взгляд, сульфамиды, связанные с ними труды и эмоции — идеи, опыты, реализация, достижения и разочарования». Поскольку я тоже внимательно читал дневник, это утверждение было для меня констатацией очевидного: «сульфамиды» (и вообще химия, химическая теория), если прикинуть на глазок, занимают, пожалуй, не меньше половины объёма текста дневника:

размышления учёного о проблемах, которые нужно решать безотлагательно, о возможных путях их решения и предполагаемых результатах; причём всё это густо насыщено специальными терминами, проиллюстрировано «многоэтажными» структурными формулами. Разбираться в этой части содержания дневника — дело специалистов. Впрочем, специалистам итоги большой работы И. Я. Постовского и его сотрудников по сульфамидам достаточно хорошо известны³, но вряд ли многим даже из их числа так уж интересны сегодня перипетии движения научной мысли к этим целям. Прошло восемьдесят лет, те цели остались далеко позади, даже и способы научного мышления за это время претерпели большие изменения. А широкому читателю, даже если он знает химию в объёме школьной программы, этих «приключений мысли» и вовсе не понять.

Так в обобщении А. И. Матерна я нашёл подтверждение ранее зародившемуся намерению рассказывать о дневнике Постовского, избегая обсуждения его главной темы: каким образом в Уральском отделении ВНИХФИ в годы войны велась разработка сульфамидных препаратов. Анатолий Иванович и его коллеги согласились с таким решением. Более того, мы, то есть самые первые читатели обрётённого дневника, пришли к единодушному мнению, что дневник в том виде, как он есть, публиковать целиком вообще не следует, хотя бы даже рассчитывая на интерес только научной общественности. Как и блокнот номер 1, он, конечно, должен быть сохранён в надёжном архиве. Когда-то он тоже станет предметом исследования серьёзных историков науки. Но нет смысла выносить на всеобщее обозрение те аспекты его содержания, которые будут понятны не многим, а порой вроде бы и понятны, но, вырванные из контекста времени, могут быть ложно истолкованы.

А мне здесь уместнее сосредоточиться на отдельных коллизиях, хотя и связанных с разработкой сульфамидных препаратов, но коренящихся в сфере человеческих отношений.

Поясню этот подход наглядным примером. Формула какого-нибудь впервые синтезированного лечебного препарата отражает химические связи внутри молекулы, сконструированной химиками-фармацевтами; в этом смысле она отражает объективную реальность. В научных отчётах о подобных разработках путь от замысла к результату предельно деперсонифицирован: неважно, кто, а важно — как: мысль, которую каждый читатель вправе примерить на себя, движется по траектории, чётко размеченной вешками доказанных (значит, всеми признаваемых) истин.

Однако в действительности всё сложнее. Мысль всегда рождается в чьей-то голове, причём одной головы обычно недостаточно. Чтобы сконструировать новую молекулу с заданными свойствами, необходимо объединить усилия множества людей, каждый из которых — индивидуальность; у него свой интеллектуальный ресурс, свои амбиции, свои, как говорится, тараканы в голове.

Людей этих нужно собрать, мотивировать, организовать их совместный труд. Но даже при самой оптимальной организации эффективность общей работы будет зависеть ещё и от работоспособности каждого её участника, а она, в свою очередь, определяется не только уровнем его квалификации, но и множеством преходящих факторов — от того, как сложились отношения конкретного работника с его ближайшими сотрудниками, до, например, насморка, подхваченного из-за неплотно прикрытой форточки; думаю, нет смысла перечислять здесь бесчисленные иные варианты.

И вот к чему я веду. В дневнике И. Я. Постовского действительно много интересной для специалистов-химиков информации о том, какими путями двигалась научная мысль, ищущая эффективные средства для лечения наиболее распространённых в то время болезней. Историк науки обычно получает сведения об этом движении, обратившись к научным изданиям соответству-

³ См.: Фармацевтическая химия на Урале. — Екатеринбург, 2016. С. 16–17.

ющего времени, но из дневника учёного, находившегося в центре событий, он узнаёт о множестве подробностей, которые в тех изданиях не могут быть отражены по определению.

Однако особый интерес уже не только для специалистов, но и для того, кто к фармацевтической химии и к химии вообще не причастен, представляет, на мой взгляд, человеческий аспект тех событий: «труды и эмоции — идеи, опыты, реализация, достижения и разочарования», как в самых общих чертах сформулировал А. И. Матерн. В научных публикациях он не отражается вовсе, между тем как в практической жизни научных (и не только научных) коллективов человеческий аспект играет большую, порой и ключевую, роль. Не вдаваясь пока что в детали, признаюсь, что и сам я, немало занимавшийся уральским тылом в годы Великой Отечественной войны, нашёл в дневнике И. Я. Постовского ряд коллизий, которые были не замечены или должным образом не оценены в известных мне публикациях разных авторов об этом историческом периоде. И в моих, увы, тоже. Именно на эти коллизии, в первую очередь, я и хочу здесь обратить внимание, не пытаясь охватить все грани жизни учёного в этот период и не стараясь следовать хронологии событий, отражённых в дневнике.

Москвичи и «аборигены»

Начать, однако, лучше с самого начала.

Первая страница дневника. По-видимому, на ней зафиксирован всё же не самый первый день работы Исаака Яковлевича в должности научного руководителя филиала ВНИХФИ; возможно — и не первые его встречи с будущими сотрудниками; хотя их фамилии он, кажется, помнит ещё нетвёрдо. Насколько можно судить по содержанию очень коротко записанных бесед, цель их была в том, чтобы согласовать ближайшие планы сотрудников, приехавших из Москвы, с общей стратегией научно-исследовательской работы филиала, которая недавно назначенным руководителем ещё только продумывается. А как иначе? Ведь стратегию эту следовало выстраивать в расчёте на цель, ради которой создавался филиал, но двигаться к этой цели предстояло, опираясь на кадровый ресурс, выделенный головным институтом. Вот Исаак Яковлевич и выяснял, кто из присланных из Москвы специалистов чем занимается и на что способен.

Надо отдать должное московским руководителям: они откомандировали на Урал опытных и весьма авторитетных сотрудников. Однако опыт каждого из них был локальной частицей опыта большого научного коллектива; при этом никто, увы, не брал в расчёт, что заслуженный авторитет в менее статусной (по мнению столичных небожителей) среде мог оборачиваться и апломбом, мешающим успеху дела. Так что кадры из Москвы явились и незаменимой помощью, и потенциальным источником конфликтов.

Психологическая нестыковка обозначилась уже при первых контактах «провинциального» руководителя с посланцами Москвы.

Первый собеседник И. Я. Постовского 27 января 1942 года — И. Е. Горбовицкий (вскоре он будет назначен заместителем Исаака Яковлевича по филиалу, а пока что Постовский даже фамилию его записывает неточно: Грабовицкий). Разговор проходит в нейтральных тонах: москвич заканчивает опыт получения ацетанилида, имеется положительный результат, но что дальше? Исаак Яковлевич рекомендует ему *«читать по сульфиду, затем начать опыты»*. Тот, видимо, пожал плечами, но спорить не стал.

Вслед за тем сотрудник филиала Мазовер *«внёс предложение начать работу по получению амида...»* (прерываю цитату: не хочу вдаваться в профессиональные подробности). *«Я просил пока отложить»*, — фиксирует итог Исаак Яковлевич. Мазовер внёс ещё одно предложение — и опять: *«Я просил отставить ввиду наличия других более сложных тем»*. Какие темы он имел в виду, не сказано. Не сказано и о том, как отреагировал москвич. Можно, однако, предположить, что тот был несколько обескуражен.

Третьим собеседником Постовского в тот день был один из самых именитых москвичей — О. Ю. Магидсон (на первых страницах дневника он именуется — Магидзон): профессор, *«вождь фармакологии»* ВНИХФИ (как пишет о нём Исаак Яковлевич на с. 41) и даже председатель Фармакопейного комитета Наркомздрава. *«Я предложил ряд тем...»* — записывает после его визита Постовский. — *«Все были отклонены. М[агидсон] считает важной тему изучения содержания мочевой кислоты в птичьих пометах с целью постановки темы получения кофеина»*. Такое предложение Исаак Яковлевич даже не комментирует. Итог: *«М[агидсон] уехал не распрощавшись»*.

Онисим Юльевич не ушёл, а именно *«уехал»*, потому что не в другую комнату, а в Москву. На страницах дневника Постовского он упоминается чаще всех других деловых партнёров (за исключением разве что З. В. Пушкарёвой⁴), но в число *«эвакуированных»* сотрудников ВНИХФИ не входил, а курировал Уральский филиал, оставаясь в Москве. Неоднократно приезжал в Свердловск, но ненадолго; не раз Исаак Яковлевич встречался с ним во время командировок в Москву, а по каким-то вопросам они общались с помощью тогдашних несовершенных средств связи. От Магидсона как куратора от головного института зависело решение многих вопросов по филиалу, и, кажется, на протяжении всего периода, освещённого в дневнике, отношения между научным руководителем филиала и его московским куратором были натянутые.

Другие *«беженцы»* из Москвы хотя бы по более скромному своему статусу не могли столь откровенно демонстрировать свой гонор, но не чувствовать его *«провинциал»* Постовский не мог, и это не раз отмечается в дневнике. Упомянутый Горбовицкий пожеланию Постовского последовал, но явно нехотя: *«Приступает к получению динитродифенилсульфида. Для человека с большой эрудицией бóльшая решительность начать работу была бы уместна»*, — записывает Исаак Яковлевич 29 января (с. 5).

Где-то в начале февраля на первом коллоквиуме в филиале ВНИХФИ сделал доклад Мазовер. Доклад в принципе интересный, по оценке Постовского, но, слишком *«академический»*, то есть никак не связанный с той прикладной тематикой, ради которой был создан филиал. Исаак Яковлевич обратил на это внимание в своём итоговом выступлении и, видимо, почувствовал, что слушатели — не на его стороне. *«Коллектив пока ещё продолжает подходить ко мне с чувством недоверия и недооценки»*, — огорчается он в записи 7 февраля (с. 14).

Квалификацию москвичей Исаак Яковлевич, кажется, ни разу не поставил под сомнение, тут дело в другом: *«Вечером слушали хорошее сообщение Меньшикова о строении сферофизина... Меньшиков блестящий химик, школы Орехова, но человек с большим зазнайством, прикрытым внешней скромностью»* (с. 18).

Запись от 1 марта: *«В филиале работа идет вяло и без подъема. Мне [не?] удаётся влить энтузиазм в московский коллектив. Каждую неделю уточняю*

⁴ Зоя Васильевна Пушкарёва (1907–1982) на страницах дневника упоминается особенно часто. На протяжении десятилетий она была ближайшей сотрудницей И. Я. Постовского. С 1932 г., после окончания Ленинградского технологического института, З. В. Пушкарёва работала ассистентом на кафедре органической химии УИИ, под руководством Постовского подготовила и в 1937 г. защитила кандидатскую диссертацию. С начала Великой Отечественной войны совмещала работу доцентом кафедры органической химии УИИ с должностью главного инженера химфармзавода № 8. В 1944 г. получила Сталинскую стипендию и ушла в докторантуру, а в 1947 году защитила докторскую диссертацию, была утверждена в звании профессора и создала на химфаке кафедру технологии органического синтеза (ТОС). В последующие годы, не оставляя кафедру, работала деканом химического факультета, секретарём парткома, проректором УИИ. В 1968 г. по её инициативе была создана проблемная научно-исследовательская лаборатория по синтезу противораковых и противолучевых средств; она же сама стала её заведующей, а И. Я. Постовский — её заместителем по научной части. З. В. Пушкарёва была талантливым педагогом, выдающимся организатором и крупным общественным деятелем.

план на неделю и каждую неделю констатирую невыполнение плана» (с. 22). Дальше Постовский записывает, что ему поручено (не сказано, кем) «созвать органиков города и организовать секцию Менделеевского общества, состоящую из органиков. Боюсь, — сомневается Исаак Яковлевич, — что мне эта работа не под силу, тем более что нужным авторитетом среди московских химиков я не обладаю» (там же).

Возможно, ему следовало решительней «употреблять власть», но Исаак Яковлевич понимает, что административным нажимом повысить свой авторитет и пробудить энтузиазм сотрудников вряд ли получится, и он настойчиво изыскивает средства достучаться до не идущих на контакт душ, вызвать у невольных, ниспосланных военной судьбой сотрудников интерес к делу. Видимо, на то был рассчитан упомянутый коллоквиум, но замысел не сработал: заметного сдвига в настроениях не произошло.

В том же марте Постовский провёл более масштабное мероприятие, о котором по свежим следам записал: «В филиале ВНИХФИ состоялось, по моей инициативе, совещание с эвакуогоспиталями. Пришло немного народу, совещание почти что прошло впустую, хотя один факт созыва совещания уже заставляет обратить внимание на филиал. Цель совещания оказать помощь эвакуогоспиталям, отчасти выдачей ценных медикаментов, привезённых ВНИХФИ из Москвы. Интересный доклад сделал Скворцов (проф., засл. деят. науки, фармаколог)» (с. 26).

Про Скворцова и его доклад ещё раз пять уважительно упоминается в последующих дневниковых записях, но, насколько я могу судить, заметного влияния на деловую активность московских сотрудников филиала это мероприятие не оказало — возможно, потому что пожилой профессор В. И. Скворцов в «эвакуацию» не посылался, продолжал работать в Москве и в Свердловск приезжал ненадолго.

Коллективные мероприятия помогают сформировать общественное мнение, но не претворяются автоматически в умонастроения членов коллектива (как, впрочем, и коллектив не тождественен списочному составу работников учреждения). Полтора десятилетиями раньше описываемых событий Исааку Яковлевичу уже пришлось создавать кафедру — как научно-педагогический коллектив — из очень пёстрого набора сотрудников, которых администрации «волюнтаристски» учреждённого Уральского университета пришлось собирать «с бору по сосенке» по всей стране. Ему удалось это сделать, но как? Он с каждым сотрудником работал индивидуально. Они занимались разработкой тем, не связанных ни общими корнями, ни общей целью, но молодой завкафедрой подключался к их работе (к каждому по отдельности), при этом не менял направления их работы, а подкреплял их усилия своим талантом и опытом, полученным в лаборатории Ганса Фишера. В результате сотрудники работали за пределами своих обычных возможностей, но результат ощущали как свой. Получалось примерно как в спорте: неопытный спортсмен под руководством хорошего тренера превосходит самого себя, но после того на меньше уже не согласен. При этом с партнёрами Постовского происходили и более глубокие перемены: у них пробуждался интерес к исследовательской работе, появлялась уверенность в собственных силах, раскрывались перспективы профессионального роста. В то же время исподволь формировались общая для всех мировоззренческая база, общий стиль и общее направление работы; зарождалась и развивалась научная школа. Позже таким же способом готовились аспиранты и соискатели.

Конечно же, тот испытанный способ Исаак Яковлевич решил применить и при работе с москвичами: «В понедельник, — записывает он 11 апреля 1942 года (это была суббота), — я соберу всю группу и сделаю ей маленький доклад. Попробую взять всё в свои руки и зажечь желание дать результаты. Почему в свои руки? Потому что я буду отвечать, потому что я выдвинул идеи. Заслуги каждого участника я всегда учитывал и буду учитывать, но наконец пора себя не ставить позади других. <...> Только бы мне не поддаваться настроениям и не реагировать на кислые мины и зазнайство

москвичей, заставить их работать и выполнять план. Чёрт поберу, неужели я этого не сумею?» (с. 38).

Наверно, всё-таки не сумел. Ибо в следующей дневниковой записи (через три дня — 15 апреля, во вторник) нет ни слова о собрании группы москвичей с его «маленьким докладиком», которое намечалось провести в понедельник. Состоялось ли оно? Если нет, то почему? Или состоялось, но не оправдало надежд? В любом случае не верится, чтобы мысли об альбукциде (этому препарату, тогдашней фармацевтической новинке, полностью посвящена запись 15 апреля) настолько захватили его, что он просто забыл важное событие, происшедшее накануне.

Скорее всего, однако, важным оно не стало — желания у москвичей «дать результаты» не «зажгло». Он же, как всегда (а таких примеров в дневнике много), относил неудачу на свой счёт: то ли предложенные темы не смог подать красиво, то ли неубедительно рассказал о том, как будет организована работа. Так или иначе, вспоминать об этом поражении Исааку Яковлевичу было неприятно, вот он ничего и не записал.

Но, на мой нынешний взгляд, винить себя ему было не за что, да и у москвичей был свой резон. Просто ситуации на кафедре и в филиале были в определённом смысле полярно противоположны. На кафедре Исаак Яковлевич работал с исследователями, которые по уровню квалификации заметно (очень важно, что для них самих) уступали ему, так что вопрос об авторитете руководителя, об актуальности предлагаемых им тем просто не мог возникнуть. А «эвакуированные» москвичи приехали в «глухую провинцию» с сознанием безоговорочного превосходства своей школы и квалификации. Внешне это могло выглядеть как зазнайство, а по сути то был, если можно так выразиться, корпоративный патриотизм.

Они ведь как специалисты формировались во ВНИХФИ, а этот институт целенаправленно создавался как флагман мировой (на меньшее руководители «первой в мире социалистической страны» не соглашались) фармацевтической науки. Для его устройства советское правительство не пожалело средств: построили просторное здание в центре Москвы, собрали лучших специалистов, которых нашли в стране, а упомянутого выше А. П. Орехова (упомянутого в связи с тем, что профессор Г. П. Меньшиков, работавший в Уральском филиале, — его ученик) даже выманили из эмиграции. Кто у нас в стране мог тогда судить, как институт котируется на мировом уровне? Но флагманом советской фармацевтики он был точно — хотя бы потому, что противопоставить ему было просто нечего. И вы хотите, чтоб, приехав в провинцию, они постылись своим самомнением?

29 января 1942 г. Исаак Яковлевич делает в дневнике запись о разговоре с сотрудником филиала Пинесом: *«Он руководит химиотерапевтич[еским] отделом и отделом информации. <...> Пинес энергичный человек, но двадцатилетняя работа в ВНИХФИ вселила в него твёрдую уверенность, что ничего нового на белом свете нет, чего бы в ВНИХФИ не сделали. В самом деле ВНИХФИ почти ничего нового не дал, а в течение десяти лет только осваивал заграничные новинки»* (с. 6-7). А почти полгода спустя — 26 июня 1942 г. — делает запись о другом сотруднике филиала: Г. И. Браз — *«аккуратный, очень начитанный, но не очень умный человек. Отпечаток школы Магидзона налицо: “Ничего нового своего, только осваивать достижения заграницы”, — вот его девиз»* (с. 74).

Очевидно, что уничижительная оценка Постовским ВНИХФИ и его научного лидера — не спонтанная реакция на какое-нибудь конкретное событие, а выражение устойчивого мнения, которое сформировалось не в одночасье и высказывалось им (но не вслух, а лишь на страницах дневника) неоднократно. При этом Исаак Яковлевич не отрицает, что институт занимается очень нужной для страны работой; по ряду записей видно, что он высоко ценит оборудование, которым оснащены лаборатории ВНИХФИ (что-то от него перепало и уральцам); наработанные там методики анализа и синтеза, квалификация его персонала — тоже потенциал, которого так недостаёт уральцам.

Тем не менее к уровню работы московского института у Постовского большие и, на мой взгляд, весьма обоснованные претензии. Дело в том, что Исаак Яковлевич судил о его работе не по официальным релициям; он (в ту пору, вероятно, один из немногих в стране) хорошо знал, каков в действительности мировой уровень органической химии. Он ведь получил профессиональную подготовку в одной из самых авторитетных лабораторий мира; оказавшись затем на Урале, поддерживал своё химическое мировоззрение, постоянно отслеживая движения мысли на самом переднем крае науки (вспомните его блокнот номер 1). Но столь же внимательно он прочитывал и советские научные журналы, знаком был и с работами ведущих сотрудников ВНИХФИ, так что имел возможность сравнивать. Кстати, направляя свои предложения по плану филиала в головной институт, он вынужден был делать ссылки на публикации, которые они вряд ли читали; это ведь тоже косвенная оценка уровня работы московских коллег.

Вот и получается, что не он «провинциал», на которого столичные «небжители» могут поглядывать свысока, а они в своём самодовольстве, привыкшие «догонять», а не торить новые пути, — настоящие провинциалы в своих научных притязаниях.

Но, подчеркну ещё раз, Исаак Яковлевич не проговаривает всё это вслух, а «фиксирует» в дневнике. Почему же — боится вступить в конфликт? Да хоть бы и так; но читатель должен же понимать, что не всегда имеет смысл бросаться на защиту истины с обнажённой шашкой и на белом коне. Рассудите сами: решается не просто научная — оборонная задача; хоть работа идёт не так успешно, как хотелось бы, но более подготовленных кадров для её выполнения в стране нет. И кому была бы польза от того, если б научный руководитель Уральского филиала начал открытую борьбу с зазнайством своих сотрудников, не по своей воле, надо признать, приехавших в неудобную провинцию?

Предполагаю, что Постовский воздерживался от вступления в открытую конфронтацию с москвичами из филиала ещё и потому, что трезво понимал: дело не в Магидсоне, не в особой атмосфере ВНИХФИ, а в советской реальности того времени. Нам тогда во многих областях жизни приходилось «догонять»; при этом популярный лозунг требовал и «перегонять», однако если в чём-то перегонять порой и удавалось, так это в количестве. Гнаться за лидером и быть лидером — это «две большие разницы». Тем более в обстановке тех лет, когда «высовываться» из общего порядка было не безопасно.

Так или иначе, был случай (24 мая 1942 г.), когда, помывавшись в тщетной надежде устроить перспективный препарат, синтезированный в филиале, в медицинских исследовательских учреждениях, Исаак Яковлевич процитировал слова немецкого фармацевта Генриха Хёрляйна⁵ из недавно им прочитанного журнала (косвенное свидетельство того, что блокноты 1 и 2 у него хранились рядом): *«Основываясь на нашем собственном опыте поиска новых лекарственных средств, я могу утверждать, что тот врач будет самым успешным химиотерапевтом в создании новых специфических лекарств, в распоряжении которого будут лучшие химики, и что те химики с наибольшими шансами на успех смогут привести к синтезу таких веществ, которым посчастливилось сотрудничать с врачом, преуспевающим в открытии и разработке новых объектов для испытаний»* (с. 69-70)⁶. И в сердцах прокомментировал, имея в виду известных свердловских медиков, с которыми уже не первый год сотрудничал, тем не менее: *«Очень трудно развернуться, узко, близоруко, трусливо подходят к новшествам, к испытаниям неизвестного. Испытывать любят уже опробованное и известное! Забывают, что прогресс в науке идёт от раскрытия неизвестного»* (с. 70).

⁵ Генрих Хёрляйн — фигура в истории немецкой науки XX века неоднозначная: он сотрудничал с нацистами, за что после разгрома гитлеровской Германии привлёкся к судебной ответственности, но был оправдан. Ничего этого в мае 1942 г. И. Я. Постовский знать ещё, конечно, не мог.

⁶ Перевод Е. А. Чернявской. Графические выделения принадлежат автору дневника.

В общем, жизнь была «такова, какова она есть», и Постовский не тщился ломать её устои (не время, да и непосильно), а делал «что должно», не особо считаясь с мнением московского начальства и не подстраиваясь под умонастроения своих московских сотрудников. В этом плане показательна запись от 26 июня 1942 г.: *«Составил план 3 квартала и, по существу, на полугодие. План реальный и полезный. Снял из плана три случайные темы Магидзона (фенамин, люцигенин, прозерин). Это освоенные в Москве темы. К чему их вести — не знаю. Сырья для производства этих продуктов нет и достать нигде. Кроме того, в кабинете Чхиквадзе лежат килограммы этих продуктов, привезённые из Москвы; здесь их не требуют и из Москвы не запрашивают.*

Вместо этих трёх тем внёс две новые: синтезы пантотеновой кислоты и гексестрола. В докладной записке написал и литературу, т.к. не уверен, читали ли там последние журналы американского общества и вообще возможна ли там сейчас постановка новых тем. Темы очень интересны и актуальны, но я почти что уверен, что они не пройдут, а если пройдут, то во избежание конфликта со мною (заметьте: всё-таки с ним уже считаются! — В. Л.). Эти две темы я уже называл Магидзону, когда он был здесь. Он говорил, что кто-то их тоже начинал в Москве у него. Но ведь только начинал и навряд ли их ведёт сейчас, как думает сама покорная Чхиквадзе» (с. 74-75).

По сути, Исаак Яковлевич отвлёкся, насколько это было возможно, от эмоциональной стороны работы, и такая отстранённость оказалась плодотворной. Прошло примерно десять месяцев со дня его назначения научным руководителем филиала, и он смог записать в дневнике (21 ноября 1942 г.): *«В филиале ВНИХФИ дело идёт нормально» (с. 87).* Правда, сразу вслед за этой фразой идёт признание, не предназначенное для посторонних глаз, но точно передающее его тогдашнее душевное состояние: *«Людей там не люблю, и они меня не любят, чувствую мою нелюбовь к ним. Нос задирают, хотя чувствуют, что я и в их делах что-нибудь да знаю» (с. 87).*

Кому был нужен филиал?

В разгар лета 1942 года советская химико-фармацевтическая наука пережила изрядную встряску. Вот как отразился этот сюжет в дневнике И. Я. Постовского: *«Московский ВНИХФИ получил нового директора, бывшего замнаркома Терентьева, того самого, который меня бесцеремонно назначил научным руководителем. Первым шагом создателя филиала в роли директора ВНИХФИ был удар по филиалу, путём вызова 7 человек филиала на работу в Москву» (с. 72).*

Насчёт бесцеремонности своего назначения Исаак Яковлевич, вероятно, прав: «рабоче-крестьянский» стиль руководства всегда отличался некоторой топорностью. Но случайным оно точно не было: думаю, упомянутое в начале этого очерка решение Главмедфармпрома о реконструкции Свердловского фармацевтического завода № 8 с целью получения ряда препаратов нового поколения, принятое летом 1940 года, объясняется не только осознанием необходимости наладить в стране производство синтетических лекарств нового поколения, но, главным образом, тем, что в Свердловске работал профессор Постовский, который синтезировал сульфидин не только раньше, чем столичный «вождь фармакологии» О. Ю. Магидсон, но и первым в мире. При этом у него есть ученики и сподвижники, из числа которых можно рекрутировать недостающих сотрудников в новое научное учреждение. Поэтому Постовскому на уровне правительства было поручено наладить промышленное производство сульфамидных препаратов на химфармзаводе № 8, с чем он справился настолько успешно, насколько позволили обстоятельства. Так что, хоть и к неудовольствию москвичей, но совершенно закономерно он был назначен научным руководителем Уральского филиала.

Когда же Терентьев стал руководителем головного института, он решился отозвать группу ведущих сотрудников филиала в Москву, где они, конечно же, были нужны; но, думаю, он не стал бы этого делать, если б не был уверен, что с Постовским филиал после такой «вивисекции» выживет. (Можно вспомнить

и знаменитое: кто везёт, того и грузят.) И ведь оказался прав: процитированные выше слова: «В филиале ВНИХФИ дело идёт нормально», — Исаак Яковлевич записал почти полгода спустя после летних событий.

Любопытно ещё одно свидетельство из дневника. В середине марта 1943 года Исаак Яковлевич вспоминает о своей недавней поездке в Москву по вызову наркомата угольной промышленности (причину оставим в стороне, а дату он не называет): «Пока я был в Москве, я 3 раза заходил в ВНИХФИ. Меня встретили довольно тепло (Терентьев), и с трудом я уехал из Москвы, как только закончил дела в наркомугле. Директор Терентьев хотел меня задержать ещё на 10-15 дней, О. Ю. Магидсон, между тем, не считал обязательным моё дальнейшее пребывание в Москве» (с. 102). Исаак Яковлевич не сообщает, зачем он был нужен Терентьеву и почему нежелателен Магидсону, и я гадаю о том не стану, а хочу обратить внимание на очевидное: для бывшего замнаркома фигура руководителя Уральского филиала весьма значима, а Магидсон это понимает и явно опасается, как бы Постовский, задержавшись в Москве, невзначай не оказал такое влияние на директора, которое рикошетом ударит по его, Магидсона, авторитету.

Однако возвратимся к записи от 26 июня 1942 года. Исаак Яковлевич признаёт: «Безусловно, люди там (то есть в головном институте. — В. Л.) нужны. Но среди 7 человек были Пинес и Уманская, возглавляющие и ведущие работу по микробиологии. Отзыв этих людей не встретил никакого сопротивления со стороны директора Чхиквадзе... Когда я от себя написал возбуждённым стилем телеграмму директору института, ещё не зная, что дело отзыва — дело рук Терентьева, мне через день после отправки телеграммы уч[ёный] секретарь Байчиков заявил, что я веду политику сепаратизма. Отъезд Пинес и Уманской означает фактически развал с трудом созданной крохотной микробиологической ячейки. На мою телеграмму последовал ответ не мне, а директору, что филиал будет существовать и что у него есть сметы и штаты, но что людей надо срочно направить в Москву. Чхиквадзе готова была после этой телеграммы немедленно, в тот же день свернуть микробиологию, идя вплоть до уничтожения культур. Всё же задержал на 3 дня отъезд микробиологов и заставил их культуры сдать на хранение. Пока подыскиваем (лучше подыскиваю) нового микробиолога. По этому вопросу ходил в Штаб округа выпрашивать специалиста, некоего Полякова. К несчастью, он заболел и когда явится и приступит ли вообще к работе — не знаю.

Итог ясен. Филиал не будет жить. Этого всерьёз не хочет Магидсон, и Чхиквадзе трусливо виляет хвостом перед теми, кто её послал директором в филиал.

Я не нахожу в себе энергии бороться за филиал, когда кругом меня сидят на чемоданах» (с. 73-74).

Энергии он в себе не находит, но, записав эти слова, тут же начинает рассуждать о З. В. Пушкарёвой, которая «втихомолку», будучи совместителем и на кафедре, и в филиале, «всё крепче и крепче ставит свою техническую лабораторию, делая филиал почти излишним, как только он перестанет быть комплексным химиофармацевтич[еским], микробиологическим, фармакологическим институтом» (с. 74). «Перестанет быть» — но, значит, он таковым уже является? Скорее всего, такой его образ сформировался в воображении Исаака Яковлевича, таким он пытается его сделать (подтверждение тому — его хлопоты о микробиологии); таким он, вероятно, и станет в обозримом будущем, благодаря усилиям Постовского, если Магидсон и Чхиквадзе не помешают его развитию.

Это записывается 26 июня 1942 г., филиал к тому времени существует ровно пять месяцев. Ещё совсем недавно Исаак Яковлевич тяготился своим «бесцеремонным» назначением, испытывал неприятные ощущения, сталкиваясь с зазнайством москвичей, — и вот тем же Терентьевым, по приказу которого филиал был организован, а Постовский назначен научным руководителем, по филиалу нанесён удар, подвинувший его на край гибели. И, хоть ещё не ликвидированы «сметы и штаты», создаётся впечатление, что этой гибели все

вокруг желают: головной институт за счёт его кадров укрепит свой исследовательский потенциал, Чхиквадзе, а с ней и оставшиеся в Свердловске москвичи возвратятся в Москву, Магидсон избавится от конкуренции неудобных «провинциалов», чья работа порой колеблет его авторитет.

Парадоксально, но похоже, что один лишь Постовский продолжает бороться за сохранение филиала! Ему-то зачем это нужно?

Пожалуй, ответ на этот вопрос намечается уже в записи, сделанной Исааком Яковлевичем ещё 13 февраля 1942 г.: *«Просидел утро с Пинес и знакомился с постановкой работы т. Уманской (бактерицидность) и его (химиотерапия и клиника). Если есть какой-нибудь смысл быть сотр[удником] филиала, то только ради получения возможности исследовать у этих т.т. свои препараты. Чувствую, правда, что Пинес подойдёт к испытанию моих препаратов с пристрастием»* (с. 18).

А ведь ни о ком другом из москвичей, «эвакуированных» для создания Уральского филиала, Постовский ничего подобного не писал. К примеру, И. Е. Горбовицкий — «человек с большой эрудицией», его даже назначили замом Исаака Яковлевича; но его затребовали с первой партией «реэвакуированных» в Москву, и, похоже, Постовский расстался с ним без печали. Новый зам — Г. И. Браз — тут же нашёлся, и замена в дневнике никак не прокомментирована: видимо, прошла безболезненно. О других отозванных в Москву сотрудиниках персонально вообще не говорится, хотя их отъезд сильно опустошил лаборатории филиала⁷. Отъезд Пинеса и Уманской — иное дело: на них держалась «микробиологическая ячейка» филиала (видимо, по инициативе Постовского и созданная), и хоть она была «крохотная», но являлась необходимым (и потому неотторжимым) звеном комплексной (это определение в дневнике подчёркнуто) исследовательской системы филиала. Выпадало это звено — и система рушилась.

Этот сюжет, по-моему, объясняет не только «возбуждённый стиль» телеграммы Постовского директору института, но и желание «бесцеремонно назначенного» научного руководителя во что бы то ни стало сохранить встающее на ноги научное учреждение. Говоря несколько упрощённо, уже к лету 1942 г. Исаак Яковлевич осознал, что специализированное научно-исследовательское учреждение, несмотря на все издержки и передержки, раскрывает перед ним и его учениками и сподвижниками возможности и горизонты исследований, которых здесь не было в течение всех полутора десятилетий после его приезда из Мюнхена в Свердловск.

Что конкретно дал уральским химикам филиал ВНИХФИ? Трудно ответить на этот вопрос просто и однозначно, поскольку появился филиал не на пустом месте, а на площадке, «обжитой» кафедрой И. Я. Постовского ещё в предвоенные годы. Широкие связи и с химико-фармацевтическим производством, и с медицинскими учреждениями города наладились ещё до учреждения филиала, да и тропки в московские лаборатории уральскими химиками были уже протоптаны.

Пожалуй, более определённо можно говорить о новых стимулах к научному творчеству, которые получил при организации филиала его научный руководитель. В предвоенные годы Исаак Яковлевич увлёкся новой не только для него, но и для всей мировой химии областью исследований — сульфамидами; теперь бывшее увлечение, доставлявшее радость свободного творчества, стало для него главной служебной обязанностью, даже гражданским долгом. С прибытием из Москвы специалистов и оборудования, которых здесь остро не хватало, стало возможным реализовать принцип комплексности исследований.

Добавьте ко всему, что Постовскому в то время было сорок четыре года — возраст акме, как его называли ещё древние греки. Помните мудрость: если б молодость знала, если б старость могла? Так вот, в сорок или около того человек уже знает, но ещё может. И, как ни тяжело жилось и работалось в годы

⁷ Как утверждают современные историки науки, после отъезда москвичей в столицу в 1943 году, в филиале осталось 17 сотрудников из 28. (Фармацевтическая химия на Урале. С. 18.) В дневнике И. Я. Постовского этих цифр нет.

войны, по-моему, не было в жизни Исаака Яковлевича другого периода, когда б его ум и сердце работали так продуктивно, как в те месяцы, которые «зафиксированы» на страницах его дневника. Казалось, физические силы его на пределе, но активное включение в научно-исследовательскую работу открыло у него второе дыхание. Я бы даже решился на сравнение, которое, допускаю, примет не каждый читатель: работа в филиале ВНИХФИ в 1942–1943 годах была для Исаака Яковлевича подобием Болдинской осени. Думаю, потому он и дорожил филиалом. Своё ощущение тех двадцати месяцев, что зафиксированы в дневнике, Исаак Яковлевич выразил однажды фразой, которую можно расценить как формулу: *«Вообще, работать есть над чем, было бы сил достаточно и хороших, бескорыстных, увлекающихся сотрудников (их у меня мало)»* (с. 49). Тут наглядно сочленены три грани его тогдашней жизни.

«Работать есть над чем»

Читая дневник страницу за страницей, буквально физически ощущаешь, что мысль его автора постоянно пребывает в напряженной работе. С самых первых страниц, а дальше снова и снова — наблюдения, предположения, догадки, выводы о том, что происходит или должно происходить в ретортах и колбах на рабочих столах в лабораториях филиала; это повседневная жизнь учёного. В потоке этой жизни, как водовороты или перекаты в русле стремительной реки, легко распознаются моменты, когда Исаак Яковлевич сосредоточивается на самых значимых для него предметах, и это либо препараты, которые ему кажутся наиболее перспективными, но требуют дополнительного изучения, либо направления исследований, где уже накоплен богатый экспериментальный материал и созрела необходимость обобщений с выходом на фундаментальный уровень химического мировоззрения.

Одним из самых примечательных в движении мысли И. Я. Постовского в период становления филиала представляется мне сюжет об альбуциде.

Ещё на с. 10 (31 января 1942 г.) этот препарат впервые упоминается как хорошо известный за границей и недостаточно изученный у нас.

15 апреля Исаак Яковлевич записывает: *«На одном докладе, который я делал месяц тому назад научно-техническому персоналу завода, я обратил внимание на альбуцид... С альбуцидом дело обстоит у нас сл[едующим] обр[азом]...»* Далее в нескольких строчках Постовский представляет историю препарата: впервые синтезирован Шерингом в Германии (добавлю от себя: ещё в XIX веке); в 1939–1940 годах несколько химиков независимо друг от друга получили его в СССР — в том числе В. И. Хмелевский на кафедре Постовского. *«Вождь фармахимии Магидзон, — иронизирует Исаак Яковлевич, — почему-то очень холодно отнёсся к альбуциду; злой Берков говорит, что только потому, что Магидзон его не получил впервые в СССР. Возможно, что истинная причина кроется в том, что полученный в ВНИХФИ альбуцид был передан [для клинического исследования] на гонорею и при этом выяснилась (у проф. Дмитриева, Москва) неэффективность альбуцида»* (с. 41).

Но, зная из журнальных публикаций, что многие зарубежные фармацевты говорят об эффективности альбуцида против разных болезней, Исаак Яковлевич к негативным оценкам этого препарата отечественными медиками относится с недоверием, ибо не раз наблюдал, что эти эксперты (напомню другую его запись) *«трусливо подходят к новшествам, к испытаниям неизвестного»*. К примеру, профессору Свердловского мединститута Е. С. Кроль-Кливанской⁸

⁸ Евгения Самуиловна Кроль-Кливанская (1887-1966) — первая женщина-профессор на Урале. С 1930 года возглавляла кафедру детской медицины Свердловского медицинского института и одновременно заведовала отделом в НИИ охраны материнства и младенчества. В годы Великой Отечественной войны возглавляла совет лечебно-профилактической помощи детям при Свердловском облздравотделе и комиссию по оказанию медицинской помощи детям при Свердловском горздравотделе.

был передан альбуцид для исследования возможности его применения против менингита; Евгении Самуиловне, специалисту по менингиту, не хотелось отступать от привычного ей регламента лечения, и она, не проведя полноценного испытания, объявила препарат неэффективным. Исаак Яковлевич отреагировал на это заключение воинственно: «*В субботу перешило Кроль сводку некоторых данных о действии альбуцида. Или Кроль ошиблась, или она покажет всему миру обман многих зарубежных медиков*» (с. 45). Но специалистов её уровня в городе было раз, два и обчёлся, так что, подумав, он поступил дипломатичнее: еще раз внимательно разобравшись в ситуации, уточнил методику применения препарата и вполне миролюбиво попросил Евгению Самуиловну продолжить испытания альбуцида (с. 50). Как в конце концов разрешилась эта коллизия, в дневнике не отражено, однако деловые отношения Постовского с профессором Е. С. Кроль-Кливанской уже по поводу других препаратов продолжились.

По собственному признанию, Постовский не был ни медиком, ни строго говоря, фармацевтом⁹. Как же он решался судить об эффективности того или иного препарата и даже возражать против оценок, вынесенных компетентными специалистами — той же Кроль-Кливанской? А ведь он не только возражал, но и предлагал своё. Подсказывал, в частности, другую методику введения препарата в организм, чтоб всё-таки добиться теоретически вероятного эффекта. Или настаивал на испытании отклонённого препарата против какой-то другой болезни — например, против сыпняка.

Конечно, ему очень помогал, условно говоря, блокнот номер 1. Но ни разу в дневнике Постовского я не заметил чего-нибудь в таком роде: вот, мол, кто-то в Европе или Америке сделал то-то, и нам нужно повторить. Его мысль всегда шла иным путём: вот наша неотложная проблема, и её стоит попробовать решать так-то. Подобные предположения по разным житейским поводам приходится делать каждому из нас, но подсказать лучшее решение может лишь человек знающий, опытный. Подчеркну: это очень разные задачи — повторить чьё-то решение или найти своё решение проблемы, опираясь на опыт (который не возбраняется добывать любым путём из любого источника).

Как раз на том и расходились позиции Постовского и москвичей «школы Магидсона»: те, как заметил Исаак Яковлевич, придерживались принципа: «*Ничего нового своего, только осваивать достижения заграницы*», он же опирался на опыт той самой заграницы (освоенный им лучше, чем ими!), но не стремился перенять полученные кем-то результаты, а решал свои задачи. Для него достижения зарубежных коллег были не перечнем готовых «ответов» в конце задачника, а информацией, помогающей выйти на новый уровень мировоззрения. А когда становится более или менее понятно, как мир устроен, появляется возможность мысленно его в какой-то части «переустроить». Так и рождаются новые идеи. Но мировоззрение никогда не бывает исчерпывающим, поэтому приемлемый вариант «переустройства» редко находится сразу. Приходится попробовать так и этак, испытывать. В этом направлении и работает мысль автора дневника.

Но разве, заметит читатель, альбуцид не зарубежные коллеги ему подсказали? В определённом смысле — да, но — что именно подсказали?

Возможно, вы не в курсе, что альбуцид в нынешнем фармакологическом лексиконе считается словом устаревшим, сегодня в аптеках вам предложат сульфациетамид. Но важно не слово: как бы ни назывался этот препарат, он относится к классу сульфаниламидов и является промежуточным продуктом синтеза стрептоцида. Стрептоцид — тоже сульфаниламид, причём на Свердловском химфармзаводе № 8 его производство в начале Великой Отечествен-

⁹ «*Интересно, что программу исследований фармакологам составляю я... Я же очень сожалею, что мало знаю фармакологию. Чувствую, что многое можно было бы выяснить, если [бы] здесь был инициативный фармаколог...*» (с. 78).

ной войны освоили одним из первых среди препаратов нового поколения. Собственно, сульфаниламиды и были теми лекарственными препаратами, ради производства которых Свердловский фармзавод переделывали в химфармзавод, а потом для поддержки его наукоёмкого производства создали Уральский филиал научно-исследовательского института. В том и другом проекте профессор Постовский играл ключевую роль.

И вот Исаак Яковлевич, просматривая свежие номера химических журналов, замечает, что фармацевты на Западе всю экспериментируют с альбуцидом, находя в нём некие антибактериальные свойства, которых нет у общепризнанного стрептоцида. Конечно, он видит в том замечательную подсказку: по-видимому, можно, не сокращая производство стрептоцида, в дополнение к нему — при том же оборудовании, при тех же штатах, не привлекая каких-то труднодоступных в военное время компонентов — производить ещё один ценный лечебный препарат с другими свойствами.

Но сразу обнажилась и проблема. В западных источниках альбуцид представал как препарат биологически активный, бактерицидный, но с его лечебным применением авторитетные в мировом сообществе фармацевты не определились: пробуют и так и этак, а где он эффективнее — не установлено. Причина тому сегодня даже понятней, нежели тогда: «микронаселение» человеческого организма столь разнообразно и столь сложно организовано, что воздействие новым химическим средством на какую-либо популяцию микрофауны (пусть даже доказано, что именно она вызывает болезнь) грозит разрушить весь симбиоз, и кто может предсказать, какими последствиями это обернётся? Исаак Яковлевич был твёрдо убеждён: «Альбуцид надо срочно освоить» (с. 43), «альбуциду надо пробивать путь» (с. 44). Но считал, что параллельно с налаживанием его производства необходимо экспериментально выяснить, против каких болезней и каким образом его лучше применять. Воспользовавшись правом научного руководителя, Постовский поручил конкретные исследовательские задания разным сотрудникам, при этом и сам «внёс несколько забавное предложение» (с. 45) на основе логических умозаключений:

«Так как альбуцид известен как антистафилококковый препарат, то конечно его надо испытать и при засыпке ран. Стрептоцид применяется лишь с успехом, если рана инфицирована стрептококком (это имеет место в большинстве случаев). Но если вкралась стафилококковая инфекция, то справиться одним стрептоцидом трудно. Почему бы не взять простую смесь стрептоцида и альбуцида? Я предложил З. В. [Пушкарёвой] приготовить механическую смесь 1:1, она резонно предложила взять 2/3 стрептоцида (он основной и действует на основную распространённую инфекцию) и 1/3 альбуцида. “Препарат” назвали “стрепталь № 3”. Название придумала З. В. Проф. Лидский¹⁰ взял препарат на испытание. Посмотрим, что выйдет» (с. 45-46).

А вышло настолько хорошо, что препарат начали применять в лечебной практике уже на стадии испытания, не сомневаясь в результатах. «Проф. Лидский, — записывает Исаак Яковлевич 11 марта 1943 г., — который начал испытание стрепталя, добился в Москве, у зам. наркома Натрадзе, права на изготовление в Свердловске (фармзавод № 8) 30 кг стрепталя. Он хотел с этим количеством широко поставить испытание в местных госпиталях. Кроме того, имея стрепталь, можно было бы приготовить нужное количество мази БВ (название бентонитовой мази на воде)» (с. 92-93).

Тут нужно пояснить: бентонит — природное вещество, особого рода глина. Постовский знал, что её уже используют для заживления ран в госпиталях Ташкента (с. 92), но он предложил хирургу А. Т. Лидскому подмешивать в неё

¹⁰ Аркадий Тимофеевич Лидский (1890-1973) — доктор медицинских наук, профессор. Один из организаторов Свердловского медицинского института (ныне Уральский государственный медицинский университет), основатель уральской школы хирургов. В 1941-1945 годах — главный хирург эвакогоспиталей Свердловской области.

целебный стрепталь. Как он сам признавался: *«Не очень остроумно (с химической точки зрения), но зато важно с практической точки зрения»* (с. 87). Результат превзошёл ожидания.

И вот продолжение записи 11 марта: *«Стрепаль в нужном количестве изготовлен, мази приготовлено 3 кг, и как будто бы через 2-3 недели будет закончено испытание этих “поливалентных” веществ для лечения ран. Первое сообщение о самом стрептале будет помещено в сборнике УралВО, в котором также будет сообщение о препарате № 19»* (с. 93).

19 августа 1943 г. Исаак Яковлевич, просматривая дневник, в котором перед тем не делал записей уже четыре месяца, аж с апреля, на свободном поле возле процитированной записи приписал: *«Завод получил задание на стрепаль на 200 кг. Мази выпустили в июле 40 кг»*. А на следующий день, 20 августа, сделал новую запись: *«Бентонитовые пасты. Уже имеется более 400 случаев блестящего лечебного эффекта. К. А. Чхиквадзе “загорелась”. Даже директор Розенштейн взялся за дело и как будто бы намерен выпустить сотни три килограммов этой пасты. С Лидским послали заявку на авторское свидетельство... Очень интересные результаты получены были с пастой, содержащей таннин и стрептоцид при ожогах. Тут просто чудеса получаются. Вместо пасты я предложил порошок, который замешивают перед употреблением в пасту. Смешно, что раньше не подумался до такого простого решения вопроса»* (с. 132-133).

Таким образом, успех был полный и убедительный. А ведь паста придумана вроде бы походя! Однако, чтобы подобная идея могла «невзначай» родиться в голове учёного, его мысль, опирающаяся на прочную мировоззренческую основу, должна постоянно испытывать беспокойство от отсутствия чёткой связи между двумя полюсами — «есть» и «нужно». И вот как бы спонтанная вспышка — озарение, как говорят психологи и поэты, — и связь установлена. Но счастливая догадка проясняет ситуацию на обширном участке проблемного поля и «детонирует» фейерверком новаций: тут и другие лекарственные препараты, замешанные в пасте, и паста в виде порошка (который несравненно удобнее доставлять в полевые госпитали). А там уже как бы сам собой напрашивается следующий шаг: лечебное применение бывшего альбуцида — ставшего сульфациетамидом — в виде мазей, а также растворов для внутримышечных и внутривенных инъекций (но к этому придут уже следующие поколения фармакологов).

Возможно, вы обратили внимание, что в записи 11 марта Исаак Яковлевич наряду с бентонитовой пастой упомянул ещё и препарат № 19. Тут требуется пояснение. В дневнике Постовского ряд препаратов, с которыми работал филиал, обозначаются шифрами: 024, 043, № 14, № 18; вот и № 19 в том же ряду. Ни принцип шифрования, ни даже смысл его из текста дневника не понятны. Думаю, однако, что конспирация тут ни при чём, скорее, такие обозначения в обиходе удобней, нежели громоздкие химические термины, тем более что в штате филиала состояли не только химики. Себе самому (то есть в дневнике) Постовскому не было надобности что-то в этом плане объяснять, однако и «не посвящённым», в частности нам с вами, некоторые сведения об этих не секретных, но зашифрованных препаратах получить из дневника можно: *«Есть данные в лит[ературе], что... азо-сульфамид “Рубиазол” имеет некоторое влияние на вирус сыпняка»* (с. 37); *«Препарат № 14 передан на испытание при сыпняке. Ничего хорошего пока не получено (см. стр. 37). Надо искать дальше и идти своими путями»* (с. 46); *«Рубиазол (препарат № 14) проверен на двух случаях. Пока он не оказался эффективным при сыпняках»* (с. 50). В поиске эффективного средства против сыпняка (кажется, актуальней всех других была проблема!) обратили внимание на препарат 043, но и он *«не дал никаких результатов»* — правда, проверен лишь *«на одном случае»*. *«Его, конечно, надо было попробовать внутривенно, — рассуждает Исаак Яковлевич, — поскольку мы его дали воднорастворимым. Теперь наверно ли кто захочет это делать. Экспериментировать и безвредными, могущими всё же оказаться полезными, препаратами не любят. Нет творческой жилки. А как найти препарат против сыпняка, не экспериментируя?»* (с. 78).

Любопытна история препарата 024 (неосульфидина). Им предполагалось лечить гонорею, но *«эффекта не было»* (с. 39), и Исаак Яковлевич предложил

его использовать для лечения... флюса. В зубоврачебной клинике подошли к вопросу осторожно: созвали совещание, приняли решение попытаться применить это средство «при острых язвенных тяжёлых стоматитах» (там же). Но три недели спустя (7 мая 1942 г.) автор идеи с сожалением констатирует: «024 у зубных врачей себя не оправдал. Всё же не унываю и уверен, что дело в неверной дозировке и неподходящей технике применения. Беда в том, что до сих пор в филиале мало мышей и нет возможности опробовать препарат на инфицированных мышах» (с. 53). Об эффективности препарата № 18 — промежуточного продукта синтеза препарата № 19 — в дневнике не сказано ничего.

А вот препарат № 19 «действительно себя оправдал как антидизентерийное средство. Прямо обрывает поносы» (с. 88). Успех был настолько очевидным, что у некоторых причастных появилось искушение приписать его авторство себе. О «научном рвачестве», как определил этот манёвр коллег И. Я. Постовский, расскажу позже, а сейчас констатирую главное: мысль учёного в тот период работала очень интенсивно.

При этом учёный не просто решал неотложные прикладные проблемы: каждый результат (даже и отрицательный) способствовал углублению его миропонимания, и возникала потребность выйти на обобщения более высокого уровня. В дневнике неоднократно «зафиксированы» намерения написать обзоры или статьи по темам, на которые выводила Постовского работа по решению прикладных проблем; да, собственно, многие его дневниковые записи и воспринимаются, как черновые наброски будущих статей. Но выкроить время на подготовку полноценных публикаций ему удаётся очень редко, однако слушаются и публикации в научных изданиях.

Иногда заходит речь и о более масштабных работах: материала для них у исследователя, находящегося на пике творческой активности, предостаточно. Но в тех условиях это просто невыполнимо. Исаак Яковлевич высказывает, например, желание развить и завершить свои изыскания, посвящённые происхождению уральских нефтей, но это «когда-нибудь» (с. 8). Удивительна его мечта «когда-то заняться вирусами. Ведь они виновники таких заболеваний, как скарлатина, оспа, трахомы, кори, бруцеллёзы, может быть, сыпняка» (с. 16). Дальнейшие его рассуждения показывают, что он был не только в курсе основных проблем, которые в то время обсуждались вирусологами, но имел по ним собственную точку зрения. Мало того, с этой тематикой связывал он отдалённые перспективы своей научной работы:

«Может, все это глупо, но хочется зафиксировать свою первичную идею о вирусе, прежде чем я не собрал материал о структуре и природе и действии вируса. Может быть, после этого всё пересмотрю. Готовлюсь к составлению монографии о вирусе.»

«Сколько всяких планов по работам Будущего!» (с. 17).

«Будущее» с прописной буквы — это не план на второй квартал или, скажем, на полугодие; речь об отдалённых перспективах, и он ощущает их поразительно точно. Ибо планировать монографию о вирусе в 1942 году — это примерно как замышлять монографию об управлении ядерной реакцией где-нибудь году в 1920-м. К сожалению, этот замысел ему не удалось осуществить и через годы, однако спустя десятилетия антивирусная тематика станет центральной в исследованиях химиков-фармацевтов его школы.

Парадоксально предвосхищает будущее и рассуждение Исаака Яковлевича о внутримолекулярных связях в сульфамидных препаратах с опорой на резонансную теорию американского химика Лайнуса Полинга (с. 53-66) — по сути, черновой набросок небольшой, но плотно насыщенной смыслом статьи. Книга Полинга «The Nature of Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals», где эта теория впервые была обнародована в завершённом виде, была издана в США в 1939 году и сразу же вызвала большой резонанс в мировом профессиональном сообществе. Первый отклик на неё в советском академическом «Журнале физической химии» появился ещё в том же 1939 году; о его авторе, московском профессоре Я. К. Сыркине, Постовский в марте 1943 г. писал: «Сыркина я очень уважаю и его работами очень увлекаюсь. Будучи

физико-химиком, он нашёл дорогу в органическую химию и дал блестящие трактовки с точки зрения резонансной теории. Его роль в обновлении органической химии в советской научной среде органиков — огромная и будет ещё большей в будущем» (с. 123). Но в дневниковой записи, похожей на набросок статьи, он ссылается не только на Сыркина, но и на десяток статей зарубежных авторов, в том числе и самого Полинга, из чего следует, что вопрос обновления химической методологии его чрезвычайно занимал, он погружён был в него с довоенных времён. Ещё в годы войны Исаак Яковлевич приобщал к резонансной теории своих аспирантов и сотрудников. В 1947 году книга Полинга, переведённая на русский язык Е. М. Дяткиной под научной редакцией Я. К. Сыркина, была издана и в СССР под заголовком «Природа химической связи». Но в период «идеологических чисток» конца 1940-х — начала 1950-х сторонники резонансной теории в СССР, начиная с Я. К. Сыркина, к тому времени уже члена-корреспондента Академии наук, были обвинены в идеализме и низкопоклонстве перед Западом. Главным объектом основательно подготовленного (большая «обличительная» статья в газете «Уральский рабочий», затем ритуальный «шабаш» в актовом зале УПИ) идеологического погрома в Свердловске стали профессор И. Я. Постовский и его ближайшая сподвижница профессор З. В. Пушкарёва. До «оргвыводов» дело, слава богу, не дошло, но нервы им потрепали основательно. А спустя более семи десятилетий столь громкую кампанию, развёрнутую против учёного и его ближайших сотрудников, пожалуй, можно трактовать и как своеобразный знак признания.

«Было бы сил достаточно»

В записи, сделанной 23 ноября 1942 года, Исаак Яковлевич размышляет над тем, что им сделано за последнее время. «Написал три литературных обзора по сульфамидам: № 19, альбуциду и сульфадиазину. Мыслю себе, в конечном счете, подобрать материал для монографичес[еской] работы “Новые сульфамидные препараты, их химия и применение”».

Пишу статьи по старым работам. Статью по нафтацену (с Бейлисом) переписывал и переделывал раз двадцать, без преувеличения. Наконец, написал что-то вроде статьи для докладов АН» (с. 85). А перед тем ещё было: «Через дней 10 приступлю к писанию статьи в Доклады Ака[адемии] Н[аук]» (с. 84). И ещё: «Пишу и работу по тиазол-сульфамидам. Намерен написать и работу по тиофениленам (старый материал)» (с. 86-87).

Не будем вникать в смысл этих терминов; для нас здесь важен другой вопрос: когда он всё это успевает? В одной дневниковой записи Исаак Яковлевич прямо отвечает на этот вопрос: «На днях освобождаюсь от работы в деканате. Наконец, после 7 лет работы. Сейчас могу больше читать и писать... Засяду за оформление законченных работ и начну приводить в порядок материал... Кроме того, начну монографию по тиазолу» (с. 21-22). От деканата он освободился 15 марта 1942 г. (см.: с. 25); о «работе по тиазол-сульфамидам» (уже не называя её монографией) он упоминает в записи 23 ноября, но, насколько я знаю, так её и не закончил — во всяком случае, не издал. Список опубликованных им статей огромен, но монографий у Постовского нет. Намерения написать их возникали у него не раз (они высказываются и в дневнике), но не было — за всю не короткую жизнь не было! — у него такого момента, когда можно было, отложив другие дела, в течение достаточно продолжительного времени сосредоточиться на одной теме. Так что давайте повернём вопрос более наглядной стороной: а как ему удавалось выкроить время для дневника? В поисках ответа выбираю ту самую длинную запись, что тянет по объёму на половину ученической тетради. Она датирована 10 мая 1942 года, а это было воскресенье. Казалось бы, вот он — ответ! Но — нет, другие длинные записи делались им и в пятницу, и в четверг, а в воскресенье — нет. Да и вообще выходные дни в годы Великой Отечественной войны если у него и случались, то крайне редко.

А вот в семистраничной записи 11 марта 1943 года (на с. 97) просматривается более понятная версия: «Как раз в то время, как я, сидя в больнице, пишу

эти строки...» Между прочим, этот день приходится на тот момент «сгущения» записей по времени, на который я обращал внимание выше: 10, 11, 12, 15, 16 марта 1943 года. Понятно, что все эти дни Исаак Яковлевич пребывал в больнице. В дневнике не зафиксировано, когда и с чем он туда попал. Можно лишь предположить, что не в первый же день он смог заняться дневником, — значит, добавьте хотя бы два-три дня на начальный этап лечения, для стабилизации состояния организма. А вот когда он оттуда вышел, можно сказать более определенно, ибо 15 марта Исаак Яковлевич записывает: *«Выйдя из больницы (завтра), я думаю заняться...»* Но выйти «завтра» у него явно не получилось — раз есть запись 16 марта. Лишь на следующий день его выписали. Может, за один лишний день здоровье его и не укрепилось, но как не выписать при минимальных к тому предпосылках: ведь 17 марта — это же день его рождения. Причём в том году не рядовой — 45 лет: ещё не юбилей, но всё-таки «полукруглая» дата. О том, как она отмечалась, да и отмечалась ли, в дневнике не сказано ни слова. Но ведение дневника с этого момента прерывается на неделю — верный признак того, что наступили непроглядные трудовые будни.

В больнице Исаак Яковлевич находил время не только для дневника. В той же записи 11 марта 1943 он вспоминает (на с. 93-94), как однажды (а точная дата не названа), возвратившись из очередной поездки в Москву, он узнал, что санотделом Уральского военного округа планируется создание сборника научно-медицинских статей и ему, Постовскому, поручается (оцените военно-бюрократический стиль) написать (в соавторстве с одним из медиков, с которыми он был связан тесными деловыми отношениями) для того сборника статью об истории сульфамидных препаратов на Урале. История эта в дневнике расцвечена рядом забавных и грустных смысловых нюансов, но не будем их касаться. Сейчас для нас важнее другое: *«К этому времени я лёг в спецбольницу и первые четыре дня в больнице не отдыхал и не лечился, а писал статью, к ужасу врачей»* (с. 94).

Читатель может не обратить внимание на парадокс, заключённый в этой фразе: с одной стороны, Исаак Яковлевич лёг в спецбольницу, то есть для властей его здоровье — ценный оборонный ресурс, подлежащий «спецаботе»; но, с другой стороны, а с какой болезнью он попал на больничную койку? На с. 88 дневника упоминается диагноз: алиментарная дистрофия. Нынче об этой тяжёлой болезни мало кто помнит, поэтому поясню: речь идёт о патологических изменениях в организме в результате длительного голодания. О том, что голод и холод мешают его сотрудникам работать в полную силу, Исаак Яковлевич в дневнике упоминает, даже и не раз, а вот упоминание о собственной дистрофии — единственное (причём в скобках и безэмоционально). Нет ни слова и о том, как его лечат, каков результат лечебных процедур.

В марте 1943 года Постовский провёл в больнице больше недели; вероятно, не меньше времени он там пробыл, когда писал статью для сборника УралВО, а точных сведений у меня нет. Нет сведений и о том, случилось ли ему ещё побывать в те годы на больничной койке, кроме тех двух случаев, о которых я сейчас рассказал. Ни в тексте, ни в подтексте его дневниковых записей больница больше не присутствует. Но и двух случаев достаточно, чтобы заметить: больничная палата оказывалась для него в те времена наиболее «комфортным» местом для осмысления своих научных идей. При этом не следует упускать из виду, что направление в этот своеобразный «дом творчества» он получал не тогда, когда возникала нужда интенсивно поработать, а тогда, когда его организм в привычном режиме работать уже не мог. На ограниченность своих физических возможностей ссылаются обычно люди пожилые или больные, но если человек крепкий от природы (а таковым Исаак Яковлевич и был, по свидетельству домашних) и номинально пребывающий в возрасте наивысшего расцвета сил оговаривается — не на людях, не в приватном разговоре, а в дневниковой записи, то есть в беседе с самим собой: «было бы сил достаточно», — значит, со здоровьем у него действительно серьёзные проблемы.

Дело, однако, не только в его собственном здоровье. Кажется, гораздо больше его удручает, что множество своих идей ему «осуществить не с кем» (с. 134).

Хороших, бескорыстных, увлекающихся сотрудников у меня мало

Ещё 3 апреля 1942 г., изложив в дневнике ряд идей, требующих экспериментальной проверки, Исаак Яковлевич заключает запись риторическим, в сущности, вопросом: *«Но где взять сотрудников, людей. Где взять энергию и волю, чтобы все эти идеи (может, и несостоящие) осуществиться и превратиться?.. Мешает уж очень эта проклятая война с её следствием — недоеданием»* (с. 34). И в конце того же месяца выражает то же беспокойство: *«Вообще, работать есть над чем, было бы сил достаточно и хороших, бескорыстных, увлекающихся сотрудников (их у меня мало)»* (с. 49).

Я уже говорил, насколько важной для общего успеха работы филиала представлялась Постовскому «микробиологическая ячейка», которую олицетворял приехавший из Москвы Пинес. И вот на исходе мая 1942 г. Исаак Яковлевич записывает: *«Надо значительно усилить химиотерапию; несмотря на вялость и неактивность, Пинес мог бы больше сделать. Несмотря на то, что я почти один работаю (помогает мне Белая, которая утомлена, плохо питается и хуже стала работать), химиотерапевт и фармаколог за мною не успевают»* (с. 70-71). Дело тут не в особых претензиях автора дневника, а в специфике работы, и эту мысль Исаак Яковлевич подкрепляет цитатой из английского химического журнала, где на основании убедительных доводов делается вывод: дескать, *«каждый фармацевт-химик должен иметь штат из, по крайней мере, десяти бактериологов и фармакологов, если они хотят идти в ногу с синтезом в этой области. К несчастью, соотношение, скорее всего, будет обратным»*¹¹ (с. 71).

И год спустя — тот же, в сущности, мотив: *«Все думают о своих огородах, и энтузиазма к творческой работе мало. У меня же мысли и идеи рождаются в избытке, осуществить сам не могу, нет ни времени, ни энергии. Другие осуществляют их вяло, недоверчиво»* (с. 129).

Физическая невозможность работать в полную силу не лучшим образом сказывается на атмосфере сотрудничества и доброжелательности, характерной для всех коллективов, которые и прежде, и потом доводилось возглавлять Постовскому. Внешне-то всё выглядит нормально. Такой вывод можно сделать, в частности, на основании дневниковой записи, сделанной, когда Исаак Яковлевич находился в больнице: *«Лундин¹² ведёт всю работу за меня. Отношение ко мне тёплое. Приехавший из армии В. И. Хмелевский¹³ заходил ко мне. З. В. Пушкарёва тоже не без интереса относится к состоянию моего здоровья. Очень внимательна зам. декана Карпова. Она часто, при любой возможности узнаёт о моём состоянии»* (с. 102-103).

Однако тут же он с явной досадой рассказывает о пожилом доценте с другой кафедры: *«Года полтора назад через мое посредничество он начал вести работу по беспламенному горению. Работа дала блестящий эффект. Вскоре*

¹¹ Перевод Е. А. Чернявской.

¹² Борис Николаевич Лундин (1904-1990) — доктор технических наук (1959), профессор. Ученик и ближайший сотрудник И. Я. Постовского в 1930-е — 1940-е годы. Защитил кандидатскую диссертацию в 1939 году, участвовал в научном «десанте» на химфармзаводе № 8, а также в команде Постовского по созданию препарата «смазка УПИ» для атомной промышленности (за что вместе с Исааком Яковлевичем получил в 1952 году Сталинскую премию). В последующие годы занимался химией фторорганических соединений: руководил лабораториями на Уральском электрохимическом комбинате (в закрытом городе Свердловск-44) и в академическом институте химии, преподавал на физико-техническом факультете УПИ.

¹³ Василий Иванович Хмелевский (1911-?) — в 1936-1939 аспирант И. Я. Постовского, 1939-1941 — доцент кафедры органической химии УИИ. После начала Великой Отечественной войны был мобилизован в армию, но служить ему пришлось в Забайкалье. В феврале 1943 г. был отозван из армии для работы на химфармзаводе № 8, где в 1946 году сменил И. Я. Постовского в должности научного руководителя филиала ВНИХФИ. С 1948 г. до 1978 г. работал заместителем директора филиала по науке.

его, наверно, наградят орденом. Несмотря на это в вопросе по беспламенному горению ещё имеется ряд важных неразрешённых вопросов, которые осветить может, пожалуй, органик лучше, чем неорганик. Так вот, он пришёл ко мне, поговорил о моём здоровье, принёс глупую книжку для чтения («Последние дни Романовых» — почему именно, по его мнению, такая книжка вообще может меня заинтересовать, да ещё в больнице, — не знаю). Я сию же думаю: «Вот не знаешь, какие у тебя друзья! Пожертвовал несколькими часами, чтобы прийти ко мне, навеститься». Но, увы! Дело не в этом. Он пришёл, оказывается, для того, чтобы получить данные для составления плана своей работы по беспламенному горению. Так как план необходимо было передать к 10.ИИ, то он решил даже зайти ко мне в больницу. Когда я это услышал, я, конечно, отказался план составлять. Через 10 минут после этого визит был закончен» (с. 103-104).

Я не называю имени этого визитёра, не стану называть имён и других сотрудников, и деловых партнёров, представленных в дневнике Исаака Яковлевича, выражаясь фигурально, не рыцарями в белых одеждах. Кто-то, занимая должности по совместительству в одном и другом месте, «ловко ничего не делает» ни там, ни там; кто-то другой «консервативен и труслив и не очень работоспособен», третий «только тогда хорошо работает, когда за это специально платят»; четвёртый «мелочен, капризен, ревнив и недалёк умственно, неглубок характером»; пятый «барин, вял и малоподвижен»... Порой у Исаака Яковлевича возникали сомнения в творческих способностях или просто добросовестности, даже порядочности кого-то из своих учеников или сотрудников.

Профессор А. И. Матерн, который когда-то достаточно хорошо знал (по вкладу в науку, а в некоторых случаях и лично) почти всех персонажей, оценённых в дневнике Постовского «нелицеприятно», считает, что эти оценки не всегда объективны, и, думаю, он прав. В сущности, это были эмоциональные всплески, вполне объяснимые и общей ситуацией, когда хронически голодные люди физически не способны работать в полную силу, и состоянием самого автора дневника, который, пребывая в больнице с дистрофией, остро переживал, что никак не получается сделать то, что он считает необходимым и неотложным, потому что не на кого опереться. При этом все свои досады и огорчения Исаак Яковлевич переживал в себе, никогда не позволяя им вырваться наружу. Вот разве что в дневнике. Но дневник — это опять-таки разговор с самим собой, не предназначенный для постороннего читателя. А со всеми, с кем Постовский общался хоть по службе, хоть в нерабочей обстановке, он всегда был безупречно корректен. Не ищите в том «двуличия»: бытовой этикет затем и культивируется тысячелетиями, чтобы «естественные» (по сути, зоологические) реакции индивидов не разрушали социального организма. Тем «культурное» поведение отличается от «естественного»; хорошо бы и каждому из нас это усвоить.

Обсудив с Анатолием Ивановичем эту ситуацию, мы единодушно решили, что некоторые оценки, зафиксированные в дневнике, не стоит предавать широкой гласности. Не следует делать из них «сенсации» в духе нынешнего интернета. Это было бы бестактно даже в отношении самого автора дневника. Такое решение не должно восприниматься как «лакировка реальности» или попытка «утаить правду» от общественности. О какой правде тут можно говорить? И какие выводы должны последовать из этой правды?

Кого-то не устроит такой подход. Что ж, подлинник дневника будет сохранён в надёжном архиве; добросовестный исследователь найдёт в нём богатый материал для изучения психологической атмосферы и нравов великого и трагического времени, но, надеюсь, за сенсациями не погонится.

Однако один сюжет, неудобный для самого Постовского («если [возможный читатель] меня знает, его мнение обо мне только ухудшится» — с. 135-136), затронуть нужно — без того и смысл ведения дневника Исааком Яковлевичем останется не до конца прояснённым. К тому же в нём заключены полезные уроки для всех нас на все времена.

«Не странно ли, что я...»

Возникает этот сюжет уже на первых страницах дневника в формах житейских и вполне невинных. 28 января 1942 г. Исаак Яковлевич записывает, что звонил А. Т. Лидский: «...ему разрешено широко испытать витамин К, изготовленный у нас. На нашем препарате он наживает лавры» (с. 3). В общем-то, нормально: такая «корысть» лишь укрепляет сотрудничество.

Но чуть больше месяца спустя сюжет поворачивается сомнительной стороной. В филиале ВНИХФИ прошло совещание с эвакогоспиталями (я упоминал о нём выше). Оно прошло не на том уровне, как хотелось бы инициатору, «хотя один факт созыва совещания, — замечает Исаак Яковлевич, — уже заставляет обратить внимание на филиал» (с. 25-26). Но любопытно, что на авторство этого полууспеха тут же появляется претендент: «Интересно, что факт созыва совещания по моей инициативе забыт, и директор Чхиквадзе готова себе даже приписать заслугу созыва» (с. 26). Постовского, однако, заботит не столько бесцеремонность московской директрисы, сколько неприятная тенденция, замеченная им в своём научном окружении: «Сколько мне приходится видеть, как моя инициатива кем-то подхватывается, причем забывается о моей инициативе» (там же).

Месяца не прошло — ещё один примечательный поворот. 28 апреля в газете «Труд» появилась статья об альбумиде. Читатель помнит, как много усилий приложил Постовский, чтобы «пробить путь» этому препарату; кажется — ну вот, наконец-то свершилось: перспективный препарат попал в поле общественного внимания. Но опять досадная подробность: успех целиком приписывается З. В. Пушкарёвой, а Постовский представлен только как консультант. «Забыто, — огорчается Исаак Яковлевич, — что я инициатор дела» (с. 44). Кстати, о статье, появившейся в конце апреля, он упоминает в записи, сделанной 30 июня: будь это исключительный случай — отмахнулся бы и выбросил из головы. Но раз запомнилось — случай не оказался ему исключительным. Да вот и подтверждение. 20 августа 1943 года он записывает: «Появилась хвалебная статья в “Правде”, из которой вытекает, что во всём виновник опять Магидсон» (с. 130).

Читая далее дневник страницу за страницей, нельзя не заметить, что автор болезненно реагирует на довольно многочисленные случаи, когда то один, то другой коллега как бы незначай подхватывает его идеи и бесцеремонно выдаёт их за свои. К примеру, та же Кетевана Архиповна, когда Постовский сообщил ей по телефону о своей новой технологической идее, тут же ответила: «Так я ж Вам говорила, что это надо делать!» Он озадачен: это когда ж она говорила? Не сразу, но вспомнил: как-то он высказал эту идею в беседе с профессором Б. П. Кушелевским¹⁴, заметив при этом, что задача-то интересная, но трудная. Чхиквадзе при том разговоре присутствовала и даже вроде бы подала реплику, что «всё же попробовать надо». А теперь она вдруг — «автор идеи» (с. 52).

Похожих случаев Исаак Яковлевич в дневнике зафиксировал немало, и чаще всего, надо признать, это мелочи (хотя, например, попытка Магидсона присвоить авторство антидизентерийного препарата № 19 — см. с. 88 — уже никак не мелочь). Но известен эффект капель, раз за разом падающих на одно и то же место, и у Постовского возникает ощущение, что те самые люди, у которых недостаёт способности к творческому мышлению, добросовестности и трудолюбия, чтобы работать эффективно, паразитируют на его идеях, его самого при этом локтями отодвигая в сторонку. Это делается, похоже, не злонамеренно, не целеустремлённо, а, скорее, инстинктивно, в силу свойственной им житейской «хваткости». Делается, причём, не столько против него, сколько «за себя».

Легко заметить, читая в дневнике описание таких коллизий, что Исаака Яковлевича волнуют не «приоритеты», не «авторские права», а элементарная

¹⁴ Борис Павлович Кушелевский (1890-1976) — терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор. В 1934-1968 — зав. кафедрой в Свердловском медицинском институте, в 1941-1947 — главный терапевт Уральского военного округа. Один из главных сподвижников И. Я. Постовского по внедрению сульфамидных препаратов в лечебную практику.

непорядочность, нравственная нечистоплотность людей, с которыми приходится работать бок о бок. Он говорит о «научной этике», даже и просто о рвачестве, но — лишь в дневнике, а отстаивать своё авторство не собирается: *«Не так я беден или алчен, чтобы втянуться в базарную комедию и выступить там актёром. Я буду зрителем. Может быть, меня попросят на сцену, когда представление кончится. Если нет — тоже “бог с ними”»* (с. 92).

Подбирая неосмотрительно разбрасываемые им идеи (*«когда я в своей болтливости, бабской...»* — с. 52) и подпитывая за их счёт свои амбиции, коллеги на его авторитет не покушаются, так что он не выглядит оттеснённым. Начальство тем более с ним считается: его как успешного руководителя научных коллективов (кафедры и филиала) отмечают, награждают, выдвигают.

К официальным наградам у общественного мнения (особенно у нынешнего, «расфокусированного») отношение неоднозначное: если принял награду — герой, но ещё больше герой, если демонстративно отказался. Постовский не был замечен (ни в жизни, ни в дневнике) в особом к ним пристрастии, но «правила игры» принимал: люди совместными усилиями выполнили большую общественно полезную работу — и каждому, кто в ней участвовал, воздаётся по заслугам. Нормальный акт социальной справедливости, не более того. Развитая система моральных поощрений была весьма действенным средством превращения населения СССР, раздробленного каскадом социальных катаклизмов, в советский народ, который успешно противостоял гитлеровской агрессии. Однако эфирно тонкая «материя» социального самоощущения была очень чувствительна к разным проявлениям казённости и бездушия, а потому знаки поощрения могли порой восприниматься и как оскорбительные признаки невнимания, непонимания, граничащего с неуважением. В том я вижу главную причину переживаний автора дневника по поводу состоявшихся (или не состоявшихся) наградений и иных поощрений.

Вот характерный пример. Поздней осенью 1942 г., на исходе труднейшего военного года, Исаак Яковлевич отмечает в дневнике: *«Прошло несколько месяцев без записей»* (с. 80). Имея в руках его дневник, могу сказать более определённо: прошло практически пять месяцев, и это была самая длинная пауза за всё время ведения дневника. Причина её была не в том, что записывать было нечего, а в том, что ему было, скажем так, не до дневника. И вот наконец ему удалось выкроить время, чтоб хоть коротко зафиксировать главные события большого отрезка времени. Но которые считать главными?

Если бы пером водил бесстрастный летописец, он бы наверняка начал записать в тот день так: *«В филиале ВНИХФИ дело идёт нормально»*. Я не выдумал эту фразу, в записи 23 ноября 1942 г. она на самом деле имеется (на с. 87), я её и раньше цитировал, но находится она почти в самом конце той записи. Между тем как раз перед этой пятимесячной паузой Исаак Яковлевич, как читатель помнит, вынес вердикт: *«Итог ясен. Филиал не будет жить»* (с. 73). Понятно, что в прошедшие месяцы, когда Постовскому не удавалось выкроить и полчаса для дневника, было сделано многое, и что-то автор дневника перечисляет, но ничего бы этого не было, если бы не удалось сохранить филиал. Так не это ли событие было главным?

Между тем первую после большого перерыва запись Исаак Яковлевич начинает с того, что со стороны может показаться не стоящим внимания: *«В августе был награждён значком отличника наркомата здравоохранения, в сентябре [–] отличником наркомата чёрной металлургии. То и другое — более или менее случайно. Если бы сказали, что за инициативу по организации начала сульфамидной промышленности на Урале, то это было бы по заслугам. А так [как] дело касается хорошего выполнения плана работы завода — то, конечно, всё это связано с тем, что меня неудобно было бы обойти, т. е. всё крайне случайно. По чёрной металлургии получил значок, потому что УИИ в наркомате чёрной металлургии, а я известен наркомату как долголетний декан ф[акультета]. Т. е. опять несколько случайная награда»* (с. 80-81).

Награждение «по разнарядке» широко практиковалось в советское время, и это как раз тот случай, когда плодотворная идея дискредитировалась форма-

лизмом и казёнщиной в её реализации, ибо знак отличия при этом превращался в инструмент уравнивания, и это было, по меньшей мере, неуважительно, а то и оскорбительно по отношению к награждаемому. Проиллюстрирую эту мысль ещё одним примером из дневника.

Познакомившись с отчётом профессора А. Т. Лидского по блестящим результатам испытания бентонитовой пасты, многоопытный москвич Г. И. Браз, сотрудник ВНИХФИ, предрёк Постовскому: «Ну, через год Вы будете сидеть в столовой за столом сталинских лауреатов». В дневнике не сказано, как Исаак Яковлевич ему ответил, но про себя подумал (и потом записал) вот что: *«Мне хотелось бы сидеть за этим столом, но не по поводу работы по БВ (чисто изобретательского характера), а по работе по митогенетическим лучам»* (с. 127).

(Тут есть тонкость, которую современный читатель дневника может не заметить. Речь идёт не о завершённой и недооценённой работе «лауреатского» уровня, а о критерии, который, по мнению Постовского, должен прилагаться к исследованию, претендующему на главную премию страны. Если сказать совсем коротко, исследование должно открывать новые горизонты знания и новые возможности науки¹⁵.)

Как можно понять из дневниковых записей Постовского, его больше всего то и задевает (если не сказать оскорбляет), что знаки поощрения в отношении его всё время отдают казёнщиной, невниманием к тому, чем он действительно интересен как учёный. *«Вообще, “меня поощряют”, — записывает он 23 ноября 1942 г. — Выдвигают в сталинские лауреаты по работам, не заслуживающим премии, почему я и “проваливаюсь”. Сейчас выдвигают в члены-корреспонденты АН. Конечно, тоже — чепуха»* (с. 81).

Любопытно, что два обстоятельства, упомянутые в этой записи, не отражены не только в существующих биографических материалах о Постовском, но даже и в семейных преданиях. Видимо, заранее предвидя неудачу, Исаак Яковлевич не посвящал в эти дела ни сотрудников, ни домочадцев. Но в душе такие казусы оставляли царапины глубокие, потому они и в дневнике зафиксированы.

Судя по хронологии событий, в первый раз Постовского выдвигали на Сталинскую премию в 1941 году. Кто выдвигал, за какие именно заслуги — сведений не сохранилось. Есть лишь запись в дневнике, датированная 11 апреля 1942 г. (видимо, в тот день в Свердловск пришли вчерашние московские газеты со списком лауреатов): *«Магидзон получил большую (то есть первой степени. — В. Л.) Сталинскую премию. Его заслуги и авторитет заслуживают поощрения. Моя кандидатура, как видно, провалилась. Ничего, посмотрим через год»* (с. 34).

Через год его на Сталинскую премию не выдвигали: руководство УИИ решило «поощрить» его иначе — выдвинуть в члены-корреспонденты Академии наук СССР, там как раз были объявлены вакансии. Процитированная выше реплика: *«Конечно, тоже — чепуха», — не спонтанная реакция Исаака Яковлевича на эту инициативу, а вывод, сделанный на основании вдумчивого анализа ситуации. Ход его мысли отражён в дневнике: «Чтобы быть членом АН, чтобы туда попасть, надо: 1) работать в одной определённой области, печатать всё, что сделано хорошего, стать “известным”, создать вокруг себя коллектив, который работает в этой же области, как ты. 2) Знакомиться со всеми химиками, при любом случае и любым методом (обмен оттиск[ами], перепиской, через конференции, съезды и т. п.). И этим путём надо быть “известным”. 3) Надо иметь в самой АН знакомых, которые делают тебя известным»* (с. 81).

Кому-то покажется, что Постовский «разоблачает кумовство», будто бы царящее в академических кругах, но никакой нотки осуждения этой системы я у него не почувствовал: *«Это истина — никуда не денешься»* (с. 81-84¹⁶). А

¹⁵ «Очень интересуюсь митогенетич[ескими] лучами, — пишет Исаак Яковлевич 12 марта 1943 г. (он в это время лежит в больнице). — Читаю и конспектирую книгу Гурвичей (А. и Л.) (“Митогенетическое излучение”))» (с. 99-100). Тема многим тогда казалась перспективной, а креативный ум Постовского сразу «встроил» её в контекст самых актуальных проблем, занимавших учёный мир в то время. Но связанные с ней надежды, увы, не подтвердились.

я бы, автор этих строк, со своей стороны даже и добавил: «деваться» никуда и не следует, потому что научный поиск — дело коллективное, и одиночка «с улицы», даже если он трижды прав (чего, увы, практически не бывает), чтобы двинуть вперёд научную мысль, должен завоевать место в ряду тех, кого «знают» и слушают. Об этом и говорит Постовский. Однако углубляться дальше в эту тему я не стану, подчеркну лишь, что Исаак Яковлевич сделал хорошую подсказку специалистам по философии науки.

Выдвинутые им три пункта автор дневника прилагает к себе. В довольно обстоятельном его рассуждении я бы выделил два момента. Во-первых, тогдашний корифей советской органической химии академик А. Е. Порай-Кошиц, хорошо знавший и высоко ценивший Постовского, советовал ему: «Печатайте, Вас просто мало знают» (с. 86). Во-вторых, как бы иллюстрируя это пожелание, член-корреспондент АН СССР А. Н. Несмеянов (будущий президент Академии наук) «сделал на сессии Академии полуторачасовой доклад об успехах органической химии, и лишь «в самом конце, извиняясь за то, что он не смог многое интересное сообщить из-за недостатка времени, он упомянул и о “работах Постовского по высококонденсированным соединениям”. Вот и всё, что я заслужил» (с. 86).

Рассуждения о трёх пунктах записаны 23 ноября 1942 года — видимо, тогда появилась первая информация о предстоящих выборах в Академию. События развивались неспешно, и лишь через пять месяцев, 17 апреля 1943 г., Исаак Яковлевич записал: «На днях индустриальный институт стал подбирать кандидатов для выдвижения на вакантные места в АН. Среди других и меня выдвинули в качестве нашего (местного) кандидата на вакансию члена-корреспондента. Я боролся с самолюбием, но решил снять свою кандидатуру, т. к. считал её недостаточной уверенной. Ещё рано мне “лезть” в академию. Надо проделать ещё многое, и лишь когда будет 95 % уверенности попасть в академию, тогда надо от себя ставить вопрос. Сейчас шансов 0,1 %, не более. Зачем быть посмешищем?» (с. 127).

Но быть избранным в Академию — это ведь не значок передовика получить. Попасть в число тех, кого в научном сообществе знают и слушают, — значит, выйти на другой уровень участия в научном процессе. Поэтому Исаак Яковлевич не исключает для себя такой возможности. Прежде всего, следуя пожеланию А. Е. Порай-Кошица, он принимается активнее обобщать свои научные достижения в статьях для научных изданий и предпринимает усилия к публикации этих статей. Но это, конечно, в расчёте не на объявленную уже кампанию выборов в АН, а на перспективу. То, с чем он при этом столкнулся, в общем-то, для него не ново, однако лишний раз подтвердилось, что попасть на страницы академического журнала — тех же «Докладов Академии наук», — никак не проще, нежели стать членом элитного научного сообщества. В сущности, действует тот же закон: чтобы тебя внимательно выслушали, тебя должны знать. Запись 24 марта 1943 года начинается с подробного рассказа о «некоторых “приключениях” автора» (с. 117). Имеются в виду, поясняет сам Постовский, «приключения с работами, попавшими в руки редакторов, которые не понимают гвоздя (“цимес”) работы» (там же).

Описание их занимает в дневнике более пяти страниц; думаю, не стоит их здесь выписывать: дела дано минувших дней. Любопытно разве что отметить, что среди порицаемых автором дневника редакторов — академик С. И. Вавилов. Он, безусловно, крупнейший учёный, никаких сомнений в том у Постовского нет, но — в области оптической физики, а статью химика-органика, считает Исаак Яковлевич, он просто не понял. И если бы на рукописи не было благожелательной резолюции Порай-Кошица, физик Вавилов её «завернул бы без угрозытеля совести с советом направить её в спецжурнал» (с. 119-120).

А с предложением баллотироваться в членкоры в апреле 1943 года Исаак Яковлевич обошёлся дипломатично: «Я сообщил дирекции, что вообще про-

¹⁶ В этом месте в дневнике — сбой в нумерации страниц: с. 84 идёт сразу вслед за с. 81, а страниц 82 и 83 нет.

тив постановки вопроса о моей кандидатуре на учёном совете института не возражаю, если моя кандидатура будет поддерживаться московским ВНИХФИ (Магидсоном) или наркоматом. Т. е. если уж проваливаться, а это случится при всех условиях, то хотя бы и как кандидата от ВНИХФИ, т. е. учреждения, которое зря мою кандидатуру не поддержит. Иными словами, провалиться при отборе кандидатов, выставленных не только провинцией, но и Москвой» (с. 127-128).

Прямо о том в дневнике не говорится, но у меня нет сомнений, что за поддержкой кандидатуры Постовского на избрание в Академию ни к Магидсону, ни в наркомат никто не обращался, но Исаак Яковлевич на то и не рассчитывал. Однако на кафедре об идее его выдвижения, по-видимому, знали и готовы были его поддержать. З. В. Пушкарёва даже написала характеристику его работы для представления на учёном совете. *«Характеристику она мне зачитала, — записывает Постовский в дневнике. — Для надгробной речи, где только хвалит, подходяще. Я понимаю, что не такие характеристики определяют место в Академии наук, а общепризнанность учёного. Этого-то у меня и нет. Во всяком случае, был рад видеть порыв доброжелательности ко мне с её стороны и других сотрудников кафедры. Мой отказ, наверно, удивит её, хотя я уже предупреждал её об этом» (с. 128).*

На том тема выдвижения Исаака Яковлевича в членкоры в дневнике закрывается, лишь полгода спустя, 6 октября 1943 года, он возвратился к ней снова: *«Состоялись выборы в Ак. наук. Конечно, ни один кандидат индустриального института не прошёл. Как видно, я не ошибся при своём отказе “баллотироваться” в члены-корреспонденты» (с. 143).*

Так что история с тогдашним неизбренным его в Академию никак его не огорчила. И кажется парадоксом, что он был сильно расстроен по поводу, казалось бы, несравненно более мелкому — о том свидетельствует дневниковая запись, сделанная им в тот же день: *«Состоялось массовое награждение работников медицины по случаю 25-летия советского здравоохранения. Попало и ряду производственников, в том числе и Зое Васильевне Пушкарёвой достался орден «Знак Почёта». Все были очень удивлены, что я не оказался награждённым. Даже награждённый директор завода Розенштейн (орден Красного Знамени) и тот почувствовал себя несколько неудобным, тем более что сначала, только читая телеграмму, казалось, что и меня наградили какой-то медалью. К счастью, это было только недоразумение. Лучшее, конечно, ничего, чем получить медаль, в то время как те, кто впитывали в себя мою инициативу и мысли, получили орден. Было обидно. Я хотел себе внушить, что всё это пустяки, но всё-таки осадок остался у меня неизгладимый, хоть я борюсь с собою — не дать событиям влиять на мою повседневную работу» (с. 143-144).*

Очевидно же, что не нужна ему эта награда — опять ведь «по разнарядке», — но его обошли! Это старая, как мир, коллизия; наверно, читатель помнит, как уходил от Владимира Красна Солнышка главный русский богатырь в балладе А. К. Толстого: «Но обнёс меня ты чарой в очередь мою — так шагай же, мой чубарый, уноси Илью!» Только у Постовского, в отличие от Ильи Муромца, нет конкретного обидчика, а просто какой-то функционер, не имея злого умысла, проморгал, и нелепо было бы его искать.

Раз за разом, переживая эти, в общем-то, не стоящие внимания, а всё-таки чувствительные душевные травмы, Исаак Яковлевич убеждается, что существующий общественный порядок сам по себе ничего не расставляет по местам. Мало иметь талант, опыт, трудолюбие — надо уметь жить! Сам он, по его самокритичным наблюдениям, жить, как требует обстановка, не умеет. *«Дело в том, что я очень и чересчур скромно подхожу, когда кое-что выдвигаю. Пасую перед непониманием, считаю, что другие умеют выдвигать идеи лучшие, что навязывать ничего не надо, что сотр[удник] сам после моего намёка должен прийти к убеждению, что так и так надо поступить, т. е. так, как я ему намекнул с осторожностью. В этом ошибка: у меня слишком мало уверенности и слишком много самокритики и переоценка других» (с. 27-28). «Надо научиться говорить о своих идеях и их часто повторять, тогда они скорее будут осуществляться,*

и не другими, а мною» (с.28). «Конечно, я не сумею показать товар лицом, хотя и постараюсь» (с. 34). «Надо научиться свои мысли давать не обрывками, а в самой общей форме, в виде "Patentauspruch" [заявки на патент]» (с. 147). Итог этих самоуничижительных оценок: «Моя судьба была и будет всегда одна и та же: меня будут обходить, за моей спиной будут прикрываться» (с. 144).

Вслед за тем он ставит поистине экзистенциальный вопрос: «Уныние ли это? Нет ли других причин? Может быть, я и в самом деле не стою большего? А может быть, не стою большего из-за того, что я называю судьбой? Я её не взял в свои руки» (с. 145).

Экспериментатор от бога, он решил и тут поэкспериментировать: а точно ли взять судьбу в свои руки — задача невыполнимая? Но как это проверить?

«Я много думал обо всём и пришёл к выводу, что пора поднять вопрос о Сталинской премии» (с. 148). Опустил примерно две страницы дневникового текста, где Исаак Яковлевич подробно, называя имена и раскрывая выразительные житейские подробности, рассказывает, как он начал хлопотать о своём выдвижении. Важно, что дело сразу пошло, как по маслу: поддержали и в дирекции индустриального института, и самые влиятельные коллеги из медицинских кругов. Поддержали безоговорочно и бескомпромиссно — хотя при изготовлении и продвижении положенных бумаг особой расторопности и не проявили. Ну, это соответствовало их характерам, было, можно сказать, в порядке вещей.

Когда Исаак Яковлевич «фиксировал» эти события, «эксперимент» ещё не завершился, но скорый и благополучный финал не вызывал сомнений. И вдруг — неожиданный поворот мысли:

«Не странно ли, что я так планомерно собираю отзывы. В моём ли это стиле. Я думаю, что это просто реакция на награждение других, и, наконец, хочется знать, что же ты в самом деле для лиц и учреждений, для заводов, для которых ты думаешь, чем там полезным быть» (с. 150).

Это последняя запись в дневнике Постовского. Думаю, точки после двух первых фраз вместо ожидаемых вопросительных знаков означают, что вопросов, в сущности, и нет: это утверждения. А за этими утверждениями угадываются и подспудная тема дневника («хочется знать, что же ты в самом деле»), и прекращение его ведения вот на этом самом повороте сюжета.

Речь не о премии, конечно. Кстати, Сталинские премии в 1943 и 1944 годах не присуждались из-за условий военного времени, так что сегодня трудно сказать, то ли сам И. Я. Постовский остановил «эксперимент», то ли стало известно, что премии не будет. Так или иначе, от той попытки «взять судьбу в свои руки» в домашнем архиве академика сохранился лишь подлинник отзыва профессора А. Т. Лидского о научной работе Постовского. Документ не датирован, и до сих пор было непонятно, когда и для чего он был написан. Запись в дневнике Исаака Яковлевича позволяет ответить на этот вопрос практически со стопроцентной достоверностью.

Однако Сталинскую премию Постовский получил в первом послевоенном году. Кто его на этот раз представлял, мне выяснить не удалось, но мне кажется, что хлопоты самого Исаака Яковлевича осенью 1943 года не имели к тому никакого отношения.

Была у него и вторая премия (я мельком упоминал о ней) — уже в 1952 году, но это уже другая история.

Были и ордена (орден Ленина, орден Октябрьской революции, три ордена Трудового Красного Знамени, Знак Почёта, медали), и почётное звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, и избрание в действительные члены Академии наук СССР, неожиданное для него и — редчайший случай — минувшая стадию членкорства.

Ну, а что касается темы дневника, показавшейся его автору исчерпанной, когда он дошёл до рассуждения: «Не странно ли, что я...», — она восходит к извечному императиву: «Познай самого себя». Так что дневник И. Я. Постовского военных лет — убедительное доказательство тому, что человек побеждает, когда он знает, кто он есть и в чём смысл его жизни.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Наталья Рубанова

Литджем: игра в четыре руки с Андреем Бычковым

Мы в галерее «Открытый клуб» на Спиридоновке: место с историей. Год 2019-й: мир не знает покуда ни пандемии, ни того, что последует за ней в 2022-м... Конец января, лютые московские минус тридцать — впрочем, люди пришли.

Я планировала провести цикл вечеров под названием «Lit-Jam», ибо джем-сейшн — то, что и Рубанова, и Бычков делают в литературе. И кстати: что конкретно Бычков делает в литературе, в России сейчас не делает практически никто, недаром Мамлеев резюмировал когда-то: *«Творчество Андрея Бычкова, несомненно, представляет собой уникальное и крайне интересное явление в современной русской литературе. Живое и мистическое — вот тропинки, по которым можно идти одновременно».*

Итак, по порядку: Андрей Бычков — писатель, сценарист, эссеист, преподаватель оригинального творческого курса «Антропологическое письмо». Автор 23 книг, опубликованных в нашей стране и за рубежом, член Союза российских писателей. Его книги и отдельные рассказы выходили в переводах на английский, французский, сербский, испанский, венгерский, китайский и немецкий. Он, помимо прочего, лауреат премий

«Нонконформизм», «Silver Bullet» (USA), «Тенета» — и не только; финалист премии «Антибукер» и премии Андрея Белого. А ещё — призёр нескольких кинематографических конкурсов, сценарист культового фильма Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж». Андрей Станиславович открывал однажды, кстати, международную книжную ярмарку на Балканах, в Херцог-Нови.

Когда читаешь его тексты, складывается впечатление, что это переведённый Кортасар или Борхес. Но: не упрощаю и не отменяю авторского «я», ибо это другая личность — и это в лучшем смысле слова «переводная литература», только русская, *не отменяемая*... Несколько лет назад «Урал» публиковал рецензию на его прозу «ПЦ Постмодернизму» и «Тот же и другой»¹ вечер, вечер из прошлой жизни, мы говорили² о том, что *всё это* (буковки, ну да) делается *для себя*, что литофициоз интереса не представляет, и, в сущности, размышляли о писательской практике как о *практике самого себя*. Сейчас, в аду переломной эпохи, наша беседа представляется более чем просто «любопытной».

Наталья Рубанова: Ты бывший физик (хотя бывших физиков не бывает), но тем не менее твоя научная работа называлась «Поверхностные гиперядерные состояния»... Ты занимался гештальт-терапией, вел группы, окончил гештальт-институт. Ты интересовался буддизмом, путешествовал в те самые места, где тебе было нужно быть в тот самый момент... Ты сын художника-авангардиста Станислава Бычкова, чьи работы висят в галереях и в Москве, и в Нью-Йорке: с детства ты видел то, что видел единичный советский киндер. Наверняка тебя это как-то «преломило». В конце концов ты женился на литературе, выбрав не гештальт-

Наталья Рубанова — писатель, лауреат премии «Нонконформизм», премии им. Тургенева, премии им. Хемингуэя. Автор нескольких книг прозы и многих публикаций в журналах «Волга», «Знамя», «Урал» и других. Живет в Москве.

¹ Наталия Гилярова. «Оскорблённая человечность»: журнал «Урал», № 4/2021 <https://magazines.gorky.media/ural/2021/4/oskorblennaya-chelovechnost.html>.

² Расшифровка записи вечера «Литджем» публикуется в сокращении.

терапию, не физику, а лирику. Что тебя сподвигло бросить престижную работу и отправиться в метафизические поиски, дабы стать тем, кто ты есть сейчас?

Андрей Бычков: Существует формула, применимая к каждому из нас. Она должна звучать как «поиски себя». Каждый человек пробует себя в разных областях, ипостасях, все мы хотим самореализоваться. Это и есть некая жизненная задача. Есть области привлекательные, некие высшие планы: наука, искусство, религия — благородные орбиты, где хотелось бы пройти хотя бы небольшой отрезок за то время, которое нам отмерено. Я интересовался физикой с детства, но, отвечая на вопрос... — да, я пробовал разные практики и, вероятно, был инициирован в искусство отцом. Постепенно я создал свою физику, гештальт-терапию и религию, все вместе это — литература.

Н.Р.: Твой роман «Гулливер и его любовь» вдохновлен гештальт-психологией. Не спрашиваю про автобиографичность, хотя и хочется.

А.Б.: Да, здесь ключевое слово — картины. Как и у отца. Картины, которые я видел, появляются не сразу. Сначала это намек, далее метки... мне было интересно смотреть, как он работает, как из ничего появляется нечто. Каждый раз это была неизвестность, ведь я не знал, в чем заключался замысел отца. Но я видел, как происходит «разведка» — и из фона, говоря языком гештальт-терапии, рождается фигура.

Н.Р.: На обложках своих книг ты используешь картины отца: «Авангард как нонконформизм», «Олимп иллюзий» и другие: все они очень яркие.

А.Б.: Да, я попросил издателя поставить на обложки работы моего отца. Картины — это первостепенно. Я вижу картины, я пишу не слова. Я вижу некие картины, ведь я видел их с детства и иду вслед за ними, а слова вторичны. Важно, что интонация совпала с разворачиванием образа. Поэтому инициация в искусство произошла через живопись. Однако

писатели бывают разные. Кому-то важен глаз, классический пример — Набоков. Есть и писатели, которые реагируют на звук, на музыку, — это, например, Джойс. Все работают по-разному. Отец брал меня и на концерты классической музыки, оба мы изучали классическую гитару.

Н.Р.: Это больше музыкальное восприятие, как у Джойса, или визуальное, как у Набокова?

А.Б.: Для меня интересно, что картина прозвучала. Я думаю, раскладывание на аудио и видео — это упрощенная модель, есть синтетическая составляющая. Когда мы говорим о речи, голосе, языке, — это звуковая стихия, способная породить и картины, вот что интересно. Я могу описать словами картину. Нет прямого разделения, но, как я уже сказал, оно встречается у Джойса, Набокова... Есть синтетическая реальность слова, которая проводит нас в те области, где возникает транс: язык существует уже сам по себе. Если мы можем отдаться этому трансу, он может нас увлечь, и начнется то, о чем я бы как раз и хотел поговорить дальше, — практика себя.

Н.Р.: Ты говоришь (недословная цитата), что «человек обречен, но должен умирать, сопротивляясь». Это практика себя или себя, писателя? Ты сопротивляешься системе, ценностям? Хочешь подложить «антропологическую бомбу под современное литературное здание»? Ведь большая часть того, что мы сейчас наблюдаем в мире тех же ангажированных премий, попросту очень скучно. На чем зиждется твоя проза? Почему она идет в таком «перпендикуляре» с системой литературных координат? Я пыталась сама ответить на этот вопрос, так как ты не вписываешься в данную систему — ты идешь дальше, за горизонт. Таких людей при жизни, как правило, не понимают.

А.Б.: Это не моя фраза — Синакур, «Оберман»: в этом романе сказано, что мы обречены, но должны сопротивляться. Скажу, пожалуй, простую вещь: то, чем я занимаюсь, можно определить так: мы привык-

ли к движению вовне. Тем более в век технологий это некий вызов для человека. Постоянно что-то идет из среды, общего пространства, социального в том числе, и все мы развернуты во времени. Но на самом деле есть два полюса: *они-социум-общество-государство*, а есть *кто-я-себя-зачем-почему-что-происходит-со-мной?* Конечно, у нас есть история, историческая травма, которая начинается в 17-м году или даже раньше. И эти «они-мы», множественное число нами завладело. За или против — неважно, все это движется вокруг социального агента. Всплывают и серьезные вещи вроде справедливости, но все это — другая сторона расстояния между мной и всеми. Есть и иная сторона. Обратить внимание на себя, думать о себе: а ведь такой завет был еще в Древней Греции, где говорили: *разберись с собой, познай самого себя. Знай меру, не обещай много...* Центрирование внутрь себя, нераспыление вовне — из этого произрастает все лучшее, если, конечно, умеешь правильно собой пользоваться. Да, надо заниматься собой! Если бы все занимались собой, а не общими проблемами, думаю, все бы само собой наладилось. Все это понимают, но немногие это практикуют. Это «себя» — тоже весьма непонятная вещь: заметьте, я говорю не о «я», а о «себя». Это нужно исследовать — как мы даны миру, кто нас дал именно такими? Если говорить о работе с собой, к счастью, многие этим занимаются — танцы, йога, тайцзи и так далее... люди интуитивно начинают чувствовать, хотят разобраться с собой и своим телом. При чем же тут литература? Ее обычно понимают как социальную практику — «я хочу успеха» и все вытекающие из этого стратегии — я уже там, я забыл про себя, забыл, что речь не о востребованном формате (как бы написать драматургическую вещь по каким-то шаблонам), *речь о том, где человек*. Почему мы перестали говорить о нем? Серьезные люди говорят об антропологической катастрофе, о вызовах времени — мир усложняется, что такое человек — непонятно. Вот с чем мы должны разбираться в первую

очередь в литературе. Все сложно и неоднозначно, причем сложность нарастает. Появляются неизвестные силы, которые вмешиваются в нашу судьбу, — мы должны об этом говорить. Что я имею в виду? Есть три вопроса: «Что?» (о чем говорить), «Как?» (он ближе к искусству) и «Кто говорит?». Кто — это и есть то самое таинственное «себя». В нас есть множество голосов, взглядов, кроме того, бес графомана нередко нас толкает... Наша воля хочет проявиться. Но это не есть творческий субъект. Как говорил Бланшо, «тебе доверен голос, а не то, что он говорит». Неважно, что будет писать писатель: ему доверен его голос. То, как он дан природой, — мы ведь часть природы. Есть рацию, есть логос, которым мы в западной цивилизации размахиваем, как мечом. Но надо искать инстинкт жизни... Всех нас родила мать, у всех был отец, есть святые моменты из детства. Освободить тот самый инстинкт — «мы часть жизни» — это и есть тот самый голос, о котором мы говорили. Не нужны писательские форматы, структуры: я должен забыть об этом. Цель любой антропологической практики, в том числе писательской, — освобождение. Мы закрепощены, мы зажаты моделями и форматами. Мы не напишем картину, потому что мы забыли про себя. Нужно освободиться от всего.

Н.Р.: Помнишь, мы говорили о чистоте сосуда? Чистота писательского сосуда. Все понимают, что писатель — лишь «буфер обмена». Мы говорим о жизни в каком-то смысле отшельника, человека, который поступается многими удовольствиями, даже жизнью, ради того, чтобы писать и делать то, что должен. Вспоминаются слова Ошо: «Искусство — это низшее из высших». Можно ли что-то сказать на эту тему?

А.Б.: Мы уже обозначили в этой беседе рубежи. Писательство можно понимать как антропологическую практику. Я могу стать писателем, когда я освобожу свой голос, но голосом надо заниматься. Певцы должны возвести голос, чтобы он красиво звучал, есть упражнения. Они рабо-

тают с голосом. Я как писатель тоже работаю с голосом. Но это внутренний голос. Вообще говоря, это может пригодиться не только писателю, а любому человеку, ведь внутренний голос — вещь довольно религиозная. У Сократа был «демон», который подсказывал ему, чего не надо делать. За голосом стоит внутренний голос. Но это вещи высокие, божественные. Они не даются так просто. В своем эгоизме мы можем этого не услышать. Нужно научиться слушать. Прислушайтесь, что происходит? Разные звуки, шумы, шелест... я начинаю замечать, становлюсь частью этой реальности. Вот с этого должна начинаться практика. Я не должен бросаться писать, потому что у меня модная тема или есть особое знание. Всем нам есть что рассказать о жизни, но тогда вы так и останетесь на уровне мемуаристов и прочего. Писательство — это про другое.

Н.Р.: Почти ни у кого из ныне живущих русскоязычных литераторов я не встречала подобной позиции. То, что практика писательства меняет, потрясло меня в свое время — мне это очень созвучно. Это не монашеское единение, хотя в каком-то смысле это тоже аскеза, и то, что ты говоришь о сакральном отношении к творчеству, — удивительно. Никто об этом не говорит. Печатные авторские листы, за которые авторы получают деньги, тиражи — это не хорошо и не плохо, это другое. Вот, кстати, вспомнилось, что Скрябин подходил к роялю только в костюме: не мог иначе... А что для тебя твое письмо? Твой костюм?.. И как для тебя важно транслировать то, что ты транслируешь, чтобы это «дошло»? Твой роман «Олимп иллюзий» — очень сложный текст, мы обсуждали работу над ним. И я слышала о том, как ты-писатель нарочно сокращал себя, обрезал, дабы не скатиться в попсовую литературную реальность романа. Там встречаются оборванные фразы, сюжет закручен непонятным образом, хотя при ближайшем рассмотрении можно понять, что все очень четко и точно. Ты хотел сделать штучную вещь, а не тиражируемое изделие. И

все же... черт возьми, что именно ты хотел сказать этим текстом? Для чего ты его написал, преодолевая себя?

А.Б.: Это был выкрик против правил. Как хочу, так и пишу. Ты упоминала аскезу и прочие вещи из словаря серьезных людей. Если мы говорим о писательстве как об антропологической практике... Я разворачиваюсь к себе, жду, какой голос захочет во мне заговорить, откуда появятся первые фразы, — я не знаю, о чем будет история. Сюжет должен рождаться из музыки. Я занимался гештальт-терапией, где основные понятия — это фигура и фон. Мы должны быть чувствительными к фону. Все привыкли к фигурам, выстраиванию фигур в жизни: это касается стратегий, взаимоотношений — но так мы много «зееваем». Голос можно направлять... говорим мы «вперед», но его можно направлять и в другие стороны, певцы над этим работают. Если я буду прислушиваться ко всему пространству, а первые фразы будут собираться из фона, тогда и родится тот самый сюжет, который хочет «сказаться». Произведение хочет явиться само, а я буду лишь медиумом. Я должен услышать этот голос, а не решить волевым образом через план раскрыть некую схему. Я должен освободиться, чтобы произведение захотело заговорить через меня. Это некая практика. Поэтому мы сразу перебрасываем мостик ко всем известным практикам, о которых знаем... Когда речь идет об аскезе, повороте в практике к себе, когда я прислушиваюсь к себе, то здесь должны быть и некое отшельничество, отрешенность. Я могу присутствовать среди людей, но это «наличие отсутствия». Ты должен быть «по ту сторону», в воображаемом пространстве. Искусство всегда порождает другой мир, который важнее, чем реальный.

В этом смысле реальность — один из возможных миров. Смысл искусства не в том, чтобы повторять, копировать, а в том, чтобы изобретать новые миры. Для этого я должен чем-то пожертвовать. Энергия и мое время конечны. Одно возможно за счет другого. Речь о жертве, я должен чем-то пожертвовать, а чем? Тем, что на-

зывается другим под полюсом «мы, они, нас», — чтобы я остался наедине с собой... Любое общение с высшими силами начинается с обрядов очищения. Например, Достоевский тщательно умывался перед работой. Все художники тщательно себя приготавливают, потому что речь об измененных состояниях сознания, а дальше все должно получиться само. Дальше речь лишь о моей игре и рисках, если я не хочу банальных ответов. В практике художника должны быть аскетические практики: очищение, отстранение, концентрация — я должен собрать свои силы. Душа — это стихия противоречивых импульсов... что-то постоянно возникает, отвлекает; вся монашеская практика связана с тем, что вы собираете себя, свою душу и готовитесь не рассеяться в момент смерти, а перейти в новый свет. Порой это бывает сложно. Тогда появляется еще четвертая составляющая — смирение, выносливость. Я должен быть выносливым, если хочу быть художником. Если я начинаю, а у меня не получается, — это серьезная игра: речь идет о моей фрустрации. Фрэнсис Бэкон, например, не хотел прямолинейных решений, он рисковал и не знал, получится ли картина. Это всегда на грани кризиса... В одном из интервью на вопрос о начале работы Бэкон сказал, что Энгр долго плакал перед тем, как начать картину. Этот момент серьезен — может получиться, а может не получиться. Для писателя важно, как он войдет в тему, с какой фразы. Хемингуэй три дня не мог начать роман «Праздник, который всегда с тобой»! Он хотел услышать верную фразу, ждал голос — и услышал: «А потом погода испортилась» — он услышал и понял, что произведение захотело наконец появиться... Прислушивайтесь к таким моментам, потому что обычно все разговоры — особенно в писательских мастерских — о плане, драматургии... а эти вещи должны появиться потом. По заветам Древней Греции, есть два бога, связанных с искусством: Дионис и Аполлон. Дионисийский момент начала творчества — это момент опьянения, темный момент. Адепт Диониса падает

в опьянении и ждет. Аполлон — это сон, это бог формы. Форма появляется потом. Если мы хотим освободить произведения, а они, заметьте, ничего нам не должны, то, чтобы они являлись через нас, есть правила, если мы относимся к искусству религиозно. Разве можно иначе?

Н.Р.: Ты описываешь идеальные условия. Но обычно у современного пишущего, который живет в социуме и не ангажирован, другие ритмы. Ему достаточно уже записать фразу на клочке бумаги, пока он едет в машине. Я говорю не о признанных величинах, а о людях. Иногда главное — это успеть записать. Буковски и Кинг как раз говорили об этом.

А.Б.: Кинг говорит о том же, о чем и я. Успеть записать — это значит, что оно приходит само. Конечно, у всех происходит по-разному. Надо понять, как это устроено у тебя. Я должен успокоиться, развернуться к себе, наплевать на всех — ты как раз упоминала, что я интересовался буддизмом.

Н.Р.: Буддизм — практика контроля ума, ни разу не религиозная (если подходить к ней утилитарно), где четко говорится, что нужно делать. Если убрать все «лишнее» с точки зрения агностика или атеиста, то это полноценная психотерапевтическая схема того, как жить, чтобы не страдать. Как буддизм повлиял на тебя как на писателя?

А.Б.: Это непростой разговор. Всех нас подталкивают заниматься собой события, которые нас вышибают из реальности. Произведение искусства, чтобы заставить читателя задуматься, тоже должно выбить его из колеи, шокировать. Чтобы быть писателем, нужна *метанойя* (термин, обозначающий перемену в восприятии фактов или явлений, обычно сопровождающуюся сожалением), нужно обратиться к себе. Писатель хочет, чтобы читатель, столкнувшись с чем-то, задумался: «Почему?» Речь и язык — серьезный инструмент. Есть множество практик, телесных, йогических, но мы владеем таким вербальным инструментом, с помо-

щью которого возможно кардинально измениться!.. Письменная же речь раньше была доступна только господствующим классам. Все преклонялись на колени, слушая письмо правителя, хотя самого его рядом не было — лишь его текст. Потому что текст — это знак, это серьезная вещь. Словом можно убить. Оскорбив кого-то, можно ввязаться в драку и так далее... Если правильно использовать этот инструмент, обратить его к себе, даже если речь идет не о писательстве, а о психотерапевтическом письме, мы получим мощнейший инструмент для изменений. Если ты сконцентрируешь эту энергию... и если мы говорим о практике себя, если отсеешь ненужные зерна, то сможешь испечь хороший хлеб. Этому нужно учиться, должно пройти время, прежде чем это станет собственной практикой. Если мы говорим о буддизме... когда человек сталкивается с чем-то травмирующим настолько, что не может справиться, тогда он обращается к высшим силам. У меня была несчастная любовь, я не знал, что делать — шагать под поезд или что-то еще? Случайным образом я попал в буддийскую школу, где в процессе практики понял: неважно, что происходит в жизни. Жизнь может вообще разваливаться. У меня не было работы, я развелся с женой, любовь обманула, жить было негде — если бы не буддизм, я не знаю, что бы я с собой сделал. Я понял, что нужно держаться за пустоту. Нет ничего — и не надо ничего. И вот так я успокоился. У меня ничего нет, а я сижу и хохочу. Речь о том, чтобы отпустить себя, — об освобождении. Когда я смог наплевать на все, что происходит, и освободиться — ведь все меняется: что-то приходит, что-то уходит, — я понял: зачем за это цепляться? Нет ничего такого, что должно тебя погубить, поэтому успокойся. Когда я успокоился, все стало получаться само. Но для этого надо было действительно отпустить все. Поток жизни не прекращаем. Где-то возникают новые вещи, важно включаться в новые процессы, тогда жизнь раз-

вернется в другую сторону... Умение держаться за пустоту и при этом быть чувствительным к фону, не цепляясь за фигуру, — в моем случае это была фигура несчастной любви: не цепляться за эту фигуру, уйти в фон. Фон настолько богат, что из него реальность постоянно меняется. Реальность — это поток, а не статичная картинка. В этом потоке всегда будет что-то, что вас куда-то вынесет. Составляющая практики: то, что было присвоено себе в писательстве, — наверное, это было самым главным. Конечно, как художник, хищное существо, я получил какой-то материал, который использовал. Возможно, это не совсем религиозно, но я проходил практику смерти, она называется «пхова» — практика переноса сознания в момент смерти. Я умираю: как мне сосредоточиться, как послать себя дальше? Об этом и о своей несчастной любви я и написал повесть «Пхова»... Возвращаясь к теме чистоты сосуда, — он изначально грязный. Это тело, страсти. В высших практиках мы должны это отринуть, но есть и другой путь, не менее религиозный. Можно остаться художником: быть собой, быть со своими страстями, понять их, рисковать, рисковать своим телом, быть со своим телом, любить его, а не только дух. Это путь художника. Считаю, что этот путь ничем не хуже пути отшельника. Быть хаотичным существом, который рискует, как Дионис, которого разрывают на части. Но мы понимаем: такова жизнь, судьба человека. Мы смертны. Если это идет через меня, я принимаю это и пишу об этом, отдаю это другим, чтобы они тоже понимали: это поможет им найти те неизвестные силы, которые раздирают их, и понять, почему все так сложно устроено. Сейчас вам кажется, что все понятно, но спустя пять лет вы увидите, что ничего тогда не понимали... Если я говорю об этом через какие-то законы языка, через слово, то почему я себя должен ценить меньше, чем ценит себя проповедник? Я художник, я считаю, это тоже религиозный путь.

Н.Р.: Это две параллельные прямые, которые пересекаются в бесконечно удаленной точке...

А.Б.: Да, есть путь монаха, воина... а есть путь художника.

Н.Р.: Давай вернемся к литературе. Из твоих недавних работ это сборник новелл «Вот мы и встретились» — чувственная, энергичная, иногда жестокая проза; «Олимп иллюзий» — сложный роман, в котором каждый думающий читатель наверняка найдет утешение; книга «Авангард как нонконформизм» — совершенно иная ипостась. Здесь ты выступаешь как эссеист, оратор, рассказывающий о методологии своих практик. И другая книга, «На золотых дождях», более ранняя... Говоря о твоих зрелых работах, хочется отметить: создается впечатление, что каждую книгу писали разные люди. Один из них писал о чувствах, жизни, страсти. Другой — об эфемерных заоблачных далях. А третий — это интереснейший публицист, это просто невероятно интересные интервью и эссе. Как все уживается в одном человеке? Обычно люди разделяют себя, ты же синтезируешь...

А.Б.: Возможно, это как раз то, что я нашел в практике себя. Кто-то находит моногласие, когда разбирается с собой. Я же в этих обращениях к себе обнаружил, что мне интересно быть разным, мне не нужно себя закрепощать. Если мне хочется покривляться, я не буду строить из себя серьезного писателя, а просто сделаю это. В этом освобождении я почувствовал (во мне была творческая артистичная жилка от отца), что интересно быть разным. Мне неинтересно себя повторять в каждом произведении. Каждый раз для меня это тоже риск — получится или нет. Каждый раз я доверяю услышанной интонации, вижу картину и честно отдаюсь этому процессу. Если я работаю с собой, если хочу сделать что-то не по готовому рецепту, если мне интересно путешествие в неизвестность, — я начинаю с фона. Уверяю, если вы прислушаетесь к тишине, если у вас есть желание написать рассказ, то вы обязательно отторгнете

одну идею, другую, но вы не пропустите чувство особого удовольствия, когда начнется то, что захотело в вас зазвучать. Это не механизм, здесь нет повторения, живое — оно всегда разное, интересно ловить эти идеи. Так и получаются разные рассказы. Рассказ должен сложиться в историю, сюжет, который найдется на ходу: он должен сам встать и кончиться тогда, когда захочет сам. Это его путь, путь рассказа... В романе другие задачи. Вообще роман — это европейское изобретение, где мы прослеживаем судьбу субъекта. Но почему-то всегда ищется разлом, трещина, момент падения. С древнегреческих времен существует жанр трагедии. Этот момент для западной культуры очень важен. Это психологическая травма, церебральное расстройство, вокруг этого в игре начинают двигаться инстинкты. Этого очень много в европейской и русской прозе. Всегда это трагедия: о том, с чем мы не можем справиться. Через слова мы понимаем, что не властны над своей судьбой. Есть некая фатальность, поток знаков, положения звезд в день нашего зачатия или рождения. С помощью языка мы можем прикоснуться к этому. Вся наша культура изначально покоится на трагедии.

Н.Р.: Пишущие знают, что порой случаются «приступы» так называемого автоматического письма, когда просто сидишь и записываешь. Ты не думаешь, а просто пишешь. Случается ли у тебя такое?

А.Б.: Здесь есть два момента. Когда тыходишь в писательскую практику, письмо — это момент опьянения. Но есть и второй, трезвый момент. На следующее утро я должен посмотреть: что это было? Я не скрою, иногда пишу с большим удовольствием — кто-то говорит через меня, писать получается легко и приятно. На следующее утро я смотрю на текст и поражаюсь написанному — оно может оказаться банальным, пошлым... и ради этого я получал столько удовольствия? Я недоволен и выбрасываю этот текст. Не нужно спешить! Есть фраза и есть целый спектр возможных продолжений. Я могу сразу продолжить ее, это легко. Но есть

пауза, как в музыке, — я замер, фразы полетели, но я жду свою. Я прошелся по ней и замер снова — я не бросаюсь сразу, я сдерживаю себя. Так же и со страстью — если мне понравилась девушка и я сразу брошусь за ней ухаживать, начну обнимать, то она меня оттолкнет. Есть такая стратегия ухаживания, «контрастный душ»: ублажаю вниманием, а потом три дня не звоню, и так далее — горячее / холодное, раскачивание... То же самое и на письме. Я бросился, а потом я холоден — я как бы говорю со своим демоном. Это игра. А каждая игра связана с тем, что ты можешь проиграть. Это и есть тот самый риск, на который я должен идти на письме. Я не только по жизни должен идти на риск — уйти с работы, написать про близкого человека что-то непростительное... «Пиши кровью, и ты узнаешь, что кровь есть дух!» — как сказал Ницше.

Н.Р.: Чему учишь своих студентов?

А.Б.: Я учу их рисковать! Я говорю им: это очень опасная практика. Быть писателем — опасная вещь,

потому что ты должен говорить так, как тебе оттуда слышится, ты должен рисковать. Если тебе сказано предать — предай. Художник — это шпион, разведчик, это неизвестные территории... Это опасно. Есть то, чего себе никогда не позволит добродетельный, набожный человек, а художник имеет дело с другими вещами, там другие энергии. Будьте не «тепленькими», а горячими или холодными: мы же знаем этот завет! Вот такая опасная игра.

Н.Р.: Что можешь сказать про инициацию?

А.Б.: Я говорил о практике себя и о том, что этот момент должен явиться сам. Он должен либо явиться, либо зазвучать. Думаю, всем будет интересно, чтобы это осталось не только теорией: попробовать, что действительно *есть что-то*. Допустим, вы хотите написать текст, а там, наверху, считают по-другому. Они считают, что вы должны писать не про то, что вы думаете, а про то, что они знают: как бы вы к этому не относились. Тогда это будет настоящее и живое.

ТОЛСТЯКИ НА УРАЛЕ: ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА

ЧУВСТВО ДОМА

Елена Бердникова. Египетские ночи. — «Звезда», 2023, № 5-6.

Проще всего было бы сказать, что Елена Бердникова написала необычный роман. Но своеобразие «Египетских ночей», их смысловое, метафорическое, даже метафизическое наполнение — разговор особый. Непросто определить даже сам жанр романа. Я бы рискнул предложить такой вариант: сложно устроенное метафизическое путешествие в прошлое города Кургана и его жителей. Сама Елена Бердникова — курганчанка, и «Египетские ночи», конечно, ни о каком не Египте, а о Кургане. А египетский маг там присутствует только для того, чтобы «уронить каплю чернил на зеркало и показать любому картины далекого прошлого».

Многие писатели пишут о своей малой родине. Существует богатая традиция в современной отечественной литературе, толком еще не изученная, — «краеведческие» мотивы в прозе. Когда писатель не просто создает в своем воображении сюжеты, героев, персонажей, но и отдает своеобразную дань памяти своей малой родине. Этот прием позволяет значительно расширить смысловое пространство повествования. Знание местных обычаев, мифов, баек, особенностей, характеров, загадок топонимики, происхождения названия какой-нибудь Комариной Пустоши сильно обогащает произведение. Мы бы многого лишились, если бы Анна Матвеева не писала о родном Екатеринбурге-Свердловске (в том числе и в новом сборнике «Армастан»), а Алексей Иванов избегал бы упоминания пермских реалий. Да мало ли у нас в последние годы вышло книг с замет-

ным «краеведческим» уклоном: от «Комитета охраны мостов» Дмитрия Захарова до «Краснодарской прописки» Анны Ивановой и «Голода» Светланы Павловой. Из последних новинок — сборник короткой прозы Захара Прилепина «Собаки и другие люди». Везде главные герои хранят заветные воспоминания о своих родных местах.

У Елены Бердниковой этот прием используется, причем порой в масштабах поистине космических — без преувеличения, именно так. Потому что в одном фрагменте «Египетских ночей» экспозиция начинается непосредственно из дальнего космоса: вот Солнечная система («с тяжелой машиной Юпитера, с порывистой блестящей Венерой в белой пелене», вот надвигается Земля, вот расселина реки Иорданской, желтые пески Туркестана, казахские голые степи. Волей автора мы снижаемся, проносимся над казачьими станицами, над стальной артерией Транссиба, «Река и Путь пересекаются, и совсем близко, на их пересечении, в окружении редких лесов, среди желтой степи, — город. Курган и есть, потому что на холме». Это сделано великолепно. Не припомню, чтобы кто-нибудь из авторов доставлял читателя к месту действия непосредственно из космоса.

«Египетские ночи» не просто признание в любви Кургану. Елена Бердникова утверждает, что Курган — центр земли. Как минимум центр земли российской: «Если встать посередине нашей реки лицом к югу и раскинуть руки, то кончиками пальцев ты можешь коснуться краев земли. Не всей земли, конечно, а только нашей суши. Евразии. Правая твоя рука устремится — над Веймаром, Варшавой, Брянском — к Лиссабону, а левая потянется — через Большой Саян, Яблоновый хребет, вдоль Транссиба — к Владивостоку».

Краеведческие мотивы романа заслуживают отдельного разговора, который много шире моей рецензии, — а то и научной работы. Автор не просто пишет о Кургане — она всякий раз старается найти какой-то новый ракурс, подход, представить свою родину не каким-то там захолустьем, а древней землей с по-

ченной историей, достойной того, чтобы вписать ее в пандемониум истории мировой. Вот, скажем, такое утверждение: «Здесь, в степи, избрели колесницу. Представь, вот я читала тебе „Легенды и мифы Древней Греции“, а их знаменитая конная запряжка, квадрига Аполлона, колесница Феба — от варваров. От нас, саргатов. Считают, правда, что она появилась не здесь, а где-то на юге России нынешней, под Воронежем или в донских степях; может быть, но это, во-первых, вряд ли — а во-вторых, какая разница, если и так? Из степи пришли ремесла, стада, кони породистые. Не из лесов, не с гор. Потому что человеку есть где развернуться здесь. Неограниченно». Утверждение, может, и спорное, но запоминающееся.

«Египетские ночи» вообще представляют собой довольно причудливое повествование: это роман, который не замыкается в каких-то временных и пространственных рамках. С изяществом, точностью, вниманием Бердникова оглядывает не только пространство, но и время, заглядывает в прошлое своей малой родины: «В двадцать седьмом году наступил в соседях, в Казахстане, Малый Октябрь — великий голод погнал казахов россыпью по миру и из мира: миллионы умерли в степи, как их отнятые стада, стон встал, как меч, воткнутый глубоко в землю и пружинно-безмолвно качающийся медной рукояткой; так и стоит в земле. Это он ли? Шли казахи в Китай тьмами тем, сотнями тысяч, а узкая змея потока потекла на север, в Россию, хотя из России беда и пришла, из нее приехал Малый Октябрь, Великий Джут, голод. Племенные пастбища ушли под общую, но уже не родовую землю, и на малых пятках соседских земель, как здесь, в Алгине, селились кочевники, потерянные везде, где нет простора».

«Египетские ночи», конечно, выглядят не только как развернутое высказывание об особенностях родного автору Кургана — это еще и галерея людей, проходящих через повествование. В романе нет главного героя, но много героев эпизодических, сменяющих друг друга. Сначала кажется, что в центре повествования

судьба девушки Ямуны, но вскоре она отойдет на второй план, чтобы уступить рыбакам, железнодорожникам, пионерам, ветеранам, польским ссыльным (а после, в советские годы, — ссыльнопереселенцам из раскулаченных), казакам, цыганам, офицерам... В повествование вторгаются реальные документы вроде боевого устава Австро-Венгерской империи или трехстороннего соглашения начала Первой мировой о незаключении сепаратного мира.

И здесь возникает еще один мощный мотив — мотив обретения дома, обретения новой родины. Многие герои «Египетских ночей» оказались в этих местах не по своей воле, но именно с этой землей решили связать свое будущее, свою судьбу. В романе много человеческих историй, когда привычная ткань жизни рвется, и людям приходится спасаться бегством, ехать в неведомые дали и останавливаться, оседать в местах, ставших новой родиной.

Вот замечательный эпизод «Египетских ночей». Юноша и девушка стоят на берегу реки, смотрят на воду, лучащуюся солнцем. Юноша говорит: «Я испытал здесь чувство дома. Я на месте. Никто не столкнет меня с него». Юноша — польский военнопленный, девушка — школьная учительница. Они молоды, счастливы, держатся за руки и полны надежд на лучшее. Но счастья не будет. Будут боль, смерть на госпитальной койке, репрессии, эвакуации, ссылки, высылки, а последний свидетель, который расскажет об этих событиях, окажется воровом, большую часть жизни прожившим в стенах тюремных камер. И все же останется надежда: когда у человека есть место на Земле, которое он может назвать домом, у него остается шанс на спасение. А чувство дома, страстная привязанность к территории, на которой выросли твои предки, и способны вдохновлять такие удивительные романы, как «Египетские ночи» Елены Бердниковой.

Владислав ТОЛСТОВ

ХОЧЕШЬ, Я РАССКАЖУ ТЕБЕ СКАЗКУ?

Сергей Рязанцев. Не знали наши папы. — «Дружба народов», 2023, № 8.

Хочешь, я расскажу тебе сказку? В «изумрудном городе на краю света» стоят новенькие дома, и в них дружно и весело живут русские, украинцы, молдаване и представители других национальностей. «Страна ещё называлась Советский Союз...»

А затем заканчивается и страна, и сказка. Начинается быль.

Сергей Рязанцев в повести «Не знали наши папы» представляет картины детства. Конец 1980-х и 1990-е, небольшой молдавский город. Думается, автор назовёт его изумрудным по двум причинам. Пейзажная доминанта — «внушительный зелёный холм, поблёскивающий вдали черепицами крыш и залитый светом встающего солнца». Ну чем не изумруд?! Плюс, разумеется, отсылки к любимой мною книге детства.

Детство в жизни героев Рязанцева — самое «солнечное», сказочное время. Беззаботное общение на крыше сарая с приятелем по прозвищу Синдбад, первые симпатии и влюблённости, домашние театральные постановки, игры в фантики. Но рядом — суровые приметы начала последнего десятилетия XX века. «Когда редкие ещё фантики от ещё более редких жевательных резинок заканчивались, мы играли в наклейки для консервных банок. Этого добра, как и сливового джема и вообще всего, что скоро заменит зарплату работникам консервного завода, было предостаточно». На страницах повести — удивительное сочетание двух настроений: вроде жить должно быть отнюдь не весело: однако вокруг свет, тепло, благодать. Ну сказка же! И вдруг — лаконичное: «Маму Синдбада, высокую, статную женщину, потом убьют в Кишинёве». На белом фоне появляются несмыаемые чёрные пятна. Или всё-таки наоборот: общий фон в те годы был чёрным, а счастливые моменты становились белыми пятнами? Эти размышления становятся принципиальными для

понимания повести. Персонажи — будто бы счастливые люди: смех звучит в каждой главе. Причём смех не натужный, не искусственный, а самый что ни на есть настоящий, искренний. Заливисто хохочет и сыплет прибаутками паренёк по кличке Пухлый. А ведь его дом с каждым годом всё сильнее пустеет... Неиссякаемый позитив исходит герой главы «Олег никогда не плакал». Даже после лютой драки, когда «глаз почти не было видно, а губы распухли, как у ужаленного, насколько получалось, Олег улыбался». Или возьмём повзрослевшего Федю из главы «Бретёр». Вернувшись из Москвы, куда он ездил на заработки, Федя поделится со старым знакомым: «Сколько я работал, меня ни разу не остановили. Остановили двух таджиков. Мне их жалко стало. Я просто мимо проходил.

Полицейские попросили Федю уйти сначала по-хорошему, а потом один из них достал пистолет.

— Я пистолет забрал и в рот ему вставил. Посмеялся и вернулся.

Смешливому Феде дали семь лет».

На заработки в Россию в 1990-х ездили папы чуть ли не всех юных персонажей повести. И, естественно, не знали, что их там ждёт. Эта тема становится стержнем, на который Сергей Рязанцев нанизывает семейные истории своих сверстников. Сюжеты одинаковы: отцы возвращались с подарками, угощениями, деньгами. Затем уезжали снова и снова возвращались. В одного стреляли, второго «до полусмерти избili где-то в Подмоскowie в период сезонных заработков. Дяде Мише сломали челюсть, и с тех пор его речь стала отчётливо понятна только самым близким родственникам», у третьего «на вокзале в Москве обычные организованные бандиты отобрали всё, что он успел за это время заработать». Кто-то не возвращался вовсе. Папу Олега, как и маму Синдбада, убьют. Папа Вовчика и Саши повесится.

Будут в повести и другие смерти — ровесников героя-рассказчика. Если же не смерти, то криминал, преступность. Психологические предпосылки ясны: отцов рядом нет — уехали в другую страну защищать большую деньги, матери крутятся-вертятся, порой тоже отправляясь за длинным ру-

блём в противоположную сторону — на Запад, растущие же дети остаются предоставленными самим себе. Отсюда — драки, банды и прочие «хмурые компании». Забавы становятся совсем другими: «В первый раз Вовчика взяли в качестве свидетеля. На его глазах один товарищ ткнул ножом другого товарища прямо в сердце. Говорят, они просто играли...», а ставший школьным авторитетом Кабан начинает учить малолеток жить по понятиям. Куда смотрят педагоги? Да всё туда же — уезжают и они. Дома и дворы пустеют, зарастают, разрушаются. «И если бы Петя-оператор мог зайти в эту квартиру сейчас, я бы попросил его снять: комнату, что когда-то была детской, паутину в углу, где когда-то висела икона; окно, за которым развалины заброшенного педучилища, в честь которого называли район и в закутках которого мы с его сыном и десятками других детей проводили бесконечные летние вечера, железную дорогу, по которой целую жизнь назад начали исход мужчины изумрудного города». Самое интересное, что превратившийся в трущобы район не был старым: в первой главе писатель вспоминает 1980-е, когда вокруг действующего педучилища построили новенькие дома. Приходит на ум ассоциация с некоторыми моногородами и посёлками, в одночасье ставшими никому не нужными. К слову, тема в современной литературе узнаваемая: можно вернуться, например, к повестям «Полоса» Романа Сенчина или «пгт Вечность» Максима Осипова. А ещё в сознании возникает чёткий образ Припяти — молодого города, опустевшего после Чернобыльской катастрофы. Для района, описываемого Рязанцевым, таким «Чернобылем» стал распад СССР и его последствия. Изумрудный город навсегда остался в прошлом, в детстве.

Напоследок — о названии повести. Его так и хочется пропеть. «Не знали наши мамы, не знали наши папы...» — это ведь начало известной песни о капитанах КВН. Давно повторяют, что нынешний Клуб весёлых и находчивых уже не тот, но поколение Сергея Рязанцева обязано помнить: именно этой композицией в играх того самого КВН открывался капитанский конкурс. А кто её автор?

Невероятно, но Интернет тут оказался практически бессилён. Слова песни, аудио- и видеозаписи обнаружались без труда. И всего лишь на одном сайте было отмечено, что текст композиции «Не знали наши мамы, не знали наши папы...» в середине 1960-х написал капитан команды КВН столичного института нефти и газа Ярослав Харечко. Конечно, всецело доверять единственному источнику не совсем правильно — возможна и ошибка, но что есть, то есть, тем более песни для игр КВН Харечко действительно сочинял. Уже на другом портале нашлась биография этого человека. Предельно краткая. Капитан КВН, сценарист нескольких весёлых фильмов и мультфильмов, сотрудник сатирического киножурнала «Фитиль»... Пока — сплошной юмор и позитив. Но затем — жирная точка. В год, когда Сергей Рязанцев появился на свет, молодой весельчак Ярослав Харечко погиб в автокатастрофе.

Судьбы автора песни и многих героев повести оказались созвучны.

Станислав СЕКРЕТОВ

ЧЁРНЫЕ ЧЁРТОЧКИ И БЕЛАЯ ПУСТОТА

Павел Суслов. Деревянная ворона. — «Звезда», 2023, № 9–10.

Рассказывая о книгах, невольно начинаешь говорить о жизни. Задавать вопросы, например — насколько реалистична, т.е. психологически и социологически достоверна, рассказанная автором история? насколько сложны и при этом понятны созданные им характеры (и есть ли они вообще, эти характеры)? каков язык героев — живой, самобытный, полный сленга и диалектизмов или же книжный, искусственно созданный, пресный? Вопросов может быть много, и все они так или иначе связаны с жизнью — тем миром, который создал автор, и той реальностью, что окружает каждого из нас. Однако книга, как и жизнь, — не только свет, но и мрак. И сложно передать человеку, воспитанному на книгах, что-либо страшнее идеи бессмысленности, ненужности

и даже вредности чтения. Что книги — это всего лишь фантазии, никак не связанные с реальностью, и польза от них заключается лишь в одном — в умении применить полученные знания и опыт на практике. Как говорил Игнат, отец главного героя романа Максима Горького «Фома Гордеев»: «Книга — она вещь мертвая, ее как хочешь бери, рви, ломай — она не закричит... А жизнь, чуть ты по ней неверно шагнул, неправильно место в ней себе занял, — тысячью голосов заорет на тебя, да еще и ударит, с ног собьет».

Что же делать?

Ответ на этот вопрос ищет Дмитрий Озеров, главный герой дебютного романа молодого, но уже зрелого прозаика Павла Суслова «Деревянная ворона». Ищет на протяжении всей книги — зорко, по крупицам. Этому способствует сюжетная ткань романа — довольно простая, но дающая все возможности для реализации авторского замысла: Дмитрий сбегает из провинции в Москву и за время своего пути погружается в воспоминания. Традиция, выдающая в Павле Суслове читателя и примерного ученика Марселя Пруста, удачно сочетает в себе прозаическое и поэтическое начало: герой, а вместе с ним и автор, погружается в прошлое и воссоздаёт свой жизненный путь, не придерживаясь линейности, а концентрируясь на том, что сильнее всего впечатлило и потому запомнилось: в одном случае — на чувствах, в другом — на запахах и вкусах, а в третьем — на действиях и диалогах. При этом Павел Суслов не ограничивается простым желанием поделиться с читателем тем, что его волнует и беспокоит; он стремится сделать из полученного опыта какой-то вывод и разделить свое открытие с читателем: «Петербург — это город-поэма, город-новелла. Город-текст. Если человек чувствует в себе талант, но понимает, что у него не хватает навыка этот талант проявить, ему стоит отправиться в Питер. Страшась затаканного слова „вдохновение“ (хотя мне ли не знать, как сокрушительны пароксизмы вдохновения, которые может даровать этот город!), скажу только, что Петербург дисциплинирует (выделить курсивом) писателя. Этот город дает человеку образец стройной

соразмерности, одним внешним видом напоминая о необходимости соблюдать чеканность ритмических узоров в стихе и тем паче в постоянно не добирающей в смысле фонетической выразительности прозе.

Прозаик, приехав в Петербург, сможет воспитать в себе чувство симметрии (звуковой, очевидно), врожденное у поэта, а поэт овладеет зоркостью и самообладанием прозаика. Достаточно лишь внимательно вглядываться в фасады дворцов, вникать в пластику кариатид, а усваивая форму моста над каналом, учитывать его водяной призрак — ибо не с аркой имеешь дело, но с рассеченным надвое кругом».

Автор умело использует различные литературные техники, будь то абстрактные описания, размышления о вечных проблемах или диалог. Последнее, к слову, по признанию самого же автора, совсем ему не близко: «...но не успел «Завком» вызвать хоть какие-то переживания, кроме разочарования из-за диалоговой формы (с детства нелюбимой и навсегда оттолкнувшей от Хемингуэя), как с рассказом начало что-то происходить: буквы стали истончаться и блекнуть, затем через текст вертикально потянулась белая полоса, становящаяся все шире с каждой перевернутой страницей». Тем не менее Павел Суслов использует диалоги на протяжении всего романа, что говорит о его умении перешагнуть через душевный комфорт в неизвестность — во мрак.

Самые значимые для понимания «Деревянной вороны» диалоги связаны с загадочным Драматургом — харизматичным собеседником и оппонентом Дмитрия Озерова родом из уральского городка. Их объединяют слова — не только написанные, но и прочитанные, и таящиеся за этими словами смыслы. Например, может ли прочитанная книга напрямую повлиять на происходящие с человеком события, быть может, даже угрожать ему? В таком случае что же есть книга — созданная автором история, перенесённый на бумагу опыт, неудачные словесные потуги или просто кусок переработанного дерева, полный чёрных чёрточек на белой пустоте? Что таится за этой пустотой? Свет или мрак? Или, быть может, что-то другое?

Например, деревянная ворона, которую находит Дмитрий Озеров. Этот образ, вынесенный автором в название романа, сначала выступает в виде воспоминания о фигурке вороны и лисицы: «Он вспомнил все это сейчас и подумал: «Они могли обновить карусели, убрать корабль, срубить, как обветшалую рошу, тех зверей. Не сомневаюсь, что нет лисы. Но птица. Невидимая, прячущаяся, как тайна мира, могла остаться, выжить, потому что была умна, потому что таилась». Однако затем деревянная ворона оказывается символом — жизни, которую не представишь без смерти. То, что ты видел, рано или поздно разрушится, но исчезнет лишь в тот миг, когда ты о нём забудешь. Память и умение читать книги дают возможность прочесть самого себя — надо лишь найти тот предмет, что поможет набраться смелости и сил обратиться к своему внутреннему миру, познать жизнь и смерть: «Деревянная птица, которую не решался навестить, открывала Дмитрию доступ вглубь. Много вспоминалось само собой,

без разрешения, не так, как вспоминались пейзажи Питера или Москвы, о которых всегда знал, что они лежат в голове складированными, и что можно, повинувшись прихоти, пробудить их усилием. Вспоминалось ненарочито. И Дмитрий понял, что оставлен позади какой-то рубеж, раз память отдаёт добровольно и бесконтрольно нечто, о чем раньше попросту не помнил, не имел нужды вспоминать».

Если бы можно было охарактеризовать «Деревянную ворону» Павла Сулова какой-то одной фразой, то можно выбрать такую: «Через забор я не увижу, надо внутрь, чтобы искать». Внутрь себя. Для этого надо думать, анализировать и постоянно читать, день за днём переживая чужой опыт и беря от мировых классиков то лучшее, чем они могут поделиться. Искать в книгах ответы — осознанно, на грани логики и интуиции. Чтобы в итоге найти свою деревянную ворону, познать своё прошлое — и стать старше.

Александр РЯЗАНЦЕВ

ДВА ЯВЛЕНИЯ ДЬЯВОЛА

Джозеф Шеридан Ле Фаню. **Недобрый гость.** / Пер. с англ. Е.И. Абросимовой. М.: РИПОЛ классик, 2023.

В России продолжают ликвидировать пробелы в переводах важных произведений литературы XIX века. В шестом номере «Урала» за 2023 год мы писали о переводе романа шотландского литератора Джеймса Хогга «Тайная исповедь и мемуары оправданного грешника». В книге рассказывалась история религиозного фанатика, который подпал под влияние своего то ли друга, то ли двойника, то ли самого дьявола и начал убивать. И вот на русском появляется еще одна книга XIX века такого же плана. Это собранные под одной обложкой повести «Недобрый гость» и «Таинственный жилец» на этот раз ирландца Джозефа Шеридана Ле Фаню. Нельзя сказать, чтобы этот писатель был нам совсем неизвестен. Несколько его романов уже выходили по-русски ранее. В предисловии к изданию новых повестей профессор РГГУ Александр Марков называет Ле Фаню «автором типичных историй о привидениях». Возможно, что уже для современников Ле Фаню готический роман был жанром массовой культуры. И все же творчество этого писателя с интересом читается даже сегодня, в эпоху, когда «хоррор-истории» выродились из «литературы» в «издательский бизнес». Как и Хогг, Ле Фаню пишет о вторжении демонической силы в разум человека. Интерес вызывает здесь сама возможность по отдельным метафорам, репликам и описаниям восстановить картину мировосприятия дьявольского и божественного в век, когда в эту область еще не вторглись холодные рационалисты вроде Фрейда и не расставили, как им кажется, все по местам. И так,

в издательстве «РИПОЛ классик» вышли повести Ле Фаню «Недобрый гость» и «Таинственный жилец».

В первом произведении мы знакомимся с угрюмым аристократом Ричардом Марстоном, который с супругой и дочерью живет в мрачном особняке. Марстон находится в весьма стесненных условиях. Деньги он промотал еще в юности, а теперь его можно назвать даже бедным. Может, он хотел бы вернуться в свет и там блистать, но он слишком хорошо понимает, что все возможности уже упущены. Нелюдимый и одинокий, он редко общается даже с супругой. И если сам Марстон с холодной яростью или напускным безразличием просто презирает свою судьбу, то для его супруги эта трагедия как незаживающая рана. Она понимает, что зря растратила свою жизнь на этого никчемного человека, а теперь она вдобавок находится в том положении, когда может только подчиниться и не имеет права даже дать совет. Единственные люди, с кем она может хотя бы поговорить, — это местный пастор и живущая в доме француженка-гувернантка, которая обучает ее дочь.

Кто же тогда недобрый гость? Один гость действительно появляется. Это веселый и куда более удачливый, но чрезвычайно циничный кузен Марстона по имени Уинстон Беркли. Поначалу угрюмый хозяин особняка не хочет принимать его, но потом меняет свое решение. И вот после приезда гостя начинаются странности. Сначала француженка-гувернантка делится с хозяйкой своим страхом, что может показаться миссис Марстон «зловещим жильцом», и предлагает уйти из дома. Потом старый и преданный слуга Мёртон заявляет, что чувствует приближение беды, и тоже хочет уйти. Вся эта атмосфера страшной неопределенности только усиливается. У миссис Марстон возникает необъяснимое и пугающее ощущение, да и сам Ричард Марстон тоже необычайно нервный и возбужденный. Однажды ночью происходит трагедия — приехавшего погостить Уинстона Беркли находят мертвым с ножевыми ранениями. Подозрение моментально падает на слугу Мёртона, и все сразу сходится. Во-первых, слуга сам говорил о предчувствии

беды, а во-вторых, в роковую ночь его видели с окровавленным ножом. Приезжают коронер и другие уважаемые люди из округи, проводится следствие. Нет сомнений, что убийца Мёртон, хотя и возникают небольшие неувязки. Так или иначе, дело закрыто, осталось повесить убийцу, правда, его нужно сначала найти, потому что ему удалось скрыться. Если бы перед нами был триллер или детектив, то кульминацией повести действительно было бы убийство Беркли. Но это не так. Кульминация здесь связана с последовавшим далее полным психическим истощением Ричарда Марстона и фактически безумием после того, как его разум попал во власть дьявола.

Вообще изначально Марстон не выглядит человеком, который может сойти с ума. У него строгая система ценностей, он твердо знает, что такое честь, и понимает, что больше денег всегда лучше, чем когда их меньше. Потеря капитала превратила его в замкнутого человека, которой во всем может найти повод для обиды. Когда пастор хорошо отзывался о сыне Ричарда, последнему больно слушать эти похвалы, потому что он воспринимает их как унижение лично для себя. У Ричарда с молодости не было поводов любить кузена, а сейчас, когда тот приехал, он тем более его возненавидел. Ле Фаню бросает только крохотный намек по поводу причины: по-видимому, Марстон опасается, что кузен приехал отобрать его собственность. Впрочем, и читатель сумеет убедиться, что Уинстон Беркли просто циничный интриган. Он откровенно упивается тем, что Ричард вынужден быть сдержанным и не может показать своего раздражения. Но запугать Марстона, пожалуй, непросто. Как-то Беркли напоминает Ричарду о пророчестве цыганки, которая еще давно предсказала, что Ричард его убьет. Такого пророчества Марстон не помнит, но помнит другое. Была еще одна цыганка, которая предсказала, что Ричард станет лорд-канцлером Англии. И кем он стал в итоге? В общем, он не верит в пророчества.

И все же что-то начинает происходить. Возникает действие некоей тайной силы, которая ломает любое человеческое сопротивление. Проще всего считать, что все началось после убий-

ства, но все же вероятно, что было какое-то изначальное стечение обстоятельств и до него. Мы помним, что Ричард сначала совершенно не хотел, чтобы к нему в гости приезжал Уинстон Беркли, однако мнение свое изменил внезапно без всякой причины. Это был какой-то бессознательный шаг навстречу судьбе. Теперь, после убийства Беркли, Ричард начинает видеть какую-то темную сущность. Он вообще противопоставляет смятение своей души, способной видеть демонов, светскому рассудку Беркли, хладнокровному и не видящему зла. А теперь он одержим самой настоящей страстью, и здесь это русское слово идеально передает смысл — владелец особняка находится в подчинении у некой посторонней силы. Страсти таковы, что пастор и слово Божье уже не помогут. Одновременно Ричард признает, что человек не может контролировать свои мысли, и, по-видимому, именно через мысли в него входит дьявол. Ричард боится сам себя и считает, что лучше бы ему быть мертвым. Но Ле Фаню совершенно безжалостен к своему герою. Он заставляет его переживать то, что страшнее смерти. Ричард боится как раз не смерти, а того, кого он называет «бессмертным жильцом моего тела». Писатель вообще придает особый характер происходящему, которое могло бы стать сложной загадкой для специалистов по онтологии. Не в силах справиться сам, Ричард в итоге обращается к психиатру. Он понимает, что не безумен, ведь ему ясно, что его видения дьявола — это игра воображения. Но он и не здоров. Если бы он был нормален, то нашел бы либо покой в прошлом, либо надежду в будущем. Но у него нет ни того, ни другого. Его прошлое — это убитые возможности, а будущее еще чернее и безумнее. Единственное, что его спасает, — это ненависть к христианским моралистам, которые пытаются ему сочувствовать. В итоге одержимость физически охватывает уже само тело Ричарда, так что даже опытный психиатр с ужасом смотрит на эти приступы. Если смотреть на разгадку сюжета, который отчасти закручен как детективная история, то всех этих бесов будет легко в духе Фрейда объяснить муками совести. Но разве может быть совесть у такого

каменного и холодного человека, как Ричард Марстон? Поэтому приходится дьявольские проявления в этой повести считать частью не психической, а вполне обычной реальности. А отсюда и неясность онтологического статуса происходящего. Реален ли дьявол, или он существует только в голове в чем-то повинного человека? Важно также добавить, что Ричард считает себя проклятым и гонимым, но это не значит, что он готов стать религиозным. Он предпочитает и дальше в одиночестве блуждать во мраке. Более того, он сознательно выбирает грех, потому что бросает законную жену и уходит с другой, которая тоже оказывается демонической сущностью. Это снова позволяет видеть в повести Ле Фаню ценность феноменологических наблюдений за психикой человека до появления первых психологических теорий. Интересно также реплика миссис Марстон, когда она, видя подавленного слугу Мёртона, желающего покинуть дом, надеется, что у него просто расстройство нервов, а совесть ни при чем. Одна эта реплика, в которой страх и дурные предчувствия могут быть порождены некими «нервами», не связанными с совестью, говорит о том, что повесть написана в дофрейдовскую эпоху, а дьявол воспринимается как независимая от человека сила. Это также можно подтвердить тем, что Марстон видит дьявола своими глазами даже несмотря на то, что он не суеверен. При этом душа его, в полном соответствии с христианской традицией, остается бессмертной, пусть она и занята страшной борьбой. Страсти, обстоятельства и влияния — это и есть судьба в представлении Ричарда, и бороться против этого бесполезно.

Во второй повести, «Таинственный жилец», мы снова имеем дело с дьяволом, но на этот раз его жертвой становится положительный человек. Этот положительный герой живет в обычном доме, который, по его словам, обладает некой индивидуальностью, но не имеет репутации обители призраков. Если в нем когда-либо и обитали привидения, то теперь об этом никто не помнит. Герой живет с женой, дочерью и сыном. Еще со времен юности, когда он с богохульной страстью читал Вольтера и Шелли, он сохранил

атеистические убеждения и абсолютно счастлив с ними. Если в первой повести дьявол, вероятно, жил в воображении героя (во всяком случае, герой сам так считал), то здесь феноменологическая ценность текста Ле Фаню еще выше — мы видим живое воплощение адской силы.

Положительный герой «Таинственного жильца» имел одну неприятность в жизни, связанную с необходимостью выплатить кое-какой денежный долг. Поэтому он решил сдать комнату своего особняка. Когда нашелся жилец, готовый тут же заплатить сто фунтов, герой был вне себя от радости. Однако сразу стало понятно, что постоялец человек странный. Он оказался бледной фигурой в черном одеянии, огромных очках и с неким «респиратором», закрывающим нижнюю часть лица, а также имел впалую грудь и длинные конечности. Он говорит о себе кратко, но очень ясно: он отшельник без веры, аскет и атеист, сам себе и слуга, и хозяин, зовут его мистер Смит. Владелец особняка несколько обманулся в ожиданиях, но недовольства на судьбу не испытал, ведь жилец сразу передал ему плату за месяцы вперед. А позже оказалось, что гость ест только хлеб и пьет только молоко, в комнату к себе никого не пускает и сам не покидает ее до темноты. Впрочем, также выяснилось, что он весьма образован, и наш герой даже нашел удовольствие в беседах с ним на философские темы.

Беда пришла тогда, когда с постояльцем начала разговаривать супруга хозяина дома. Женщина она была верующая и благочестивая, но речи гостя со временем подорвали ее веру в бога. После бесед с мистером Смитом женщина сначала с удивлением, а потом с ужасом и отчаянием начала смотреть в глубь себя. Однажды она попыталась помолиться и не смогла, физически почувствовав какую-то силу, одергивающую ее за запястье. А мистер Смит продолжал внушать ей страшные идеи, которые она была не в силах изгнать из своего разума. Он убеждал ее, что именно ее благой бог не давал ей сделать так называемый свободный выбор и принять христианство. Ведь она искренне хочет помолиться и не может. Значит, вера не работает и бог не так благ. Женщина

теперь не в силах бороться с черными мыслями. Она боится мистера Смита и просит супруга его выселить. Нервозность жены заразительна, бояться жильца начинает и сам хозяин дома. Доходит и до настоящей трагедии. Одного за другим пара теряет двух маленьких детей, причем участие их гостя в этих смертях очевидно.

В «Таинственном жильце» Ле Фаню изобразил воплощение все-сильного зла, а в основе зла у него лежат злые речи. В XX веке мы хорошо изучили возможности дискурсивных практик, так вот Ле Фаню идет по тому же пути библейской традиции, которая придает исключительную силу слову и наделяет его способностью творить. Другое дело, что некоторые слова способны творить не благо, а зло. Лучше даже сказать, что такие слова не творят, а разрушают. Мистер Смит легко вносит разлад в душу благочестивой женщины, усиливая ее сомнения простыми беседами. И даже атеист, каким является хозяин дома, начинает реально бояться дьявола. Ле Фаню прямо пишет, что против враждебности мистера Смита не было защиты. Этот страшный и зловещий жилец сам готов допустить расследование в отношении себя, потому что убежден в отсутствии доказательств. Более того, мистер Смит не говорит нашему положительному герою в общем-то ничего такого, чего тот и сам бы не ощущал. Просто слова мистера Смита были всегда оформлены в виде изящных софизмов, что усиливало их действенность. По сути, словесная эквилибристика XIX века в устах недоброго жильца — это как раз то же, что мы сейчас нейтрально называем дискурсивной практикой. В этой повести Ле Фаню повторяет важный тезис «Недоброе гостя»:

наше поведение, наше настроение, устойчивость к страхам или попадание к ним во власть — все это приходит к нам через наши мысли. Если в «Недоброе госте» черные мысли вызывались совестью, то здесь — расчитанными словами, вкрадчивыми и разрушительными.

Впрочем, во второй повести автор не дает дьяволу победить окончательно. После гибели детей наш герой проделывает новый путь к свету и обретает благодать веры, преодолев насмешливый атеизм юности. Смерть — даже ребенка — способна принести смысл. Когда герой стоит у трупы сына, Ле Фаню пишет: «смерть любовно опустила на него, и нет ничего жестокого или сурового в ее победе». Умерший ребенок сделал великое достижение — он познал тайну конца. Его родители пострадали, но эти страдания имели смысл и пользу. По мысли Ле Фаню, можно сказать даже больше: чем больше бед тебе выпало, тем ближе к тебе бог.

Может быть, Ле Фаню и писал «типичные истории о привидениях», но то, как автор оголяет человеческую психику и рисует страшную демоническую реальность, заставляет помнить о нашей уязвимости перед токами бессознательной негативной энергии. Скорее всего, для сегодняшних психиатров эти истории могут показаться стандартными, но все-таки писателю удалось утвердить проявления зла где-то на полпути к живой реальности и за пределами чистого воображения. А значит, воздействие этих историй на читателя будет не просто щекотанием нервов. Две его повести — это два явления дьявола.

Сергей СИРОТИН

БРОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Посредники. Режиссер Хирокадзу Корээда (2022).

Японский режиссер Хирокадзу Корээда исследует тему современной семьи. В его фильмах с семьями всегда что-то не так, так что к последним даже не получается применить традиционное юридическое определение. Но люди причудливым образом сохраняют союз, иногда демонстрируя внутреннее единство, основанное на любви. В фильме «Никто не узнает» (2004) в семье четверо детей и все от разных отцов, и двенадцатилетнему мальчику приходится стать за главного после ухода матери. Картина «Сын в отца» (2013) построена на сюжете о подмене младенцев в роддоме. «Магазинные воришки» (2018), удостоенные Золотой Пальмовой ветви в Каннах, рассказывают о том, как бедная, но счастливая семья подбирает на улице ребенка и не хочет отдавать законной матери. И вот работа 2022 года, показанная в России в августе 2023 года, «Посредники», где снова звучит тема семьи. На этот раз режиссера интересует жестокий вопрос современного социума: имеет ли мать право отказаться от ребенка и бросить его? Медленно и мучительно Корээда ведет свою героиню к признанию традиционных ценностей, но не дает умалить значение и ее точки зрения. Перед нами сложнейшая дилемма. Нужно ли родной матери удерживать ребенка, если приемные родители могут обеспечить ему лучшее будущее? Бросить нельзя оставить — где поставить запятую?

Хирокадзу Корээда японец, но в «Посредниках» действие происходит в Южной Корее и играют корейские актеры, среди которых прославившийся благодаря роли в «Паразитах» Сон Кан-хо. Если называть вещи своими

именами, то в фильме мы наблюдаем жизнь бандитов, которые торгуют новорожденными детьми. Звучит ужасно? Несомненно. Но стоит посмотреть фильм до конца, чтобы понять, насколько такое заявление далеко от истины. Перед нами не уголовники, а очень совестливые предприниматели, которые хотят устроить жизнь брошенных детей, правда, заработав на этом. Преступников двое. Это мужчина лет пятидесяти по имени Сан Ян и его напарник помоложе Дон Су. Сан Ян был женат, имеет дочь, но с семьей не живет. Он говорит, что служил в армии, но Дон Су поправляет его: не ври, ты не в армии служил, а в тюрьме сидел. По-видимому, он действительно имеет криминальное прошлое, но на злостного правонарушителя не похож. Он улыбчив, весел и общителен. Даже если у него и был тюремный опыт, не видно, чтобы он сломал ему жизнь. Сейчас Сан Ян держит прачечную. У него какой-то долг перед бандитами, поэтому деньги ему нужны. Что касается второго преступника, Дон Су, то он воспитанник детского дома. Мать бросила его во младенчестве.

Сан Ян и Дон Су организовали преступную схему. При местной церкви есть бокс, где родители, желающие отказаться от ребенка, могут его оставить. Именно здесь напарники и подбирают детей. Далее они ищут покупателей, но в их действиях нет избыточной жадности наживы. Конечно, им хочется продать ребенка подороже, но с кем попало они дела иметь не будут. Они не прочь заработать, но не менее важно им обеспечить ребенку хорошее будущее. Таких сделок напарники, судя по всему, провернули уже несколько.

Однажды они подбирают очередного ребенка. Юная мать подошла к боксу в церкви, но в итоге положила своего сына даже не в него, а рядом на обочину дороги. Оставив записку, что вернется, мать исчезла. Дон Су, которого так же когда-то бросили, хорошо понимает, что она никогда не придет. Будь иначе, в записке был бы указан телефон. Поэтому без зазрения совести Дон Су стирает запись с камеры видеонаблюдения и вместе с Сан Яном забирает ребенка. Достаточно посмотреть, как они ухаживают за

малышом, кормят его и меняют подгузники, и сразу станет ясно: они никакие не злодеи. Чужие люди, никак не связанные родственными узами, образуют своего рода семью. А потом, вопреки ожиданиям, заявляется и мать ребенка. Нет, в ней не проснулись материнские чувства, она по-прежнему хочет избавиться от сына. Поэтому теперь, уже втроем, герои фильма ищут покупателя. На хвосте у них полиция, которой все известно про незаконный бизнес. Их задача поймать преступников с поличным. Со временем мы больше узнаем про мать ребенка, которую зовут Мон Су Ён, и ее недавнее страшное прошлое. Но задача режиссера не в том, чтобы осудить таких, как она, Сан Ян или Дон Су. Скорее его художественные усилия направлены на то, чтобы в суровых и даже жестоких душах наших современников родилось чувство привязанности и любви. Мон Су Ён вовсе не превратится в образцовую мать и не будет отмаливать грехи прошлого у неведомого бога. Чудесного исцеления не произойдет. Но ее малыш получит даже избыток заботы, а значит, мир повернется к нам не только жестокой стороной. Хирокадзу Корээда попытается утвердить гуманистические ценности, несмотря на сопротивление самой реальности, в законах которой нет ничего человеческого.

Режиссер делает немало для того, чтобы зритель встал на сторону героев этого фильма, так называемых преступников и торговцев детьми. Посмотрим на ребенка, которого хотят продать и который носит имя Ву Сун. Мать в записке указала, что вернется за ним, и это сразу имеет огромные юридические последствия. Слова матери не дают возможности никому его усыновить, и Ву Сун в таком случае должен быть отправлен в детский дом. Считается, что для ребенка лучше жить с приемными родителями, поскольку общеизвестно, что дети из детских домов почти никогда не добиваются успеха в жизни. Тогда получается, что Мон Су Ён, если бы не вернулась, просто похоронила бы будущее сына. Позже она признается, что, оставляя ребенка на дороге вместе с запиской, в действительности никогда не планировала возвращаться за ним. Это очень жестокий поступок,

и Корээда фактически весь фильм размышляет над тем, есть ли оправдание у тех, кто его совершает.

Точка зрения одной из женщин-следователей, которая по пятам следует за продавцами детей, выражена однозначно: нельзя понять тех, кто бросает детей. Мон Су Ён и сама согласна, что такие недостойны называться матерями. Но в ее позиции нет праздности безответственности. Ее точка зрения выстрадана жестоким опытом. Мы узнаем, что она проститутка, но она смеется над попытками ее пожалеть. Она как бы говорит: вы хотите выставить все так, будто я стала жертвой чьего-то злого умысла, но я начала заниматься этим еще до того, как мне предложила приемная мать. Мон Су Ён выглядит еще юной, но зритель чувствует холод исходящего от нее опыта. Девушка говорит, что было бы здорово начать сначала, но это невозможно — слова, которые подошли бы пожилому человеку. В ней нет наивной романтики. Наоборот, она из тех, что просто на куски может разорвать слишком сентиментальных парней. Ее позиция тоже выражена однозначно: оставить ребенка на обочине было лучше, чем сделать аборт. Первый вариант — это еще не гарантированное убийство.

Удивительно, но похитители Ву Суна утверждают, что действуют из любви к человечеству. Они сначала называют себя ангелами, хотя потом не без горечи признают, что являются обычными торговцами. Они хотят сделать лучше для всех. В современном социуме сложились новые, причудливые рынки, поэтому Сан Ян и Дон Су можно просто нейтрально назвать их участниками, то есть предпринимателями или бизнесменами. Отдавая ребенка в новую семью, они дают ему право на будущее. Кроме того, они приносят пользу и приемным родителям. Законы довольно строги, поэтому многие бездетные пары очень долго ждут разрешения на усыновление. А если пара не расписана, то усыновлять вообще запрещено. Вот тут похитители и приходят на помощь. Наконец, они и себя не забывают, потому что хорошо зарабатывают, продавая ребенка. Как ни крути, все остаются в выигрыше.

Логика посредников ясна и проста: сначала детей выбрасывают, а потом мы продаем. Порядок этих действий путать не следует. Бокс в церкви создали для спасения, а на самом деле он только развращает матерей. Из сорока матерей, которые оставляют записки, возвращается только одна. Вот и Дон Су был брошен матерью, которая обещала вернуться. Он верил ей, поэтому отказывался жить в приемной семье.

Очень важно, что у наших похитителей нет цели избавиться от Ву Суна любой ценой. Они очень боятся продать ребенка в плохую семью и мгновенно распознают перекупщиков (бывает даже и такое). Мон Су Ён тоже выбирает покупателей очень разборчиво. Когда первые кандидаты придираются к форме бровей у Ву Суна, он не готова отдать сына таким подонкам, которые оценивают человека как товар. Посредники не злодеи, иногда мы прикасаемся к их внутреннему миру, снам, событиям детства и видим их чувства и переживания. Это люди несчастные и ищущие, даже если они убийцы, они не конченые негодяи, для которых закрыт путь к свету. В итоге Сан Яну и Дон Су нужен именно такой покупатель, который устроит мать ребенка. Они не смотрят на кровавое прошлое Мон Су Ён (его мы не будем раскрывать), они принимают ее как человека с бессмертной душой и готовы ради этого даже рискнуть свободой, что вводит в фильм тему самопожертвования. Дон Су прямо говорит Мон Су Ён: «Когда я смотрю на тебя, то на душе легчает».

В действиях похитителей очень трудно выявить состав преступления. Имеется в виду реального, страшного преступления, кровавого и жестокого. Полиция у них на хвосте, каждую секунду может вмешаться закон и покарать виновных, но невозможно смотреть на попытки продать ребенка без необъяснимого чувства симпатии. Тут уже скорее полиция ведет себя некрасиво, искусственно подстраивая сделку по продаже ребенка. Полиции арестовать этих людей даже важнее, чем самим посредникам выручить деньги за ребенка. И когда по сюжету Ву Сун заболевает простудой, полицейские переживают, ведь больного ребенка не продашь, и, значит, арестовать преступников не получится.

Хирокадзу Корээда снял фильм о нашей современности, где нет никаких абсолютных ценностей. Несмотря на объективно печальную тему, японский режиссер избежал чернушной парадигмы и сцен насилия в своей работе. И ведь тема эта действительно болезненна для вымирающей Южной Кореи, где один из самых низких коэффициентов рождаемости в мире. Герои этого фильма, может быть, не самые благородные люди в мире, но они исходят из того, что не всегда понимают даже в «нормальных» семьях: жизнь — это великое благо, и всегда нужно стремиться к тому, чтобы будущее ребенка состоялось.

С.В.С.

Андрей Першин
«Роман как магия»

Магия и магический реализм в современном романе

Введение
Метафора и магия

Мечта и общение — одно. Вот, например, лирический герой у Геннадия Алексеева коченеет, наблюдая медленный крупный снег. Но вдруг является долгожданная девушка в летнем платье, и снег оказывается тополиным пухом. «— Ты просто волшебница! — сказал я. // — Ты просто ошибся! — сказала она». Диалог или волшебство? А может быть, именно взаимность чудесна? В нашумевшем романе Янна Мартела «Жизнь Пи» герой оказывается перед необходимостью объяснить невозможное своё путешествие с тигром по морю. Среди прочего он предлагает и более правдоподобный вариант событий, который выглядит столь ужасным, что теряет всякую достоверность в сравнении с чудом.

Магия ассимилирована и давно перестала быть сюжетом, ведь ей ничего не противостоит. Да и кажется она лишь одним из способов выражения, а не познания. Индивидуальным этическим и эстетическим интуициям трудно поспеть за бурным технологическим развитием, они вынужденно отстраиваются от такого развития и отчасти растворены в нём. Если Фрезеру, автору «Золотой ветви» (1890), бросалось в глаза сходство магических представлений, которые он мог легко противопоставить науке и религии, то современный читатель в информационном половодье всё чаще подыскивает различия, нюансы, идентичности. Запрос на широкие обобщения выражен слабее, и доверия к ним меньше. Ведь навязчивое сходство у читателя и так перед глазами — глобальная деревня, глобальный супермаркет, интернет, ЖКХ и что там ещё.

«В языке, который мы знаем плохо, нас поражают прежде всего его средства и инструменты — слова; а в языке, которым мы владеем, — идеи, — пишет Жан Полан в “Тарбских цветах”. — Но общие места, клише и громкие слова, способные в любой момент дать место двум противоположным пониманиям, создают некий странный и как бы двойственный язык, которым мы и владеем, и не владеем». Мне кажется, это соображение сегодня применимо и к готовым сюжетным ходам, и даже к магии в тексте. Магическое всё чаще ассоциируется не с интуицией и сверхчувствительностью, не с опытом целостности, превышающей наши сознательные возможности, но только с «горизонтальной» вариативностью общего функционала высказывания.

Интересно, что и реализм, властно заявивший о себе в кино и литературе 20-го века, выдержав несколько итераций (неореализм и поэтика отказов, соцреализм, поэтический реализм...), со временем утрачивает часть идеологических амбиций, превращается в популярный инструмент авторского самовыражения. И всё же волшебство способно сохранить и оправдать своё очарование. В современной живописи и поэзии репрезентация то и дело подвергается сомнениям, но не в современном романе. «Мир может демонстрировать мало логики — кино и литература логически последовательны. Ведь это подделки. Фикция», — несколько мрачно замечает культуролог Антон

Хаакман в своей книге «По ту сторону зеркала». Действительно, и магия, и литературный диалог, и внятный сюжет стоят на страже репрезентации, ведь предмет, воспринятый и преображенный, уже в силу этого наделяется каким-то опытным существованием. Художественная достоверность способна преодолеть рутину, ужас и бессмыслицу «правдоподобной» жизни, как в произведениях Янна Мартеля или Геннадия Алексеева. Более того, «магическая» репрезентация является расширяющей, обобщающей, индуктивной еще и потому, что неизбежно, пускай и парадоксально, включает узнавание, какую-то самоидентификацию читателя, сличающего картины мира. В противном случае репрезентация может быть символической, игровой, документальной и пр., но не магической.

Ниже я предлагаю подробнее остановиться на нескольких примерах, иллюстрирующих разнообразие функций магического в современной художественной прозе. Возможно, мне удастся показать, что, даже став одним из послушных инструментов рассказчика, магия позволяет ослабить гравитацию и хватку вездесущего технологического мышления, позволяет всерьез задуматься или вспомнить — об относительной его, мышления, свободе.

1. Память как магия

Лю Чжэньюнь. Один день что три осени.

СПб.: Гиперион, 2022, 16+.

Лю Чжэньюнь (р. 1958) — лауреат важнейшей литературной награды Китая — премии Мао Дуня (2011), широкую известность получил с конца 80-х годов XX века. Уже сейчас роман «Один день что три осени» представляется знакомым достижением писателя на пути от неореализма, через исторический жанр и сатиру, к новым формам осмысления быта. Здесь автор обращается к преданиям родного города Яньцзиня. Например, рассказывает о пугающей фее, приходящей во сны, чтобы выслушать анекдот, скрасить или оборвать жизнь спящего. Но и в остальном причудливое, сверхъестественное оказывается внутренним фактом простой и неизобретательной, как будто совсем не придуманной жизни. Силовые линии повествования ненавязчиво, но уверенно возвращают нас к единой и единственной подлинности мира. Вдруг оказывается, что у несложных нарративных рефренов или, напротив, уникальной фотографии, у мистики, драмы и спокойствия может быть общий сознательный фокус, а именно — своеобразная концентрация и витализация памяти.

«Один день что три осени» — это ещё и устойчивое китайское выражение, так можно сказать, например, о сильной тоске. Грустить, будто три дождливых осени помещаются в один день. Что в каком-то смысле тоже универсальная метафора, ведь в каждой жизни есть о чём грустить. И всё же, безо всякой разделительной черты и манифестации, в романе постепенно происходит важное преобразование, даже преображение: так жить и помнить, чтобы свет трёх осеней скапливался в каждом дне. Исключительная, сверхъестественная эффективность магического здесь приходит на помощь в деле сбора и организации этих лучей, рассеянных в жизни, в утратах и в тексте, но сами лучи к магии никакого отношения не имеют. К вечности и бессмертному её свету позволяет прикоснуться самая простая и общая, как тишина, жизнь.

2. Экзистенция как магия

Роберт Ирвин. Чудесам нет конца. М.: Пальмира, 2020, 12+.

Роман открывается эпиграфом из Альберта Великого: «Цель мудрости в том, чтобы положить конец чудесам». Куда как внятная мысль, и всё же отчаянно думать, что за долгие годы, прошедшие с момента выхода дебютного «Арабского кошмара» (1983), чудеса самого Роберта Ирвина не истощились.

Отчего-то на ум приходит библейское изречение: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, то будь безумным, чтобы быть мудрым» (1 Кор. 3:18).

«Чудесам нет конца» — это захватывающая история Энтони Вудвилла, лорда Скейлза, английского военачальника и писателя XV века, кавалера ордена Подвязки и родного брата королевы Елизаветы Вудвилл, жены короля Англии Эдуарда IV. Чудом избежав смерти, молодой лорд оказывается в мире средневековой политики, алхимии, литературы и магии. На первый взгляд структура повествования может показаться заведомо простой, ведь оно более или менее соответствует руслу действительной средневековой хроники, расцвечивая и заполняя естественные лакуны. Однако при ближайшем рассмотрении роман обнаруживает сверхъестественную пластику в исследовании собственных границ, да и вообще всякой осмысленности и завершенности. Пластику, тем более слитную и очевидную в контрастных отношениях с фоном. Время, факты и всякая историческая перспектива, составляющие этот фон, кажутся инертными и захваченными всеобщим движением, не рамой картины, но берегами реки, элементами, созвездиями.

Но и магия не является здесь универсальным двигателем сюжета. Мне представляется, что секрет поразительной гибкости и многозначности этого текста — в глубокой интериоризации всего инструментария рассказчика. Выпавший было из времени молодой лорд открывает нам дополнительные измерения. История погружается в этот расширенный взгляд. Времена действительно «утратили свой стержень» (у Шекспира читаем — *the time is out of joint*), то есть предсказуемую свою цикличность и связанные с нею способы узнавания, но именно «связь времён» как таковая не прервалась. Пускай робинзонада и одиссея — классические примеры превращения истории в драму личной экзистенции, но подход Роберта Ирвина, сдобренный магией, похоже, любую историю может превратить в экзистенцию, а значит, и вернуть к жизни. Вместе с тем видимый акцент на архитектуре рассказа, возможность различить скрытые его пружины позволяет нам отходить от персонажей, когда хотим. Сознательно менять оптику и так преумножать свой опыт.

Подобное переосмысление (в духе размышлений о личном существовании) произошло недавно и с «Легендой о Зелёном рыцаре» (2021) — киноадаптацией сюжета XIV века от Дэвида Лоури. Возможно, пожилой мастер (Роберт Ирвин родился в 1946 году) держит руку на изменчивом пульсе времени.

3. Социальная история как магия

Эка Курниаван. Красота это горе. М.: Фантом Пресс, 2021, 18+.

Книга индонезийского писателя Эка Курниавана (р. 1975) «издана на тридцати пяти языках», — с ходу извещает русскоязычного читателя надпись, напоминающая подзаголовок на яркой обложке. «Литературное дитя Гюнтера Грасса, Габриэля Гарсии Маркеса и Салмана Рушди», — несколько двусмысленно заявляет *New York Book Review*. «Комбинация романа, трагедии и комедии», «...портрет Индонезии, одновременно восхищённый и насмешливый...», — похоже, некоторая мультиэкспозиция национальной идентичности является общим местом в хвалебных интерпретациях авторского высказывания. Может быть, это как-то связано и с тем, что одной из профессий Курниавана является графический дизайн, но, конечно, это лишь догадки.

Перед нами широкая ретроспектива социальной истории региона, в эпицентре которой оказывается семья красавицы Деви Аю, однажды майским днём вставшей из могилы. Вместе с романом Роберта Ирвина, о котором речь шла выше, это удивительный пример того, как смесь истории, магии и вымысла может привести к противоположным, контрастно отличным результатам. Расцвет и падение компартии или партизанского движения, японская оккупация и тяготы военных лет, новый день, беспощадно погребаящий день вчерашний, — знакомые опции магического реализма приводят здесь к пол-

ной девальвации всякой личной экзистенции, а не её торжеству. Пафос романа — в самой этой динамике уничтожения даже собственного материала, в белом листе, оптимистично раскрытом навстречу будущему страны, но не будущему человека, склонного, кажется, скитаться по кругу. Выражаясь словами поэта Михаила Кузьмина: «Тайна, сама себя раскрывающая, — вот что такое свобода без человека».

Впрочем, персонажи Курниавана заразительно способны и на не отменяемые, волевые решения, значение которых далеко превосходит магические и прочие обстоятельства. Что же такое «красота» и «горе» на самом деле, — читатель может решить сам, он вынужден и благословлен сделать это.

4. Концепт как магия

Лоран Бине. Седьмая функция языка.
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020, 18+.

Мне доводилось читать, что к Алексею Ремизову в своё время обращались некоторые литераторы с просьбой не видеть их во снах. Его обыкновение публиковать сновидения смущало и компрометировало невольных героев. Творчество Бине в этом смысле представляет ещё более острую и неразрешимую проблему.

Аннотация русского издания среди прочего предлагает рассматривать «Седьмую функцию языка» и «как хитрую головоломку для читателей, ищущих связь между вымыслом и реальностью». Действительно, Лоран Бине (р. 1972), лауреат Гонкуровской премии (2010), а ещё — озорник и пересмешник, разнообразно опирается на фактический материал, каковым становятся и письма, и частные воспоминания. В гротескном, пародийном русле романа эти «подлинныя свидетельства» легко превращаются в своеобразные карикатуры на Мишеля Фуко, Жака Деррида, Юлию Кристеву, Джона Сёрла и многих других известных представителей культурной, академической и политической жизни Франции 70–80-х годов. Все они захвачены напряженным поиском магической функции языка, неограниченной его убедительности.

Смертоносную или — шире — всесильную языковую формулу могли искать герои Майринка, Паланика, Реверте... более или менее вынося её за скобки фабулы, но именно в романе Бине она обретает какую-то негативную структуру, весь сюжет выступает её анализом и так обретает необходимую завершённость, целостность. Упрощённое представление, отбор и спрямление существующих связей вещей, которые привычно ассоциируются с мыслью, концептом, технологией, — здесь предстают магией. Эталон ясности и внятности становится эталоном непостижимости. То, что начиналось как игра, принимает более серьёзный оборот.

«Теория — структурализм и семиотика — это и есть главные герои романа, — рассуждает в своём эссе Ирене Сушек. — ...С другой стороны, читатель и сам автоматически становится детективом, берущим след авторской мысли: это упоминательный криптороман, лихо шлифующий дискурсы 1960–1980-х...» Может ли отшлифованный дискурс сверкать, блестеть, отражать, словно зеркало? Что ж, не случайно возникает в романе и цитата из Книги Иисуса Навина: «И остановилось солнце, и луна стояла...»

5. Магия как магия

Сюзанна Кларк. Джонатан Стрендж и мистер Норрелл.
М.: Азбука, 2022, 16+.

Понятно, что относительные пропорции вымысла в произведениях выше весьма различаются. Различается и его качество, сам предмет. Например, у Лю Чжэньюня особенно правдоподобен вымышленный быт, у Бине особенно фантастичны документальные (?) детали. Существенным моментом здесь

является то, что мы быстро ухватываем приблизительный состав новой действительности, он не меняется на всём протяжении повествования и превращается в стилистический ключ к дальнейшим обобщениям.

В этом ряду объемное сочинение Сюзанны Кларк (р. 1959) стоит несколько особняком. Параллельная история Британии оказывается уравновешенной вымыслом чрезвычайно доходчивым, но совершенно непредсказуемым образом. Ведь предметом «магического» изображения здесь является сама магия, а действительность помещается между полюсами или этажами её понимания. Помещается, нужно сказать, весьма вольготно, безо всякого особенного стеснения, что особенно восхищает мечтательных взрослых читателей, кому не хватало исторической, общей действительности в романах Роулинг или Толкина. Как организующий момент полярность затрагивает и фигуры главных героев, двух магов. Друзья и соперники, они пытаются определить место магии в мире, который в ней будто не нуждается.

Возникает парадоксальная ситуация, когда наша интуиция оказывается хорошо осведомлённой, заметной и востребованной, а разум — несколько растерянным. Что-то подобное, возможно, чувствуешь в детстве, когда едешь к бабушке на каникулы. Смотришь, допустим, на прежний мир и сад даже снисходительно, а он-то, оказывается, всё ещё на вырост. Вся история оказывается здесь таким садом. Что позволяет коснуться прежнего вопроса репрезентации с новой стороны. «Писать сегодня викторианскую книгу, — замечает Александр Генис, — всё равно что строить действующую модель кареты в натуральную величину. Самое странное, что она действительно ездит, перенося читателя в бурную наполеоновскую эру, так хорошо нам знакомую по «Войне и миру»». Обобщая и резюмируя, предлагаю считать этот роман иллюстрацией формулы: «Выражение заключено для нас в непредсказуемости». В той же «Культуре и ценности» Витгенштейн, кстати, делится и таким щедрым советом: «Не принимайте сравнимость, только несравнимость». Как нельзя кстати.

Заключение

Не скрою, у меня было желание продолжить этот перечень для полноты картины. Написать, например, об «эросе как магии», об «аттракционе как магии» и т. д. В каком-то смысле поступить так было бы проще. Хочется, однако, оставить место для магии даже в этом небольшом обзоре, пускай бы и в смысле его неполноты. Не проводить черту, не разрывать той самой связи времён.

Вирджиния Вулф как-то заметила: «Если год за годом перечитывать “Гамлета” и записывать свои впечатления, получится, что мы записываем свою автобиографию, потому что с годами мы узнаём о жизни всё больше, а Шекспир лишь комментирует то, что мы знаем». Искусство и жизнь взаимопроницаемы и легко меняются местами. Мне кажется, что многие талантливые писатели, прибегающие сегодня к богатому инструментарию «магического реализма», интуитивно отталкиваются от похожего наблюдения. Но перечитывают они уже самую типичную, ставшую стереотипной действительность.

Впрочем, именно встреча с чудесным, вдохновляющим, прекрасным подсказывает, кажется, неявный вопрос: что радует сильнее — красота или невозможность её запечатлеть, сдержать? Чего нам не хватает больше — волшебства или его свободы? Может быть, и вопроса никакого нет, и в этой явной, живой невозможности, неполноте, а значит, и «нехватке» красоты, — подлинная гарантия счастья или хотя бы смысла.

Обсудили на Набережной «Мой год отдыха и релакса» Отессы Мошфег

Книжка единогласно (при одном воздержавшемся) признана чудовищной. Сколько ни носи кепок «I love NY», Нью-Йорк от этого понятней не станет.

Книгу пиарили как безумно смешную. Чтобы понимать этот юмор, нужно жить на Манхэттене. Уже в Бруклине он не понятен. Оптимисты могут себе представить издание «Моего года отдыха и релакса» с академическим комментарием, иллюстрациями и картами местности. Можно себе представить, как на стену дома героини вешают мемориальную табличку.

Книгу рекомендовала Евгения Некрасова¹. Сергей Сиротин подробно усомнился в её достоинствах². Мошфег плохо разбирается в фармакологии: таблетки, которые принимает героиня, и эффект от этих таблеток взяты с потолка. К тому же книга плохо переведена. Сергей Сиротин замечает, что в переводе книжки Мошфег много варваризмов. Варваризмы в языке, как совриск в искусстве и шум в музыке. Для отвода глаз.

Содержание книги — список сожранного, выпитого, проглоченного и просмотренного во время спячки. Возможно, этот список на фоне депрессии должен отражать внутрен-

ний мир хипстера, для которого потребление — и есть производство. Даже имени главной героини мы не знаем. Истребилось её имя из книг животных, как и она потребляет всё, что положено потреблять. Героиня — тело без имени.

Возможно, авторка решила, что об эмоциональном выгорании нельзя писать иначе, как уныло. Возникает вопрос: с какого перепугу Мошфег вообще еше писа, писа (написала то, что написала)? Мошфег работает в издательстве. Как говорил Павел Иванович Чичиков: «Сам служил, дело знаю». Работник издательства, который стал писателем, не такая уж редкая вещь: Владимир Маканин, Вадим Чекунов. Книга, повторюсь, чудовищно тягототна. Субдепрессия Романа Сенчина по сравнению с выгоранием Отессы Мошфег — лезгинка.

Содержание в двух словах. Девушка работает в модной галерее. У неё есть подружка из польских евреев и молодой человек, финансист, трудящийся в башнях-близнецах. Так же как работа в издательстве подтолкнула Мошфег к написанию книг, работа в галерее современного искусства подталкивает её безымянную героиню к занятию акционизмом. Книгу можно рассматривать как буклет акционизма. В нём описаны три акции: перед увольнением из галереи героиня осуществляет акт дефекации на рабочем месте, затем хэппенинг в виде года прострации, которая отсылает к кино Андрея Вархолы (Энди Уорхола). Завершается всё одним из самых знаменитых произведений современного искусства — 11 сентября. Героиня смотрит запись падения башен на перемотке. Ей кажется, что она узнаёт в падающей женщине свою подружку.

Дефекация в галерее соотносена с разрушением башен.

Год прострации — с руинами Ground Zero.

Таким образом её акция (не очень оригинальная) может рассматриваться не только как произведение искусства, но и как магический жест, о чём мечтают все рыцари совриска. В башнях-близнецах трудился на благо капитализма её абьюзивный бойфренд.

Акция становится ритуалом. Искусство становится культом. Народ должен принадлежать искусству.

Публикация осуществляется в рамках проекта «Мастерские» Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

¹ Некрасова Е. Профессорка одиночества. URL: <https://daily.afisha.ru/culture/19718-professorka-odinochestva-evgeniya-nekrasova-ob-otesse-moshfeg/>

² Сиротин С. Богатые тоже плачут. Отесса Мошфег. Мой год отдыха и релакса. URL: <https://noblit.ru/node/3629>

Дерьмо, как известно, символизирует деньги, а башни-близнецы обозначали две палочки, которые перечёркивают знак \$. Террористы сперва хотели атаковать атомный реактор, но потом поняли, что искусство важнее. Падение близнецов должно было запустить падение доллара, для героини Мошфег — убить её бойфренда. На самом деле они убили её подружку-еврейку.

Польский след привлёк моё внимание в первую очередь. В книжке упоминается «польское бренди», очевидно старка, и польская водка Belveder (бельведер — это тоже в некотором роде «башня»). Отсюда мы делаем вывод, что подружка главной героини, Рева, из польских евреев и, соответственно, могла сообщить ей, как называется то, что она сделала, по-польски. Nasrta.

От египтян из магазинчика, где она покупает кофе и мороженое — походы в магазинчик тщательно фиксируются в книге, — она могла узнать, что значит «насралла» по-арабски. Египтяне держат магазинчик не случайно. Египтянином был пилот боинга, влетевшего в Северную башню, Мухаммед Атта. По образованию архитектор, он очень не любил небоскрёбы. Переквалифицировался в акциониста и взял на себя совриск по сносу башен. Героиня, шатаясь в нарколептическом состоянии по Манхэттену, вполне могла пересечься с Мухаммедом Аттой.

Как поёт наш поляк Эдмунд Шклярский:

Будто я египтянин,
и со мною и солнце и зной.
И царапает небо когтями...
Кто? Конечно, небоскрёб.

Во время обсуждения была выдвинута версия, что «Мой год отдыха и релакса» — женский вариант «Бойцовского клуба». Героиня открывает себе параллельную личность, и точно так же, как в «Бойцовском клубе», всё окончится взрывом небоскрёбов. Но в США, видимо, всё-таки нельзя сказать, что твой Тайлер Дёрден — это Мухаммед Атта. Поэтому героиня просто не помнит, с кем она общалась под таблетками. «Женщину нельзя понять, потому что она действует вне порядка символического».

Вернёмся немножко назад. Что продавала галерея? «Картины, написанные спермой, обезьянки, сделанные из лобковых волос со спрятанной в них видеокамерой (заплатив, посетитель может получить доступ к видеозаписям), чучела собак, которых превратили в осветительные приборы».

В этот ряд отлично укладываются и дефекация в галерее, и атака на башни-близнецы, и сама книга Мошфег, разве что они более опосредованно связаны с отмыванием денег. В книге описаны акции, и сама книга — это акция. Единство формы и содержания. Вроде изображений из слов, конкретной поэзии. Это книга, которую не нужно читать. Всё удовольствие от неё ты получаешь, покупая её. Книги ведь очень красиво издают сейчас.

Искусство восприятия искусства деградировало параллельно с умением читать. Дмитрий Гутов рассказывал про визит Агамбена в Москву. У Агамбена было два свободных часа, и он попросил Гутова посоветовать, на что обратить внимание. Гутов говорит: есть Филонов и Спас. Агамбен говорит: нет, я не успею, посоветуй что-то одно. Гутов говорит: Спас. И Агамбен сидел два часа перед Спасом, смотрел и запоминал.

Искусство нечтения тоже имеет историю. Игорь Дедков писал в дневнике во времена перестройки: «Клеевицкий жаловался, что все дела теперь приходится устраивать с помощью книг и преподносить книги строителям, автотранспортникам и т.д. Да и в Москву, сказал, приходится возить книги, чему я удивился». Книги когда-то считались неплохим вложением. Чтобы они впредь оставались таковым, их как раз не следовало читать — «они от этого портятся».

Единственное, что стоит между книгами и объектами искусства, — это тираж. Для книги тем лучше, чем больше копий, для объекта искусства — чем меньше копий. С неуклонным падением тиражей в обозримом будущем книги волеются в рынок совриска.

Совриск возник, когда генерал де Голль попросил американцев обменять доллары на золото, а те отказались. Хозяева денег поняли, что мож-

но наделить ценностью практически всё, что захочешь, начался кризис перенасыщения, и они были готовы вкладывать куда угодно. Этим же был вызван спрос на русские иконы, что вызвало мародёрство и контрабанду, описанную Трифоновым, Высоцким и Слуцким.

Церковки, что позабыты веком,
обдирает глупость или спесь.
Галич — весь и Углич — весь,
Север с тундрой и тайгой — весь —
все обобраны с большим успехом.
И палеонтолог не бывал
в розысках существ, давно подошедших,
где козла ночами забивал
в ожидании икон
фарцовщик.

Красота похожа на гнев божий. Она вызывает синдром Стендаля: судороги, тошноту, потерю сознания, и напоминает эпилептический припадок. «Аура» падучей — «аура» произведения искусства.

Совриск — это тошнота и каргокульт: соломенно-глиняное отражение духа капитализма, чтоб нарастить активности после кризиса 70-х. Когда мусор продают как мусор, а не маскируют мусор под товар. Совриск создаёт мусор-шум. Совриск показывает нам хаос в нас самих. Учит нас жить на помойке и разбираться в сортах дерьма.

**Василий ШИРЯЕВ,
Камчатка,
посёлок Вулканный**

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи и не вступает в переписку по поводу отвергнутых материалов.

Рукописи, в которых отсутствуют данные об авторе (имя и фамилия, обратный адрес или телефон), не рассматриваются и не возвращаются.

Все произведения, опубликованные в журнале «Урал», размещаются в Интернете. Если Вы считаете, что публикация электронной версии нарушает Ваши авторские права, просьба заранее предупреждать о Ваших возражениях.

Перепечатка любых материалов возможна только с согласия редакции. Ссылка на «Урал» обязательна.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикаций.

Журналы с полиграфическим браком возвращать в типографию.

Уважаемые подписчики!

Обращаем ваше внимание, что оформить подписку на наш журнал на 2024 год можно по единому индексу 73412:

- на сайтах: <https://www.pressa-rf.ru/> или <https://www.akc.ru/> (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов);

- в отделе продаж агентства ОАО «АРЗИ», направив заявку по электронной почте: Govorkova@arzi.ru или позвонив по тел. (495) 680-99-71 (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов).

А также:

- на любом почтовом отделении через электронный каталог «Почта России». Приходите, называете индекс ПС429 — и вас подписывают!

Подписку на журнал «Урал» можно оформить также в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город» по адресу: Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 130, телефоны: 262-65-43, 262-78-98.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-58576 от 14 июля 2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»
Учредитель — Министерство культуры Свердловской области

Главный редактор — Олег Анатольевич Богаев

Редакция:

Сергей Беляков — зам. главного редактора по творческим вопросам
 Надежда Колтышева — зам. главного редактора по вопросам развития
 Константин Богомолов — ответственный секретарь
 Андрей Ильенков — зав. отделом прозы
 Юрий Казарин — зав. отделом поэзии
 Валерий Исхаков — литературный сотрудник
 Александр Зернов — литературный сотрудник
 Татьяна Сергеенко — корректор
 Юлия Кокошко — корректор
 Наталья Бушуева — бухгалтер

Редакционная коллегия:

О. Богаев, С. Беляков, Н. Колтышева, К. Богомолов, А. Ильенков

Поэты! Обратите внимание:

Специально для вас с 1 февраля 2024 года вводится новый адрес электронной почты: poetry@uraljournal.ru. С 1 мая 2024 года стихи, присылаемые на editor.ural@mail.ru, *рассматриваться не будут!*

Редакция журнала «Урал»: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24, 4-й этаж
 Адреса электронной почты: editor.ural@mail.ru, poetry@uraljournal.ru (для поэзии)

Телефоны:

376-57-49 — главный редактор
 376-57-54 — зам. главного редактора по творческим вопросам, отдел прозы, отдел публицистики
 376-57-41 — зам. главного редактора по развитию, ответственный секретарь, отдел критики
 376-56-25 — бухгалтерия, отдел поэзии

Оформление обложки — Альберт Сайфулин.
 Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
 ООО «Издательство УМЦ УПИ» 620078, Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2
 Подписано в печать 16.01.2024
 Дата выхода в свет 27.01.2024
 Формат 70x108/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 20,6

Тираж 1100 экз.

Заказ № 7804

Цена договорная

Журнал «Урал» в Сети:

<http://uraljournal.ru/>
http://vk.com/zhurnal_ural

Электронная версия журнала «Урал» находится по адресу:
<http://magazines.russ.ru/ural/>